



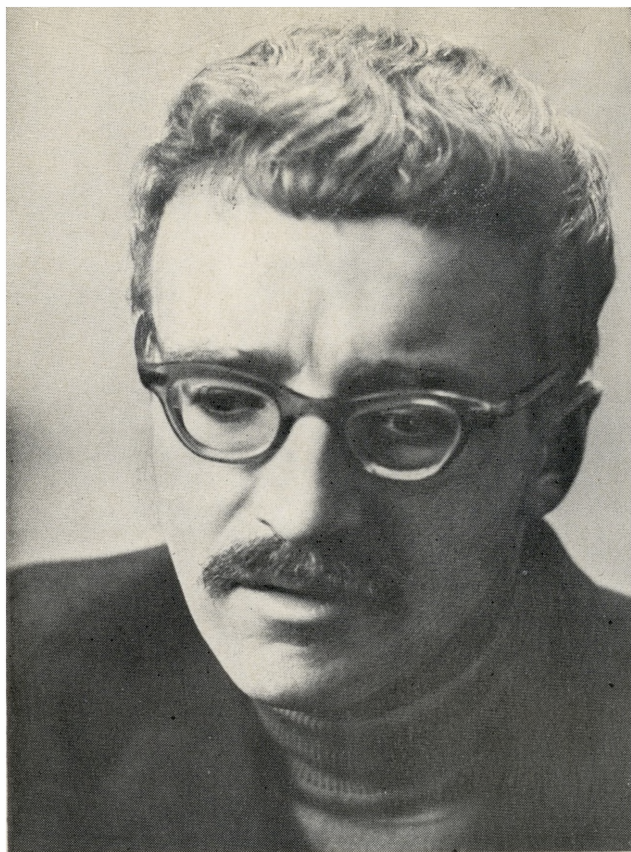
МИХАИЛ СУГАКИ



ПОВЕСТИ
ЛЕНИНГРАДСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

М. Сулак





МИХАИЛ ЧУЛАКИ



ЧТО ПОЧЕМ?

КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ

**ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ КРИЧАТЬ**

ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА

ЛЕНИЗДАТ

1988

Редакционная коллегия:

*А. И. Белинский, И. И. Виноградов, А. Е. Гаврилов,
С. А. Воронин, Г. А. Горышин, Д. А. Гранин,
Л. И. Емельянов, В. Д. Ляленков, Б. Н. Никольский,
Г. Ф. Петров, Б. А. Роцин, В. С. Шефнер*

ЧТО ПОЧЕМ?



Пролог:
ХВАЛА АВТОМОБИЛЮ

О ты, быстро и плавно — слово «бережно» тут более чем уместно — несущий нас по дорогам! (Особую плавность и бережность обеспечивает пружинная подвеска, рессоры грубее.)

О ты, стремительно разгоняющийся! (Тут все дело в мощности мотора, а она, мощность, восходит к степени сжатия: кто хочет ради экономии перейти с девяносто третьего бензина на семьдесят шестой и приглашает мастера вставить прокладку в головки цилиндров, тот неизбежно проигрывает в мощности. Тут или — или: или мощность, или экономия.)

Послушный малейшему движению руля! (По этому поводу в скобках сказать нечего, потому что если у вас слишком большой люфт, то никто, кроме вас, не виноват. А дорогу ваш экипаж будет держать тем лучше, чем больше сходимость колес, но тогда и резину жрет, проклятый, так что мера во всем!)

О тормозах лучше не говорить, тормоза — тема трагическая. (Порядочный шофер тормозит только в крайних ситуациях — например, малахольный пешеход вывернется у него перед самым капотом, в остальных случаях — перед светофором в первую очередь — он просто вовремя сбрасывает газ. Покажи мне свои тормозные колодки, и я скажу, что ты за шофер. И не давите на тормоз слишком сильно, черт вас возьми, блокировка

колес еще никого не довела до добра, да и передняя подвеска в конце концов не выдержит.)

Зато как приятно плавное и бесшумное переключение передачи, оно — как робкое прикосновение нежных пальцев любимой к спине пониже лопатки. (А всего-то делов: не отпускать сцепление резко и раньше времени.)

Но, может быть, главное — нет, главное все-таки быстро и плавно нестись по дороге, но это тоже почти такое же главное! — блеск никелированных частей, отражение неба, домов и деревьев в идеально отполированном капоте, линия крыльев, стремительная и совершенная, как линия бедер гимнастки. О, сколько страсти, сколько чувственности в пальцах счастливец, привычно и уверенно с мягким щелчком открывающего левую переднюю дверцу!

1

— Некогда мне, — кричал Вадим, — некогда! Убегаю! Вызовите слесаря!

В майке и тренировочных брюках он метался по прихожей, тесной, как внутренность средних размеров шкафа. Вадим проверял: все ли уложил в сумку — яйца, картошку, хлеб, бычки в томате, огурец, растворимый кофе, сахар; все ли ключи в кармане куртки — ключи от квартиры, от почтового ящика, от гаражей, ключи гаечные. И при этом не отрывал от щеки электробритву, так что метался как бы на привязи, ограниченный длиной шнура. А в дверях канючила соседка из квартиры напротив:

— Вадик, милый, как же мне без воды? Тебе ведь дела-то на пять минут. А слесарю трешку отдай. Что же у меня — лишние? Вадик, ты бы только взглянул.

— Все! Слушать больше не хочу! Пусть муж чинит. Раз сделаешь, потом лезут без всякой совести. Нахальство!

Вадим выдернул бритву из розетки, захлопнул перед носом соседки дверь. И как раз в этот момент из кухни выплыл отец. Он только что позавтракал и вытирал свои неестественно красные губы — объект вечных комплиментов знакомых дам — салфеткой. Отец Вадима был скромным служащим в музее, ничего в жизни не достиг, но держался необычайно величественно, так что незнакомые люди принимали его, как минимум, за профессора.

— Я слышал голос Лидии Ивановны. Ей что-то нужно?

— Клянчит, как всегда. Кран я ей сейчас обязан чинить.

— Но неудобно отказывать. Отношения должны быть добрососедскими. Если ей в самом деле нужно.

— Неудобно не уметь! Неудобно все время что-то клянчить! Надо всегда рассчитывать на себя!

Выкрикивая эти короткие афористические фразы, Вадим причесывался, ожесточенно дергая спутавшиеся волосы.

И тут из-за спины отца выглянула мама, *маман*, как обычно говорил Вадим. Она была вся в волнении.

— Ты завтра сразу вернешься?

— Не знаю. Когда вернусь, тогда и вернусь.

— Я всегда так волнуюсь. Ну не занятие это для интеллигентного человека. Дался тебе этот гараж!

— Как будто не понимаете. И хватит каждый раз одно и то же!

Вадим выбежал на лестницу. Вслед донеслось:

— Береги себя!

Вадим был близок к бешенству. Когда *они* поймут, что он давно не ребенок? Скоро двадцать пять, половина диссертации написана! Вот уж яблоня, от которой хочется упасть подальше!

По случаю субботы на улице было пусто. У подъезда стоял учебный «Москвич», на котором Сашка из нижней квартиры возит своих курсантов. Значит, и Сашка отсы-

пается. Можно было бы доехать на автобусе, но обидно ехать на автобусе, когда столько знакомых частников с машинами.

Собственно, пространство, куда вышел из подъезда Вадим, не было еще улицей, хотя мало от улицы отличалось. Это был просторный внутренний двор нового микрорайона с многочисленными асфальтированными проездами, островами зелени. Обогнув дом-корабль и оказавшись на настоящей улице, Вадим огляделся. Так и есть, катит частник на «Москвиче», восьмом или двенадцатом,— по кузову определить невозможно. И лицо частника, кажется, знакомое. Вадим свистнул.

«Москвич» затормозил около Вадима. Хозяин приветливо и даже более чем приветливо — несколько заискивающе улыбался.

— На смену? Привет сторожевой службе! Садись, подброшу до поворота. Подвез бы до ворот, да опаздываю на работу.

Вадим знал владельца «Москвича» только в лицо — много их ездит, всех не запомнишь. Розовенький такой дядечка, оттенка докторской колбасы.

— Какая ж в субботу работа?

— Ты же вот работаешь,— уклонился розовый дядечка от прямого ответа. И сразу перевел разговор:— Что слышно: асфальтировать у нас собираются?

Для Вадима это была большая тема.

— Нет. Председатель экономит. Так и будут все пылить до самого снега.

Проезды в гараже были засыпаны гарью, и в сухие дни Вадим приходил с дежурства черный, как кочегар.

«Москвич» подъехал к повороту на проспект Народовольцев. До гаража еще оставалось с километр по проспекту.

— Ну вот,— со вздохом сказал дядечка.

Но Вадим принципиально не понимал намеков и

ненавидел деликатность, культ которой процветал в его семействе.

— Чего мелочишься?— Он почти всем в гараже говорит «ты», знакомым и незнакомым.— Чего тебе пять минут — проблема?

Он любил давить, и не только ради надобности, но и из спортивного интереса: всегда приятно видеть, как чужая воля прогибается и уступает под твоим давлением. Почти всегда уступает.

И действительно, хозяин «Москвича» покорно вздохнул и свернул направо — к гаражу.

— Резину мне уже два месяца обещают достать,— зачем-то сказал он при этом, точно его покорность объяснялась тем, что ему обещают достать резину.— Из ваших, такой жилистый, бригадир. Он как, может, а?

— Не знаю. Это ваши с ним дела, вы и разбирайтесь между собой.

И только когда розовый дядечка собрался свернуть еще раз — гараж отстоял от проспекта метров на триста,— Вадим смилостивился:

— Ладно, тут я дойду, кати скорей на работу. Спасибо.

Дядечка рванул с места, как отпущенный с уроков школьник.

Погода была хорошая, так что пройтись было даже приятно.

Кооперативный гараж располагался на поросшем иван-чаем обширном пустыре, бывшей свалке, да и теперь еще иногда по старой памяти валили сюда какие-нибудь отходы, только заезжали не с проспекта, а с Шуваловой мызы, так что случайные сбросы не портили пейзаж. Гараж как целое состоял из отдельных собственных гаражей, сплошь железных и большей частью серых, так что издали он казался низкой серой стеной с пологими зубцами. Да так, в сущности, и было: гара-

жи, стоя вплотную друг к другу, образовывали как бы прямоугольную крепость, внутри которой выстроенные рядами гаражи же составляли продольные улицы числом пять, разделенные поперечными проездами. Монотонность картины нарушал одноэтажный дом, сложенный из белого кирпича, ярко-зеленая крыша которого весело сверкала под утренним солнцем. Дом стоял в десятке метров от въезда в гараж, и в нем находились необходимые административные помещения: комнатки председателя и казначея, комната побольше — для сторожей. Вплотную же к воротам — воротам, впрочем, пока что несуществующим: проему, который в недалеком будущем замкнут электрическим шлагбаумом, — торчала застекленная со всех сторон сторожевая будка, откуда сторожам и надлежало окидывать бдительным оком проезжающие машины.

Дорога от проспекта, по которой шел Вадим, уже принадлежала гаражу и была покрыта фирменной гарью, которая не только охотно пылила, но и обладала свойством стирать подошвы, словно наждак. Существовали казенные сапоги, однако летом в них было жарко, поэтому Вадим надевал в гараж старые кеды. Правда, и костюм соответствовал: выгоревшая стройотрядовская форма.

Метров за сто от ворот Вадима встретил Бой, добрейший пес, хотя и с явной долей овчарочьей крови. Бой не состоял официально в штатах гаража, питался подачками, впрочем весьма обильными, и сам считал себя на службе, причем главной своей обязанностью сделал встречать сторожей и сопровождать их в обходах. В универсам он тоже охотно сопровождал.

Было еще без двадцати девять. Хотя формально смена происходила ровно в девять, считалось приличным появиться раньше: проверить имущество по описи, обойти территорию — но этим мало кто занимался, потому что общая протяженность гаражных улиц составляла

никак не меньше двух километров,— и, главное, выслушать новости. Большинство сторожей вербовалось из пенсионеров, поэтому новости они сообщали весьма обстоятельно.

Все уже собрались на крыльце дома: и дядя Саша, напарник Вадима, и Петрович с Манько — предыдущая смена.

Увидев Вадима, Петрович встал — а росту в нем под сто девяносто — и пошел навстречу, еще на ходу протягивая руку. Петрович носил от солнечного удара детскую шапочку с надписью: «Ну, погоди!», которая особенно нелепо выглядела над его опухшим от невоздержанности лицом. На плечи Петрович, не обольщаясь прелестями летнего утра, накинул прожженную в нескольких местах телогрейку, под которой виднелась только сиреневая майка.

— Гайда родила! — сообщил он торжественно и вместе с тем как-то растерянно. — Так что вам прибавилось всяких... — он сделал паузу, поискал слово и закончил: — забот, хлопот и кормлений.

Гайда — штатная гаражная собака, на нее и в смете предусмотрена некая сумма, и, как полагается собаке штатной, — чистокровная овчарка, довольно даже свирепая, многие ее боялись, но Вадим, когда появился в гараже полгода назад, сразу к ней подошел, и Гайда его признала. И теперь Вадим с Петровичем считались главными собаководами.

— Восемь щенков, — строго продолжал Петрович, — все живые. Без меня чтобы никому не обещать. Два для кооператива оставлено, председатель велел. А остальных я буду по тридцатке продавать, потому что чистопородные овчарки, только без родословной.

— Веселое у вас будет дежурство, — сказал Манько. — В будку, стерва, не пускает.

Манько и внешне полная противоположность Петровичу: маленький, аккуратный, все у него начищено, при-

гнано, подшито; и внутренне: невоздержанностей не допускает, от собак держится подальше.

— Куда не пускает?— не понял Вадим.

— Так она здесь родила, в нашей будке,— неохотно объяснил Петрович.

Так вот почему о родах Гайды он сообщал не только торжественно, но и растерянно!

— Вот теперь и подежурь,— зло сказал дядя Саша.

Он в любую погоду ходил в низко надвинутой кепке, а тут козырек и вовсе спустился на нос.

— Она там сидит и на всех кидается! Очень надо было ее сюда тащить!

— А ты бы попробовал ее отсюда вытащить. Как пришла, так и не уходила. Чувствовала.

— Петровича уже укусила,— хихикнул Манько.

— Вести ее не надо было, вести!— все громче доказывал дядя Саша.— Зачем спускал?

Днем Гайда всегда находилась в противоположном конце гаража, где стояла небольшая избушка, называемая «постом № 2», за которой был огорожен закут с конурой. На ночь же Гайду спускали, по идее она должна была бегать по всей территории, наводя страх на возможных злоумышленников, но на самом деле всегда крутилась вместе с Боем у ворот.

— Надо все-таки на них посмотреть,— небрежно сказал Вадим, точно и не слышал, что Гайда на всех кидается и уже укусила Петровича.

Он подошел к будке, открыл дверь.

— Не входи!— крикнул дядя Саша.

Но Вадим твердо решил войти: чтобы доказать себе, что он не боится, и — в этом, пожалуй, главное — доказать всем, что он не боится и что Гайда признает его своим главным хозяином.

Гайда сидела в противоположном от двери углу. Все расстояние — метра полтора, но все-таки расстояние! У нее под животом лежало несколько маленьких жал-

ких существ: свалывшаяся мокрая шерстка, сросшиеся еще веки и — самое жалкое, неприятное — быстро и часто дышащие раздутые животы, словно щенки были в агонии. Другие, наоборот, лежали без признаков жизни — придавила она их нечаянно, что ли?

Гайда зарычала навстречу Вадиму, подняв губу и обнажив не только клыки, но и верхние резцы. Вадим понял, что она не шутит. Медленно, не делая резких движений, он придвинул к двери стул, сел на край. Это Гайда разрешила.

Дядя Саша, Петрович, Манько — все подошли к будке и смотрели снаружи. Смотрели с уважением, как казалось Вадиму.

Но нужно ее вывести наконец! Вадим еще не протянул руку, просто чуть отвел предплечье от туловища — Гайда метнулась стрелой, точно змея, а не собака, и щелкнула зубами около самых пальцев. Все-таки не укусила, предупредила сначала! Да, вывести ее сейчас было невозможно; и сесть в будке основательно, чтобы должным образом исполнять свои сторожевые обязанности — или, на худой конец, создавать видимость должного исполнения, — тоже было невозможно. Так что делать в будке оказалось решительно нечего. Посидев некоторое время, Вадим осторожно поднялся и вышел, но вышел с чувством одержанной моральной победы: другие и этого не могут!

— Ну, так что давайте! — бодро, хотя и несколько поспешно сказал Петрович и ушел.

— Не суйся ты к ней, целее будешь, — посоветовал Манько и тоже ушел.

Дядя Саша сидел на крыльце мрачный.

— Небось опять поддал Петрович, вот ее и притащил. А председатель кричит: «Он не пьет! Он трезвенник!» Вот и получай своего трезвенника. Мы бы такое сделали, нас бы сразу на месяц без премии, а ему все сойдет, увидишь. Бригадир! Прыщ на ровном месте.

Мимо ехали из гаража машины, но Вадим и дядя Саша обращали на них мало внимания. Свои едут, кто же еще! Лица вроде знакомые. Свои. Не свои — не ехали бы.

Но вскоре дядя Саша толкнул Вадима локтем:

— Председатель!

И точно, плотная генеральская фигура председателя свернула на дорогу, ведущую к гаражу.

Дядя Саша встал в проеме ворот, жестом приказал остановиться выезжающему «Запорожцу»:

— Пропуск предъявите.

У председателя была навязчивая идея: мол, нужно проверять пропуска у всех едущих и — что совсем уж нелепо — у всех идущих тоже. Пока нет шлагбаума, это означает, что за все дежурство нельзя даже присесть в будке: ведь из будки не остановишь, если кто проедет, не предъявляя пропуска.

Главное же — неизвестно, что делать с теми, у кого пропуска не оказывается. У всех причины: либо забыл в другом пиджаке, либо идет к приятелю в такой-то гараж. На глазах Вадима еще не было случая, чтобы кого-то не впустили или не выпустили из-за отсутствия пропуска. Так зачем стараться? Но председателю это объяснять бесполезно.

— И чего ему дома не сидится? Без него тут бы не обошлись,— бурчал под нос дядя Саша.

Вадим тоже не любил председателя. За бесконечные придирки. Но больше всего за то, что на председателя невозможно было надавить, он сам все время давил, и Вадим чувствовал себя рядом с ним точно под прессом. На глазах председателя он тоже начинал проверять пропуска и старался, чтобы председатель заметил его рвение,— стыдно, но ничего не мог с собой поделать.

Из поперечного проезда вывернулся ярко-красный «жигуль». Третья модель, четырехфарная, самая доро-

гая. И новехонький. За рулем женщина. Совсем молодая. Пострижена под мальчика, смотрит задорно. Вот у такой пропуск проверить приятно.

Вадим начертил в воздухе пальцем квадрат, который должен был намекать на пропуск. Юная водительница поняла. Остановилась, взяла сумочку с переднего сиденья и долго рылась. Наконец достала синюю книжечку пропуска. Тогда Вадим изобразил жестом, будто он раскрывает книгу. Раскрыла.

Вадиму было интересно, ее фотография на пропуске или нет. Когда ездят по доверенности, то пропуск выдается на юридического владельца, и нередко бородатые мужчины предъявляют пропуска с изображением хрупких женщин — жен или матерей. Но на этот раз на пропуске была фотография самой водительницы — такая же стриженная глянула, такая же курносая. Значит, полноправная хозяйка. Задерживать дальше не было никаких оснований, Вадим сделал разрешающий жест, и «жигуль» покатил вперед — сначала до проспекта, а там — там перед ним весь город, все пригороды, покатит, куда захочет. Вадим посмотрел вслед с завистью: ясно же, что не сама эта стриженная заработала, но вот раскатывает на машине, а он только пыль после нее глотает.

— Ишь ты, фря,— сказал дядя Саша.— И до чего у баб за рулем всегда вид важный.

Подошел наконец председатель. Лицо у него такое красное, что в первый момент Вадим всегда пугался: уж не хватит ли председателя сейчас удар. А волосы совершенно белые, словно иней на помидоре.

— Здравствуй, Александр Васильевич,— здоровался он подчеркнуто приветливо, как здороваются начальники, желающие продемонстрировать свой демократизм.— Я смотрю, ты еще молодец: на девочек проезжающих поглядываешь.

Председатель сочно рассмеялся, за ним мелко захи-

хикал и дядя Саша. Как не засмеяться, если начальство пошутило. Вадим тоже невольно улыбнулся — из уважения, потому что шутка вовсе не показалась смешной.

— Здравствуйте.— С Вадимом председатель поздоровался сухо.

Неприятнь к Вадиму возникла у председателя вскор после того, как тот появился в гараже. Возможно, Вадим подпортил себе сам: на первых дежурствах он читал книги — и математические, и просто беллетристику,— наивно полагая, что весь смысл его пребывания здесь состоит в том, чтобы отсидеть положенные часы и заработать восемьдесят рублей в добавление к своей аспирантской стипендии. Благо математическая аспирантура никак не стесняла свободы Вадима — не требовалось ни посещать занятий, ни вести их самому. Его забота — написать в срок диссертацию, а для этого решить несколько оригинальных задач. Бóльшую часть он уже решил, так что аспирантура шла хорошо, на кафедре его ценили и обещали оставить ассистентом. Теория игр — раздел достаточно новый, простор в ней еще пока большой, не то что в классической алгебре, например. К тому же Вадим выбрал кафедру не по расчету, а по душе — теорией игр он увлекся на втором курсе, когда еще и мыслей не было об аспирантуре, о кафедре. Он не принадлежал к юным математическим гениям, пишущим докторские чуть ли не в семнадцать лет, но в способностях его — даже таланте — не сомневались ни преподаватели, ни однокурсники. А гений — что такое гений?

Лишнего времени было много, и сосед по дому советовал Вадиму этот гараж. Вадим и шел-то сюда в расчете, что можно будет поработать и на дежурстве, благо для математика «работать» и «думать» — синонимы, для работы требуется только голова, карандаш и тот на начальном этапе необязателен. Но думать не удавалось — разговоры, мелкие дела, машины красивые

едут мимо. А вскоре Вадим понял, что смысл гаражного служения не в отбывании часов, что смысл гораздо глубже. Книги оставались лежать в сумке нераскрытыми, а потом Вадим и вовсе перестал их носить, но репутация уже составила. Да к тому же председатель раза два застал его за халтурой — и халтура-то была самая незначительная, на час, на два, просто смешно было ради нее оставаться после дежурства, но репутация погибла совсем: мало того, что читает, так еще и халтурит в рабочее время! Господи, да Петрович халтурит в три раза больше — но Петрович известен председателю как труженик и трезвенник. (Вадим на дежурстве еще и стакана пива не выпил, не в пример прочим, но это ему не помогает.) А еще бы Петровичу не слыть тружеником, когда он зимой от председателя гаража снег отгробал, хотя председатель зимой не ездит, а теперь председателю «Волгу» моет, смазывает, чехлы пылесосит — словом, лелеет, как любимое дитя.

— А стоянка, я смотрю, как была, так и есть, — сказал председатель.

Стоянка эта доказывала, что даже председатель не всего может добиться.

Снаружи у ворот вдоль гаража стояло с десяток машин. Стояли не очень комфортабельно: гарь в этом месте насыпана не была, грунт неровный, после дождей образовывались лужи, — но стояли машины на глазах сторожей, и, следовательно, была гарантия, что не поцарапают их гвоздем, не свинтят ночью колпаки; хозяева чувствовали себя спокойно, и спокойствие их оценивалось в скромную сумму: десятка в месяц. Деньги собирал Петрович и потом делил между всеми. На эту-то стоянку и ополчался уже давно председатель, хотя, строго говоря, она даже не на его территории. Ополчался — и ничего не мог сделать.

— Мы же не ставили, — сказал дядя Саша. — Сколько с той смены осталось, столько и есть.

— Тут члены кооператива, у которых еще гаражей нет,— сказал Вадим.— Как же им откажешь?

— Ерунду говорите!— закричал председатель.— У нас сто человек еще не имеют гаражей, что же, им всем здесь ставить?!

Вадим помолчал. Покричит — перестанет.

— Нам вот сегодня в будку не войти,— сказал дядя Саша.

— Почему это не войти?!— Председатель по инерции все еще кипел возмущением.

— Гайда родила, не пускает к щенкам. И зачем ее Петрович сюда притащил?

Дядя Саша никогда не упускал случая плохо отозваться о Петровиче.

Председатель подошел к будке, заглянул. Гайда сразу вскочила и остервенело залаяла. Она почему-то очень не любила председателя.

Вадим на глазах у начальства повторил свой трюк: осторожно вошел и сел на краешек стула. Гайда облаивала председателя и вроде бы не обращала на Вадима внимания, но когда он, осмелев, попробовал протянуть руку к щенку, мгновенно клацнула зубами около самых пальцев — Вадим едва успел отдернуть руку.

— Вот!— с удовлетворением сказал дядя Саша.— Как нам дежурить?

— А чего ж Иван Петрович ее не отвел?— Председатель заметно сбавил тон.

— Петровича тоже не подпускает. Укусила даже.

— Да-а.

Председатель не знал, что приказать, и потому был явно растерян, он весь обмяк, словно баллон, из которого выпустили часть воздуха.

— Сделаем что-нибудь,— пообещал Вадим.— Сутки впереди.

— Да-да, постарайтесь,— с несвойственной ему то-

ропливостью сказал председатель и пошел в глубь гаража.

Дядя Саша последовал за ним. Кто-то должен был следовать за ним, чтобы получать многочисленные указания, и Вадим всегда старался свалить эту обязанность на дядю Сашу.

Со стороны проспекта к гаражу свернула голубая «Колхида». Тут можно было и к гадалке не ходить: Валька вез крошку. Валька хорошо устроился: с какого-то завода вывозил бетонную крошку, но вез ее не на свалку, где ей законное место, а сюда, в гараж: здесь многие брали ее на подсыпку, иначе говоря — делали въезды, потому что гараж ставится на шпалы и без въезда не обойтись. Валька имел два рубля с машины. На первых порах, когда Вадим только постигал истинный смысл своего гаражного служения, он часто брал у Вальки крошку: за въезд платили по шесть рублей, так что он имел на этом четыре чистыми; но уж больно плоха была крошка: и глыбы в ней то и дело встречались, которые приходилось разбивать кувалдой, и какие-то тряпки, бумага, швабры, проволока. За четыре рубля приходилось копаться в этом дерьме часа два. Поэтому, когда Вадим постиг истинный смысл глубже, он перестал заниматься такими маловыгодными мелочами.

Валька притормозил:

— Просил кто-нибудь?

Вадим вытащил свою записную книжку — столько дел, без книжки не обойтись.

— К девятьсот двадцать шестому можешь ссыпать.

Девятьсот двадцать шестой уже трешку заплатил — в долг Вадим за такие комиссии не брался: лови его потом, — разравнивать будет сам. Всего рубль, зато без малейших хлопот.

Валька покатыл к девятьсот двадцать шестому, а Вадим остался стоять перед будкой, поглядывая на доро-

гу: кого еще бог пошлет? Он был готов брать заказы, заключать сделки: в этом и была истинная суть его дежурства — быть готовым, ловить случай, не упускать своего! Его можно было не спрашивать, зачем он жадно глядит на дорогу.

Ага, вот еще свернул грузовик. «ЗИЛ». На легковые Вадим обращал мало внимания — то есть даже очень обращал: оценивал цвет, звук мотора, изношенность кузова, так что из него уже мог получиться неплохой коммисионщик, — но в смысле случая, который нельзя упустить, многообещающими были грузовики.

Ленивой походкой Вадим вышел навстречу «ЗИЛу». Из кабины выглянул веселый шофер.

— Как бдительность? На уровне? На минуту заскочу: бензин отлить.

Обычная история. Чуть ли не половина пайщиков кооператива — шоферы. Вообще-то пускать без крайней надобности грузовики на территорию не полагалось: они разбивали и без того плохую дорогу. Но Вадим пускал всех. Да и остальные сторожа тоже.

— Давай. Только здесь председатель, так что, если спросит, скажи, везешь что-нибудь тяжелое.

— Понято.

Шофер отсалютовал и дал газ.

Скоро свернул еще один «ЗИЛ». С полуприцепом. Выше края кузова белели доски. Если на продажу, это было бы как раз то, что надо: у Вадима давно уже лежали два заказа на доски для пола.

С шофером кто-то сидел. Машина притормозила, и Вадим подошел к правой дверце. Выглянул пассажир, весь какой-то морщинистый и мятый: лицо, кепка, рубашка.

— К себе везу пол стелить.

Вадим уже оценил опытным взглядом: первоклассный шпунт, сороковка.

— Много тут на один пол.

— Точно, на два: себе и другу.

Вот эгоист проклятый: все для себя везет!

— Ну а пропуск у тебя есть?— спросил в надежде придрататься к отсутствию пропуска.

Но морщинистый уверенно помахал синей книжечкой.

Вадим вздохнул и показал рукой: проезжай. И где достать шпунт? Возил тут раньше один, да исчез куда-то.

Вернулся дядя Саша после обхода с председателем.

— Ну что?

Дядя Саша махнул рукой.

— Как всегда. Ругается, что там новый гараж, знаешь, новгородский, для тетки из винного магазина ее алкоголики ставили, так что слишком подняли высоко, надо спускать. Понял? Как будто наше дело смотреть. И еще — что там лежит гараж, около проезда, где вторая эстакада, так что не там сгрузили. А это Петрович сгружал, нам какое дело?

— Да ну его. Сам не знает, на кого кидаться. А теперь куда делся?

— К себе пошел. В машине повозиться.

— Ездить не ездит, только возится.

Еще один грузовик свернул с проспекта. «ГАЗ»-фургон. А этого с чем бог послал?

«ГАЗ» остановился, не доехав метров двадцати. Из кабины выскочил пассажир и почему-то не пошел, а побежал к сторожке. Хотя сам пожилой, полноватый, отечные мешки под глазами.

— Ребята, гараж привез!

Вот когда начинается настоящее дело! Впереди замаячил случай, которого нельзя упускать!

Вадим остался подчеркнuto равнодушен.

— А пропуск у вас есть?

Кстати, это тот единственный случай, когда без про-

пуска нельзя пускать ни под каким видом! Чтобы, не дай бог, посторонний не построился на территории.

— Да-да, я сейчас. Вы не беспокойтесь, вы мне только покажите, куда сгружать.

Новоявленный владелец гаража продолжал бестолково суетиться. Вадим не спеша изучал пропуск.

— Сейчас подъедем. В задний ряд, больше мест не осталось.

— А тут впереди? Вон маленький кусок не застроен. Нельзя ли впереди? Если что, вы не сомневайтесь!

— Здесь только по личному разрешению председателя.

— А где он? Может быть, я...

— Вы надеетесь, он вас полюбит с первого взгляда? Здесь для исполкомовских или если кто может что доставать. Вы что можете?

— Да нет, я так...

Суетливый понял всю беспочвенность своих претензий, уселся снова в кабину, махнул шоферу рукой:

— Вперед давай.

Вадим вскочил на подножку.

— Этот сам и гвоздя не вобьет, понял?— напутствовал дядя Саша.

В заднем ряду кипела стройка. Лежали сгруженные гаражи, высились кучи песка, ждали недоделанные фундаменты.

— Здесь.

Новоприбывший выглядел растерянно.

— Сколько свалено! Какое же место будет точно мое?

— Ближайшее. Вплотную к уже построенному. Придете ставить, ближайшее место ваше. А на сваленные вы не смотрите.

— Понимаете, я в этом ничего не понимаю. Ведь нужно еще что-то?

Вот и настал момент! Но Вадим никогда не торопился с предложениями. Нужно, чтобы клиент сам пришел к мысли, что гараж ему не поставить.

— Вы должны сначала решить: сами вы будете ставить или нет?

— А что — можно?

— Можно все. Гараж ваш. Хотите — ставьте сами, дело нехитрое, там и инструкция приложена. Хотите — можно вам поставить, чтобы без всяких хлопот.

— Да-да, действительно, я смотрю, тут будет очень много хлопот.

Кажется, заглотил!

— А кто может, если я попрошу поставить?

— Я могу. Вдвоем с напарником.

— Но я смотрю, тут всякие материалы. Вы их тоже достанете?

— Песок, шпалы, скобы — конечно. У вас тогда никаких хлопот.

— А если самому ставить, и доставать самому?

— Почему ж, можно для вас достать и так.

— И сколько же возьмете?

Тут психологический момент: не испугать будущего клиента, потому что цена приличная. Честно говоря, даже несуразная.

— Чистая работа на двоих сто рублей. Плюс материалы. Шпалы двадцать, песок десять. Скобы как бесплатное приложение. Но только сам гараж собрать, без пола, без обшивки. Я не посмотрел, у вас ижорский?

— Да-да.

— Значит, сто тридцать. Новгородский был бы дороже. Там еще кровля отдельно.

Ну вот, пусть радуется, что купил ижорский и тем самым экономит на кровле.

— Сто тридцать? Тут у всех такая цена, да?

— Что я вам буду говорить. Походите, приценитесь сами.

— Я верю, верю, что вы! Но все-таки сумма! И когда будет готово?

Похоже, что все-таки проглотил!

— Если завтра, в воскресенье, останемся работать, да потом понедельник... Во вторник будет готов.

Вадим с дядей Сашей набили руку и собирали гараж часа за четыре, но заказчику незачем было это знать, тем более что новички и правда возились два-три дня.

— Во вторник. Но без пола, так что закатить все равно нельзя будет?

— Можно, почему ж. Там внутри шпалы укладываются, как раз под колею. Вкатить на шпалы — только и всего.

— Ну, это вы тут все, наверное, мастера, а я-то не очень.

Вадим не стал отрицать, что он мастер. Это было его больное место: он не умел водить машину. Просто не было до сих пор случая научиться, но он чувствовал, что умение это дастся ему легко, стоит только начать. Да ему все легко давалось, он уже к этому привык.

Вадим умел чинить краны и прочищать унитазы, рубить избы, класть кирпичи, бетонировать, цементировать, белить потолки, циклевать полы, чинить приемники и телевизоры, делать несложные работы на токарном и фрезерном станках, строгать рамы и обивать двери дерматином, переплетать книги и еще многое, чего сразу и не вспомнишь. (Он был гордостью школьного учителя по труду, «трудиша», который отказывался верить, что отец Вадима — искусствовед, а мать — бухгалтер.) Но в автомобильных моторах Вадим пока не разбирался. И от этого стыдного неумения он то и дело чувствовал себя в гараже неполноценным. Правда, он умел свое неумение скрывать, нахватался верхов и в разговоре создавал видимость знания и умения, но это не очень утешало. Тем более что стать мотористом —

это золотое дно. Гараж скоро застроится, этот обильный заработок иссякнет, зато моторист будет нужен всегда: сколько здесь таких, которые кое-как ездят, а под капот боятся и заглянуть!

Клиент еще не сказал решительного слова, он размышлял, и Вадим его не торопил.

— Понимаете, какое дело: я уезжаю через неделю в командировку, и мне обязательно нужно закатить машину. Так что какой смысл без пола.

— Я же вам говорю: закатить на шпалы, только и всего.

— А вы возьметесь? Я боюсь: если промажу, можно ведь и картер пробить.

— Закатим, чего там.

Дядя Саша отработал шофером тридцать восемь лет, имел первый класс и мог закатить что угодно и куда угодно.

— Ну хорошо, тогда договорились. А то, знаете, я чувствую, что, если возьмусь сам, вы потом за переделку сдерете еще дороже.

— Это уж точно: наворотить можно так, что и не разберешься потом!

Вадим с шофером разгрузил гараж из фургона, работав за это трешку, на которую и не рассчитывал: клиент вполне мог отнести разгрузку к началу сборочных работ. Стало уже жарко, Вадим разделся до пояса и не спеша пошел обратно к сторожке: и обход делал, и загорал одновременно.

Фигура у Вадима отличная, одна влюбленная женщина не называла его иначе, как греческой статуей, так что раздевался Вадим всегда с удовольствием. Он мог бы, наверное, и спортсменом международного класса стать, если бы с детства чем-нибудь занялся как следует. И ведь пытался! Но родители презирали спорт и вечно настаивали на музыке и языках, а он тогда еще поддавался их влиянию. От языковых занятий осталось

знание латыни — чрезвычайная редкость в наши дни, но, в общем-то, совершенно ненужная. Потом, когда влияние родителей кончилось, он многими видами занимался — и борьбой, и гимнастикой, и волейболом, но все на уровне второго-третьего разряда. Последнее увлечение — горные лыжи, тут он никакие разряды получить и не пытался, но в смысле остроты ощущений они оказались не сравнимы ни с чем, и Вадим твердо надеялся заниматься ими до старости. Он был весьма продвинутым любителем, свободно спускался с Чегета, но иногда все же жалел, что не принадлежит к суровому кочующему племени мастеров, этой суперэлите двадцатого века.

Солнце грело, день начался удачно — Вадим благодушествовал. Гараж был прекрасным местом, правильно, что он сюда устроился, и единственное, что омрачало будущее, — угроза, что с сентября ему дадут студенческую группу, а это — твердое расписание, и, значит, дежурить здесь станет невозможно. Но, может быть, удастся отвертеться.

Впереди на дороге стоял «ЗИЛ» с полуприцепом. Шпунт уже был аккуратно уложен в гараж, и счастливый его обладатель как раз закрывал ворота. Увидев Вадима, владелец шпунта таинственно оглянулся, стал еще морщинистее, сделал быстрое движение, и в ладони Вадима зашелестела бумажка. Казалось, явилась она не из кармана, а из какой-то его морщины, и в остальные морщины тоже вложены бумажки, так что при каждом движении хозяин шпунта приятно шелестел.

— Я ничего не привозил, ты ничего не видел, договорились?

— Договорились.

Вадим заглянул в ладонь. В ней синела пятерка. Ворованные материалы — а Вадим с самого начала не сомневался, что шпунт ворованный, — возили многие, но

никто еще не догадался дать Вадиму за молчание пятерку. Просто и мило, никаких хлопот.

Как раз рядом стоял гараж, на котором Вадим зарабатывал свою первую «левую» пятерку. Собственно, гаража тогда еще не было, была куча песка, на которую нужно было положить шпалы; а шпалы лежали метрах в четырехстах отсюда, и Вадим взялся их перетаскать. Снег как раз сошел (а ведь Вадим поступил сюда в начале марта, снег лежал метровый и сошел окончательно только к концу апреля, значит, Вадим полтора месяца не халтурил, сохранял невинность!— странно вспомнить; ну да потом наверстал); Вадим попытался было возить шпалы на санках, но тащить санки по гравийным дорогам — работа хуже бурлацкой. Перепробовав разные способы, кончил Вадим тем, что стал носить шпалы на плечах. Шпалы оказались неравного веса, некоторые полегче, другие же — словно свинцом налитые, килограммов по сто пятьдесят, не меньше. Вадим шел, низко опустив голову, потому что на затылке лежала шпала, шел пошатываясь и спотыкаясь, мечтая только об одном: донести, сбросить, разогнуться. Вот ржавая балка — осталось метров сто, вот старая покрывка на обочине — тридцать всего! Донес! И сразу в обратный путь, и единственная надежда — что следующая шпала окажется из легких. Последнюю он не донес, сбросил на полпути, потому что иначе упал бы вместе с нею. Вот так ему досталась его первая пятерка. То ли дело сейчас: прошел мимо, получил, пошел дальше.

А дальше в своем гараже копался Жора. Приводил в божеский вид «Победу». Давно ли он купил один проржавленный кузов, — но с техническим паспортом, вот в чем соль! — а теперь уже стояла в гараже настоящая машина. На днях покрасил в шоколадный цвет. Жаль только, что в тщеславной погоне за блестящей внешностью Жора испортил простые и благородные очертан-

ния «Победы» многочисленными хромированными накладками. Особенно вульгарно выглядел на капоте олень от старой «Волги».

— Привет, Жора! Все вкладываешь?

Однажды Жора выразился так: «Желаешь сэкономить — вложи свой личный труд», — и с тех пор Вадим говорил ему не «вкальваешь», а «вкладываешь».

— Да уж почти все вложил.

Коротенький кругленький Жора выглянул из-за поднятой крышки капота.

— А ты, Вадька, все промышляешь? Скоро сам небось телегу купишь? И новенькую, не то что я.

— Твои бы слова да богу в уши. Ну давай, вкладывай дальше.

— Передай дяде Саше: пусть закусь готовит, обедать к вам приду.

И придет. Со своей бутылкой. Дядя Саша будет рад.

Перед председателевым гаражом сверкала вишневая «Волга». Вот машина! Не чета Жориной нахальной «Победе» с оленем на носу. Да и «Жигулям» не чета. Только зачем эта красавица председателю? За три года едва шесть тысяч прошла. Вадиму бы!

Председатель много лет работал на Севере каким-то крупным начальником, получал тысячу двести в месяц, да жена семьсот. Поэтому, когда уходил на пенсию, ему подарили на бедность «Волгу». То есть, может быть, часть он и сам внес, но только часть, а остальное — благодарные северяне. Ну и без очереди, без хлопот.

Вадим не любил председателя, но «Волгой» его каждый раз любовался. И сам председатель в эти моменты делался как бы симпатичнее, словно на него падал отсвет его машины.

Председатель готовился заливать бензин.

— Воронку надо, — сказал Вадим, — а то подтеки разъедают краску.

— Вот я хочу приспособить. Но все равно течет.

— Покажите.

Сейчас, когда дело дошло до ремесла, Вадим невольно заговорил тоном превосходства.

Председатель покорно протянул воронку.

— Так разве эта жестянка годится? Видите, шов разошелся. Выбросьте ее подальше.

— Надо спросить другую у кого-нибудь. Может, у Жоры?

— Эх, ладно, чего тут искать. Сделаю вам. Давайте шланг.

Вадим опустил конец шланга в бак, осторожно отсосал, а когда потекла струя, сунул другой конец в канистру.

— Ну и что? Наоборот, из бака течет!

Как все технически малограмотные, председатель был рад возможности продемонстрировать свои немногие знания.

— Учите!— буркнул Вадим и поднял канистру выше багажника.

— Ах, если так...

И все-таки это не было подхалимством, как у Петровича. Во всех действиях Вадима чувствовалось раздражение. Он услужил машине, а не председателю, и тот это прекрасно понял. Поэтому не так уж и благодарил, а вслед сказал:

— Я уже говорил Александру Васильевичу, чтобы выбоины засыпать щебенкой из той кучи, что около дороги.

— А это мы не обязаны,— хмуро ответил Вадим.

— Напишите счет, я оплачу.

Сначала будет целый месяц придирается, что плохо засыпали, потом даст по пятерке. Не стоит связываться.

— Чего работать без толку. Пару раз «Татра» проедет, и все снова. Заасфальтировать надо.

— А вы «Татры» не пускайте!

— Как же их не пускать, если они песок везут?

Скажет тоже! И Вадим пошел не оборачиваясь.

Дядя Саша курил на крыльце.

— Так и сидит там, ведьма,— кивнул он на будку.

Вадим заглянул. Гайда лежала в углу, а щенки расползлись по всему полу; некоторые лежали на боку, вытянув шеи и лапы, так что не понять было, живы ли. Ну, пусть сама разбирается.

Заходить Вадим больше не стал, сел рядом с дядей Сашей.

— Подрядился я на гараж. Завтра соберем, ладно?

— Конечно, чего тянуть. Соберем, и я — на дачу.

— Тогда нужно сегодня привезти песок. В воскресенье не достанешь. Председатель уезжать собрался, а я сразу за ним.

— А шпалы у тебя есть?

Собирали они гаражи на пару, но в дела с песком и шпалами дядя Саша не вмешивался, этим занимался Вадим.

— Шесть штук лежат. На периметр хватит, потом еще достану. Старые, правда. Да сойдет. Этот придирается не станет.

Выехал «ЗИЛ» с полуприцепом, который привозил шпунт. За ним осталось пыльное облако.

Дядя Саша чихнул.

— Несется, паразит, и нет понятия, что пылит на людей. Когда мы в Германии стояли, я тогда генерала возил, приезжал в штаб один на «студере»; вечно ворвется во двор на скорости, развернется — пыль, стекла дребезжат. Надоело! А там старая коновязь и чугунные кольца — танком не вырвешь. Он поставил «студера», а мы — за буксирный крюк и цепью к коновязи, понял? Он пришел, сел, газует — ни с места. В мотор полез, потом под брюхо. Два часа лазал. Потом я подошел, говорю: «Взгляни сзади, а другой раз езди как человек». Так следующий раз въехал — не слышно его! Во как, понял?

Вадим засмеялся счастливо. Он любил истории дяди Саши. А того и не надо было просить.

— А если хочешь сделать приятелю гадость, натри контакты прерывателя чесночным соком, понял? Ничего не заметно, а искры нет, хоть ты убейся. Ни в жизнь не заведет.

— Зимой и так, наверное, было не завестись. Особенно в поле.— Вадим, как недавно председатель, спешил выложить свои знания.

— У нас был простой способ. Отвернешь свечи и плеснешь в цилиндры эфира. Знаешь, который для наркоза. С пол-оборота. Был бы только медсанбат рядом. Наш зампотех сразу к начальнику. А кто с нами хочет ссориться? Колеса всем нужны... Мы вот привыкли: бензин, бензин, а ездить на чем только нельзя! Был случай: немецкие грузовики захватили. Целую колонну. «Опели» их тупорылые. Бензин слили, ну и не охраняли особо: куда они без бензина уедут? У самого фронта. А фронт здесь, в Карелии, рыхлый, линии окопов сплошной нет. Ну немцы ночью и просочились. Группа. Залили в баки воду из колодца, насыпали какой-то порошок и спокойно уехали. Понял?

— Гидрид металла, наверное. Он при реакции с водой водород отдает. А на водороде можно ездить, жалко, дорого.— Вадим что-то где-то читал.

— Может, и гидрид. Словом, уехали. А на спирте я сам ездил...

В этом месте рассказ прервался, потому что к крыльцу подъехала председателева «Волга». Председатель чуть съехал в сторону, чтобы не мешать проезду, затормозил, вылез.

— Я сейчас уеду, Александр Васильевич,— он демонстративно игнорировал Вадима,— так все-таки попробуй щебенки подсыпать. Потом, могут спрашивать меня из стройтреста — знаешь?— так я буду в пять. Толь-

ко для него, а остальным не говори, пусть являются в приемный день.

Дядя Саша выслушал наставления стоя.

— Хорошо, Святослав Юрьевич. Хорошо. Передам.

Председатель сел в свою «Волгу», включил зажигание, и «Волга» резво покатила вперед, едва не врезавшись в будку. Председатель едва успел затормозить.

— Скорость выруби!— крикнул дядя Саша. И добавил тихо:— Ездок. У него на скорости стоит, а он сцепление не выжимает.

На этот раз председатель все сделал аккуратно: врубил задний ход, попытался от будки, потом осторожно выкатился из ворот.

— Сейчас бы бампером поцеловал рублей на пятьдесят,— с некоторым разочарованием сказал Вадим.— Только Гайду со щенками жалко. Испугалась бы. Да и стеклами могло порезать. Так я пойду. А ты пока поставь картошку.

2

Вадим вышел на Неву и остановился. Показалось, он волшебным образом перескочил в другой день. В гараже было совсем тихо, а на набережной дул резкий ветер. Нева была ярко-синяя, покрытая барашками, как море на знаменитой картине Рылова. Хорошо. Сейчас бы не машину с песком ловить, а выкупаться, смыть с себя гаражную пыль. Холодная невская вода всегда доставляла особенное ощущение чистоты.

Вадим облокотился на парапет. Теперь нужно было ждать, только и всего. «Татры» грузились ниже по течению на громадном, как карьер, складе, куда песок привозили баржами.

Если Вадим случайно попадал на эту набережную, ему казалось, что «Татры» идут почти непрерывно. Но сейчас, когда было нужно, они почему-то исчезли.

«ЗИЛы», «Колхиды», «МАЗы» шли друг за другом — «Татр» не было.

Но вот наконец показалась — серая, двенадцатитонная. Она шла километров под восемьдесят вдоль самой осевой линии. Даже немного страшно, когда тяжелая машина так разгоняется — сокрушительная, как танк. Вадим на всякий случай махнул рукой, но «Татра» пронеслась мимо. Да и странно было бы, если бы она остановилась: танки не занимаются халтурой.

Показалась еще одна «Татра» — везла щебенку. Следующая, с песком, опять пронеслась по осевой, недоступная, как танк. Но теперь шли часто, значит, какую-нибудь можно будет подцепить.

Наконец удалось остановить одну. Эта шла на нормальной скорости, и, когда Вадим махнул, «Татра» зажгла поворотный сигнал, притормозила и остановилась метрах в тридцати. Вадим подбежал, открыл дверцу. Сиденье в кабине приходилось как раз на уровне его подбородка. На шофера приходилось смотреть снизу вверх.

— Песок ссыпешь?

Пожилой худощавый шофер покачал головой почти печально:

— Нет, не могу.

— Ну извини.

Вадим захлопнул дверцу.

Следующая «Татра», которую удалось остановить, была красная, четырнадцатитонная. На вид эти «Татры» кажутся вместительнее серых в два раза: иллюзию создает кузов с высокими ребристыми стенками и козырьком, накрывающим кабину. Но высокий кузов довольно узок, и потому разница всего в две тонны. По наблюдениям Вадима, красные «Татры» чаще оказываются стоворчливыми. Почему — непонятно.

Но на этот раз примета обманула. Толстый шофер вздохнул:

— Боюсь. У нас тут одного прихватили недавно.

Следующий шофер — средних лет, аскетически худой, словно язвенник, — ответил резко:

— Не занимаюсь!

И странно, хотя Вадиму непременно нужно было достать песок, ему почему-то стало приятно, что вот встретился такой, который решительно не занимается. Вадим торчал на набережной уже больше часа. Картошка переварится, председатель вернется раньше, чем обещал, — все может случиться. А самое худшее: из-за многочисленных неудач он начал падать духом, что вообще с ним случалось довольно редко. Может быть, с тех пор как он достал песок последний раз, шоферы тяжелых грузовиков решительно переменялись? Может быть, они больше не продают честь за шесть или семь рублей? Может быть, они брезгливо смотрят на Вадима, как на редкого представителя почти вымершего племени халтурщиков? Захотелось уйти, плюнуть. Но все же Вадим не мог до конца поверить в такие быстрые и решительные перемены. Он продолжал делать призывные жесты проезжающим «Татрам».

Наконец остановилась еще одна. И все-таки красная! За рулем — совсем мальчишка, удивительно круглоголовый, что подчеркивалось и редкой в его возрасте стрижкой: под ноль.

— Песок ссыпешь?

— Куда?

Неужели согласится? Вадим почувствовал громадное облегчение.

— Здесь рядом. На Народовольцев. — Он объяснял торопливо, боясь, что мальчишка уедет недослушав. — Где кооперативные гаражи, знаешь?

— Сколько дашь?

Обычно Вадим начинал предложения с пятерки. Но сегодня он ловил машину слишком долго.

— Шесть, как обычно.

— За шесть не занимаюсь. Восемь.

— Давай.

Больше семи еще никто не брал за песок, но у Вадима не было сил торговаться. Согласен — это главное. Как приятно было влезть в машину, уехать с этой проклятой набережной. Не бегать больше, не ловить. Не ловить машины, не ловить на себе презрительные взгляды. Появилось чувство, что он больше часа бегал по набережной голый.

Из кабины «Татры» улицы выглядели совсем иначе, чем из легковой. Как-то очень наглядно, почти как на макете в ГАИ.

— Сколько у вас там гаражей?— спросил юный погонщик «Татры».

— Да около тысячи.

Тот свистнул.

— И все частники? Живут люди.

— Ты тоже не теряйся, кто тебе мешает. У нас там полно шоферов.

Мальчишка помолчал. Потом спросил:

— Сторож не стукнет?

— Я сам сторож.

— Здорово. Не для себя везешь, значит?

— Нет.

— А у тебя машина есть?

— Нет,— признался Вадим почти виновато. И добавил:— Пока.

«Татра» въехала на территорию. Вадим взглянул на будку: как там Гайда? Когда проезжает такая машина, будка качается, словно при землетрясении. Дядя Саша помахал рукой с крыльца.

— Да, черт, ух ты!— с завистью сказал юный погонщик «Татры».

Отсюда, сверху, зрелище было впечатляющим: бесконечный ряд крыш, за ним другой такой же бесконечный, и третий, и четвертый.

- Давай крути. Прямо до конца и налево.
- Смотри-ка ты: и улицы внутри. Целый город.
- Вот здесь. Стой.

Вадим спрыгнул, чтобы показать точно, где ссыпать. Место было удачное: во-первых, ровное, а то попадались ямы, куда уходило и по две «Татры», а во-вторых, оно уже было наполовину засыпано толстым — по колено — слоем песка: остались излишки от соседа. Вадим быстро сообразил, что если ссыпать привезенный песок не в центр площадки, а левее, то удастся разровнять песок так, что хватит и под следующий гараж — а лишнюю площадку он продаст еще за десятку! Вот так и оправдается непомерная цена песка.

«Татра» осторожно пятилась — словно умный слон, боящийся растоптать дрессировщика.

— Еще! Еще полметра! Еще каплю! — Чем точнее Вадим сейчас высыплет, тем меньше придется потом кидать лопатой. — Стоп! Давай!

Мотор взревел, и кузов стал опрокидываться назад. Песок нависал, нависал угрожающе, как снежный козырек перед лавиной, вот уже начал терять опору, оборвались вниз первые кубометры — и за ними разом многотонная масса с водопадным шумом рухнула вниз. Получилась конусообразная гора с человеческий рост.

Дело сделано. Вадим с легким сердцем вручил мальчишке его восемь рублей и поехал на самосвале к проходной — есть картошку.

Обедать приходилось с дядей Сашей по очереди: чтобы не оставлять пост оголенным. Вадим достал свою банку бычков, залил картошку майонезом и приготовился поест в свое удовольствие, когда заглянул дядя Саша.

— Пришел тут один. Поговори, по твоей части.

Вошел парень в черном халате, в каких ходят рабочие в гастрономах. Странное впечатление производили глаза: очень широко расставленные, так что между пе-

реносицей и углами глаз оставались свободные пространства.

— Это ты, значит, шпалами интересуешься?

Вовремя появился! Впрочем, тут часто появлялись разные личности, так что особого чуда в приходе продавца шпал не было.

— Интересуюсь. Сколько у тебя?

— Это не разговор. Сколько нужно, столько будет.

— Так сейчас у тебя ничего нет?

— Я лишний раз глаза не мозолю. Ты скажи: нужно? Будут шпалы.

Конспиратор! Да тут везут открыто, никого не стесняясь.

— Смотря какие, новые, старые?

— Новые. Все как одна. Как патроны в обойме.

Вадим прикинул: заказы еще будут, вон сколько гаражей навезли. Запас кармана не дерет.

— Тридцать можешь?

— Вот это разговор! Договорились. Как зовут, не спрашиваю. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Ночью привезу. Деньги наличными.

— Ладно. По рублю, как всегда.

— Это как закон. Ночью привезу. Жди.

8

Вадим с дядей Сашей сидели на крыльце, благоденствовали. Дядя Саша уже начал было рассказывать историю про то, как приятель его сына, кок на сухогрузе, покупал в Марокко картошку, но прервал сам себя:

— Во-он твоя идет, потом доскажу. Проверяет, я так понимаю.

По дороге подходила Лиса. Настоящее ее имя Алиса, но Вадим на второй день знакомства прозвал ее Лисой, и если бы теперь он назвал ее полным именем, это означало бы, что они крупно поссорились.

Собственно, из-за Лисы Вадим и поступил в гараж. Во всяком случае — отчасти. Осенью они хотели официально пожениться, так нужно же подкопить немного денег: она студентка, он аспирант. Деньги нужны на все, но в особенности Вадиму хотелось на зимние каникулы отвезти Лису на Чегет. И при теперешних заработках Вадима они смогут себе это позволить. И даже больше: они купят приличные лыжи, ботинки. Приличные горные лыжи, хотя бы «эланы», стоят не меньше двухсот за пару, а если доставать «кестли» или «рормозер», то и за триста перевалят. И ботинки, «каберы», тоже все триста. Кто не понимает, скажут: мотовство, купи в магазине за сорок и катайся. А это все равно как если конструктору вместо ватмана чертить на бумажной скатерти. Лиса на лыжах почти не стоит и не будет стоять, если ее пустить на деревяшках «карпатах», тех, что называют на горе «фирма Дрова». Без хорошего инвентаря технику не поставишь.

Лиса заимела привычку заходить к нему во время дежурства. Если не каждый раз, то через раз точно. Можно считать, что она без него не может прожить и дня. Или видит свой долг в том, чтобы хотя бы отчасти скрашивать ему гаражную скуку. Или прав дядя Саша, проверяет? Нет, в последнее Вадим не верил, потому что их с Лисой отношения были основаны на доверии и свободе.

Вадим и сам рад был ее видеть, но немного Лиса его и стесняла. При ней ему еще никто не совал денег, но если бы кто-нибудь изящно вложил в ладонь пятерку, как сегодняшней владелице шпунта, мог бы произойти скандал и даже разрыв. У Лисы принципы — бывают такие люди. Не надо далеко за примерами ходить — собственный папа Вадима: работает искусствоведом в музее, получает свои сто двадцать и свято уверен, что порядочный человек может получать деньги только через окошечко учрежденческой кассы. А набит знаниями

на сотню тысяч! Как-то раз папу пригласили посмотреть одну продававшуюся картину — фактически на экспертизу — и попытались потом дать в конверте не то двадцать пять, не то пятьдесят — так папа раскричался, словно ему сунули взятку. Вот и Лиса. Нет, с Лисой даже хуже: у нее не просто нерассуждающая порядочность («деньги только из кассы!») — нет, у нее возвышенная теория: однажды объяснила, что тот, кто начинает суесться, разрывается на мелочи, на сиюминутные дела, тот предает свой дар и не способен уже быть ни ученым, ни художником. Обосновала и цитатой: «Служенье муз не терпит суесть...» (А можно ли в ведомство Урании, музы астрономии, включить всю математику? Науку, родственную искусствам?) Но ведь то, что у Вадима теперь приятно шуршит в кармане, ей нравится. Неужели думает, будто это такие растяжимые кооперативные восемьдесят? Но пытаться спорить, пытаться раскрывать глаза — упаси бог! Поэтому каждый раз, когда Лиса появляется в гараже, Вадим балансирует на краю пропасти: сунется частник со шпунтом или вагонкой — и сорвешься...

Лиса, как всегда, блестяще одета. Как она умудряется на стипендию? Отца у нее нет, мать — учительница. Денег Лиса, пока не поженились, от Вадима не берет, на этот счет у нее абсолютно незыблемый принцип. Но вот одета, и все тут! Джинсы не меньше чем югославские. На плече висит замшевая сумка. Если пойдет дождь, из сумки явится складной японский зонтик. Правда, на ней все смотрится. Потому что золотистые волосы, свободно падая, достают до поясницы. Потому что при ее фигуре любая блузка кажется шедевром легкой промышленности. Потому что у нее тонкое и строгое лицо гриновских женщин, и непонятно, почему она не стоит на носу летящего на всех парусах брига, почему, на худой конец, не снимается в кино — что ей нужно на сухом физическом факультете? В общем, такая девочка,

на которую всегда все оглядываются. Даже у Вадима еще не было такой, а он всегда выбирал тех, на которых оглядываются, с другими просто не знался.

— Привет,— сказала Лиса.— Загораете? Дядя Саша, я «Ту» достала, хочешь?

Лиса общалась с дядей Сашей на курительной почве. В городе как раз пропали хорошие сигареты, так что то, что Лиса достала «Ту», было скромным, но почетным достижением. Сам Вадим не курил, и новости о состоянии табачного рынка он узнавал от Лисы. А дядя Саша курил «Север», и от слабых сигарет у него начинался кашель, но, когда угощала Лиса, он брал любые и даже делал вид, что ему нравятся. Вообще дядя Саша, хотя Лису иногда и поддразнивал, относился к ней нежно, как к собственной внучке.

Дядя Саша закурил «Ту».

— Ну как у вас? Машину никакую не украли? Мне все время страшно: вдруг украдут! Вам тогда придется платить?

— Ну что ты!— Дядя Саша все-таки закашлялся, махнул рукой, не то разгоняя дым, не то показывая нелепость такого предположения.— Выгонят на худой конец, как Химича.

— А за что Химича?

— Заснул, а у него увели тулуп, в котором зимой ходим. Да черт с ним, дрянь мужик.— Дядя Саша искал сравнение и объяснил:— Хуже Петровича.

А Вадим все молчал. Просто любовался Лисой. Наконец сказал:

— Посмотри, что у нас в будке. Только внутрь не лезь.

Лиса заглянула. Подошла осторожно, привстала на цыпочки — не чтобы лучше видать, а чтобы тихо.

— Ой! Какие! Слушай, Волчок, а они живы? Лежат так.

В хорошие минуты Вадим становился Волчком.

И потому, что в сказках они всегда вместе: Волк и Лиса, и потому, что после книги Моуэта волк стал символом благородства, по крайней мере среди читающей публики.

— Были б не живы, она б их сразу сожрала,— сказал дядя Саша.

— Ну что ты говоришь! Ведь дети!

— Прошлый раз так и было. Трое подошли, и сожрала. Прихожу, у ней морда в крови. Противно.

Этого о Гайде и Вадим не знал. Действительно, противно. Зарыла бы, что ли, но жрать!..

— А можно их потрогать? Она же меня знает.

— И не думай. Она сейчас никого не подпускает!

— Немножко.

Вадим подошел, собрал в кулак ее волосы — так, для страховки, чтобы выдернуть ее в случае чего.

— Я пройду, посмотрю, где как,— сказал дядя Саша.— Побудете, да?

Тактичный старик.

— Я на завтра взяла билеты на Якобсона. На дневной спектакль.

— Ну и зря. Нужно было спросить сначала. Я завтра днем занят.

Собственно, этими репликами тема была исчерпана: у них не было принято уговаривать друг друга, объяснять причины,— занят, значит, занят, ибо они с самого начала провозгласили обоюдную свободу и стоически держались этого принципа. Например, Вадим звонил ей утром, звал за город, а она отвечала сонным голосом: «Я так хочу спать, я вчера ужасно поздно вернулась!» И он не спрашивал, откуда она вернулась так поздно. Поэтому следующая реплика Лисы была уже как бы проявлением слабости с ее стороны:

— Жалко. Такие хорошие билеты: самые дешевые, по тридцать копеек.

Дело не только в том, что у Лисы нет денег. Тут

снова замешан принцип: Лиса считала, что за искусство платить грешно, что искусством нужно заниматься бесплатно, для души. Вадим отлично знал эту идею-фикс своей любимой невесты, но, поскольку она (идея) раздражала его своей нелепостью, он не удержался и заметил:

— Чего ж хорошего? Сказала бы, что хочешь, я бы купил первый ряд.

— Первый ряд! Нашелся купец. Как ты не понимаешь: искусство должно быть счастьем, а за счастье не платят!

— Ага. Пусть отработает восемь часов, а потом пойдет заниматься своим счастьем. Посмотрел бы я на ее антраша.

Они уже это говорили друг другу десятки раз. Поэтому не стали продолжать спор. Тем более как раз вовремя откуда-то вывернулся Бой и восторженно бросился к Лисе.

— Ах ты, Боенька, ах ты, собаченька. Тебя-то всегда можно погладить. Ты-то меня всегда любишь.

— За колбасу,— прокомментировал Вадим.

— Да ну тебя, математик, жалкий сухарь! Боенька меня и так любит.

— Математика сухая, зато физика полна романтики.

— Еще бы! Мы имеем дело с реальными телами, а вы с абстракциями.

— Тела — это хорошо,— согласился Вадим и прижал к себе Лису.

— Да ну тебя.— Она вывернулась.— Вон кто-то едет, приступай к обязанностям.

К воротам подъехала черная «Волга». Государственная. Из нее вылез солидного вида пассажир, несколько нерешительно подошел к Вадиму.

— Сторожа где можно видеть?

— Я — сторож.

А за кого он, интересно, принял Вадима? За кооператора, прогуливающегося с молодой женой?

— Скажите, а председатель ваш,— он на секунду затруднился, но вспомнил,— Святослав Юрьевич здесь?

— Нет, сейчас нету. А вы из стройтреста?

— Да.

— Он о вас говорил. Просил передать, что будет часам к пяти.

Солидный товарищ покраснел.

— Но как же так? Мы договорились! Сейчас еще только половина четвертого.

Раздражение, обращенное на председателя, Вадима только радовало. Он продолжал с готовностью:

— Он просил либо подождать, если можете, либо заехать еще раз.

— Безобразие! Министр какой, чтобы его полтора часа ждать! Передайте, что я не знаю, смогу ли приехать еще раз. Так и передайте: не знаю! И передайте, что я удивлен. Обязательно передайте: удивлен! Пусть сам ко мне звонит, сам едет. Ему нужно, в конце концов. Министр какой!

Солидный товарищ пошел к своей машине.

Вадим присмотрелся и узнал его шофера: у того же здесь четырехеста двенадцатый «Москвич» стоит! Через шофера, наверное, и познакомился председатель с этим начальником.

— Видишь, какой сердитый,— сказал Вадим вслед уехавшему товарищу,— привык всех распекать, все на стройке знает, а не знает самой простой вещи: его шофер отрегулировал зажигание и ездит на смеси — половина девяносто третьего бензина, а половина семьдесят шестого. А сэкономленный девяносто третий льет в свой «Москвич».

— Такой жулик?— наивно удивилась Лиса.— А откуда ты знаешь?

— По выхлопу вижу.

— Врешь ты! Нашел дуру: «по выхлопу»!

Вадим рассмеялся.

— Вру, он сам рассказывал. Он здесь держит машину.

Лиса вздохнула:

— Все-таки неприятно, когда рядом жулик.

По этому вздоху Вадим еще раз убедился, что он правильно поступает, что не посвящает Лису в подробности своих дел.

— Волчок, а я хочу потрогать щенков. Пусти, а?

— Подождешь несколько дней.

— Я осторожно. Только нос суну.

— Вот и будет очень досадно его лишиться.

— Значит, если бы Гайда откусила мне нос, ты бы меня бросил?

— Конечно!

Вадим сделал жест: мол, чего и сомневаться.

— Та-ак. Хорошенького же муженька я выбрала.

Такими импровизированными скетчами они часто забавлялись, но если всерьез, неужели он бы взял изуродованную жену?!

— А я-то думала, ты любишь мою прекрасную душу.

— Разумеется. Но в соответствующей упаковке.

Вадим снова притянул ее к себе.

Не всегда они пререкаются! Только вчера они целовались у Вадима дома,— отец должен был вернуться с минуты на минуту, а квартира однокомнатная, так что большего они не могли себе позволить,— но вдруг Вадим отстранился и сказал: «Подожди, давай немного поговорим». И она ответила: «Как ты хочешь. Все — как ты хочешь».

Слова как слова. Но суть в том, как она их произнесла. Наверное, ради таких минут и дается жизнь.

Издали раздался кашель: возвращался дядя Саша, докуривая «Ту».

— Ну как на объекте? Все спокойно?

— Что ему делается, объекту этому.

Подкатил новенький «жигуль» — правда, первой модели, самый простой, — и его владелец пошел навстречу дяде Саше, как старому знакомому. Черный, носатый, в ермолке — живой персонаж Шолом-Алейхема.

— Здравствуйте! Вы, наверное, сторож! Вы, наверное, знаете, не продается ли у вас гараж!

— Здравствуйте. Знаю. Не продается. А если бы продавался, только члену кооператива.

— Значит, если я не член, у меня никаких прав?

— Ни прав, ни обязанностей.

— Я бы рад иметь обязанности в обмен на права. А как к вам можно вступить?

— Это делают в исполкоме. Кого направят, тех и принимаем.

— Значит, в исполкоме меня примут?

— Вроде заполнено все. Узнайте.

— А вы на месте ничего не можете?

— Ничего.

Когда неудачливый покупатель гаража отъехал, дядя Саша сказал с насмешкой:

— Если бы места здесь у нас давали, тут бы развернулись!

Дядя Саша затронул неудачную тему, — счастье еще, что не сказал: «Ты бы развернулся!» — нужно было срочно увести разговор, и Вадим принужденно засмеялся:

— Какие ездят, а? Раньше пенсионеры если ездили, то в паралитическом кресле. Что значит прогресс!

— Тебе, если за пятьдесят, уже старик, — как бы даже обиделся дядя Саша. — А такого еще и женить можно. Еще и молодую найдет.

— Которая за машину выходит, той и столетний сойдет, — сказала Лиса.

— Ну, ребята, вы уж больно дружно наваливаетесь! — Дядя Саша поднял руки. — Только ты, Лиса

Патрикеевна, по себе судишь, а не все такие. Другой машина важнее. Или рассуждают: раз машина, значит, хозяйственный, в дом несет. Раньше в деревне за безлошадных девки тоже не больно шли.

Подошел Жора. Карман его спецовки недвусмысленно оттопыривался.

— Дядя Саша, сейчас с тобой будем обедать! Правильно, ребята?.. Погоди, эта Вадькина девчонка как-то по-звериному называется, я слышал один раз. Змея, да?

— Лиса!— со смехом поправил Вадим.

— Точно, Лиса. Я помню, кто-то хитрый. Вот, ее не обхитришь, она уже знает, что я выпил и что собираюсь еще. Вадька, если сдуру женишься, она за два квартала будет чутя, что ты поддал. Дядя Саша, давай.

Дядя Саша любил составить Жоре компанию, но никогда не терял голову при виде бутылки.

— Погоди, Жора, рано. Скоро председатель придет, мне нужно перед ним как стеклышко, понял? Поди у себя в гараже поскребись еще час.

Лиса сунула дяде Саше ладошку.

— Пока. Пора мне. И не слушай без меня этого Жору.

— Ты сказала — все, близко не подпущу его, змея! Главное, сам змей, а других обзывает.

Вадим подхватил Лису под руку.

— Дядя Саша, посидишь без меня? Я до автобуса.

— Хоть до утра. Ребята,— умилялся дядя Саша,— если бы не сын с невесткой, я бы вас к себе брал ночевать. Радуйтесь, пока молодые.

Лиса засмеялась:

— Ладно! Вот сын уедет в отпуск, мы напомним.

— Ребята! Тогда комната ваша!

— А я могу пускать в гараж,— сказал Жора.— Хоть она на меня бочку катит, эта Лиса. Спинку опустите — очень удобно. Сын автомобилистом станет.

— Ну, если так, специально из квартиры в гараж придем,— пообещала Лиса.

И потом смеялась половину дороги.

— Я люблю пьяных, честное слово: в них душа видна.

— Ладно, учту пожелание.— Вадим слегка поклонился.— Как-нибудь напьюсь, посажу тебе пару фонарей от души.

— Вот себя и покажешь. Это, если хочешь знать, старинное средство: напоить жениха и посмотреть. Потому что вся суть сразу видна. Трезвый, он может маскироваться, а тут сразу наружу. Если пьяный звереет, он такой и есть на самом деле. А есть такие, которые, как выпьют, еще милее. За таких и выходят разумные девушки.

— Ну давай, проведи небольшое исследование. Интересно, по какой методике: по водочной или по коньячной? Кстати, это влияет на результат? Что бабушки говорят?

Подошел автобус.

— Ну, пока.— Лиса быстро поцеловала его.— Звони.

Вадим ждал: скажет она еще раз про билеты на Якобсона? Не сказала. Железный принцип остается в силе: полная свобода.

Вадим едва ступил на дорогу к гаражу, как около него затормозил зеленый «жигуль».

— Садись.

Знакомый подполковник. Летчик. Его «жигуль» все полгода, что Вадим здесь работал, стоял на незаконной стоянке у ворот, мозолившей глаза председателю.

— Еду место смотреть,— с ходу объявил подполковник.— Завтра с утра привезут!

— Ну да?!

Вадиму маленький подполковник — тот, стоя, ненадолго возвышался над своим «жигулем» — очень нра-

вился. Вот только беда: не знал, как подполковника зовут. Поэтому избегал обращений.

Подполковник жаловался совсем беспомощно:

— Пять месяцев за нос водил. Тогда обещал достать за неделю.

— Новгородский?

— Ижорский.

— Ну-у. Деньги-то вернул?

— Нет.

— Ну, это просто грабеж! Надо было потребовать, кулаком стукнуть!

— Как-то неудобно. Достал все-таки.

— Неудобно знаешь когда? Когда сын на соседа похож.

Вадим имел право злиться и поучать. Подполковнику обещали достать без очереди новгородский гараж, взяли вперед пятьсот пятьдесят рублей, а теперь после стольких проволочек сунули ижорский, которому госцена триста и ни один спекулянт не решается брать больше четырехсот пятидесяти. Пятьсот пятьдесят за ижорский — это уж явный грабеж среди бела дня! За новгородский берут, но зато новгородский просторнее, да и стоит дороже в конце концов. И уж кто-кто, но чтобы подполковник не мог за себя постоять! Что же тогда делать гражданским?

— Я уж боялся, совсем пропадут деньги,— виновато сказал подполковник.— Не надо было вперед давать.

— В милицию бы пошел!

— Я ж без свидетелей. Да и тоже не совсем красиво: без очереди доставал. Нет, тут уж лучше без милиции... Ну, в общем, привезут наконец. Поставьшь?

На крыльце дядя Саша сидел в обнимку с Жорой. Но дядя Саша был трезв, это было видно издали. Вадим крикнул:

— Сейчас вернусь!

Жора помахал вслед ногой.

Не хотелось Вадиму драть деньги с подполковника. И потому, что столько раз с ним болтали по-дружески, и потому, что того уже бессовестно ободрали.

— Поставил бы сам. Сто рублей экономия.

— Так, понимаешь, одному же не поставить.

— С приятелем каким-нибудь.

— Неудобно просить: это же на два дня работы.

— Опять неудобно. Все тебе неудобно! Ну ладно, давай так: поставим с тобой вдвоем. Мне полцены: пятьдесят. Ну там еще за песок, шпалы.

— Я тебе буду так благодарен!— Подполковник на секунду даже бросил руль, повернулся всем корпусом, словно хотел обнять.— Я и не надеялся. Тут всё только за деньги!

Он что, в самом деле не понимал, что Вадим на этом ничего не теряет?

— Значит, договорились. А место — в заднем ряду, если ты не приятель председателю.

— Постараюсь уговорить. Он сам когда-то служил.

Они проехали по заднему ряду, а когда вернулись, председателя «Волга» стояла у крыльца.

— Договаривайся. Только когда я отойду. А то он меня увидит рядом с тобой, да тебе и откажет. Сначала я ему сообщу новость, а потом ты давай интригуй.

Председатель разговаривал с Жорой. Вернее, Жора предавался пьяным обличениям, которые председатель выслушивал подчеркнуто благодушно.

Начала Жориной речи Вадим не слышал.

— ...И еще вы должны, как избранный от народа всеми пайщиками, чтобы быстро не ездили, а то пыль разбедает и нет никакой возможности.

— Я тоже целый день ругаюсь.— Председатель бережно поддержал за талию качнувшегося Жору.— Ты

им скажи.— Председатель указал на Вадима и дядю Сашу.— Это их дело. Пусть смотрят, пусть останавливают, пусть отбирают пропуска! А мы потянем на правление, предупредим на первый случай. А если не понимает товарищ, то можно и вон попросить!

Голос председателя окреп в начальственном восторге. И тут Вадим выступил крайне некстати:

— К вам заезжал товарищ из стройтреста, обиделся, что не застал, просил передать, что он удивлен и что не знает, сможет ли заехать снова, а тогда чтобы вы сами к нему звонили.

Председатель покраснел еще больше, что при его естественной красноте совсем не просто.

— Мог бы и подождать. Думает, на нем свет клином сошелся. Найду другого, каждый еще и рад будет.

Сел, хлопнув дверцей, в свою «Волгу» и порулил к гаражу. Подполковник устремился за ним.

— «Каждый еще и рад будет»,— повторил дядя Саша.— Тут дело тонкое: кооператив-то наличными платит, понял? А кто что при этом имеет, этого мы с тобой не узнаем. Прошлый председатель дотла проворовался. А когда ревизия — у него инфаркт, и в ящик. Выкрутился. А этот... Кто его знает. У него пенсия двести, да у жены сто двадцать, да у нас здесь получает сто двадцать. Хватит вроде на двоих. Тем более с Севера приехали не пустые. Но дочка взрослая. А это прорва, если умеет папу доить. Так что — кто его знает. Платит всем этим подрядчикам наличными. Сколько выписывает, сколько те на самом деле имеют? Это дело коммерческое, понял?

— Наш председатель — мужик что надо,— сказал Жора.— А мужик — он что, мужик — он должен никогда не теряться.

В ответ на реплику Жоры дядя Саша разразился цитатой:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом.

В дяде Саше время от времени открывались самые неожиданные познания.

Вадим еще менее дяди Саши знал, имеет председатель что-нибудь с подрядов или не имеет. Но Вадиму хотелось, чтобы имел: это дало бы Вадиму право презирать председателя.

— Всякий устраивается, как может,— невозмутимо повествовал дядя Саша.— Я раз в Новгород еду, мужик с мешком машет: «Добрьсь, тороплюсь на рынок». Повез. Подъезжаем, спрашивает: «Сколько тебе платить, чтобы, значит, рассчитаться?» Я и говорю: «Ты мне деньгами не плати, а отвали, что у тебя в мешке». Потому что я вижу, что у него мясо. Он и говорит: «Я тебе честно, как на духу: не советую. Я, говорит, сейчас в ряду стану, на рубль дешевле продам поскорей, и давай бог ноги, пока морду не бьют. Потому что моя свинина рыбой пахнет: я кабанчика рыбой откармливал». Во как, понял? Или был случай: мужику одному к дому самосвал подъезжает, спрашивает: «Цемент нужен? Всю машину за двадцатник». А в ней семь тонн. Мужику-то цемент всегда нужен: то — то, то — другое. Выгодно. Говорит: «Вали сюда, в сарай». Тот свалил, двадцатник схватил и сгинул. Дело, кстати, вечером, так что темно. Ночью дождь. Утром смотрит мужик, у него из сарая какие-то подтеки. Грязные. Крыша у него худая, вот и протекло. Бросился — а у него в сарае не цемент, а молотая голубая глина. Эта самая — кемпийская.

— Кембрийская.

— Во-во! Молотая глина, понял? Так мужик еще второй двадцатник отдал, чтобы ее из сарая вывезти!

— Потому что не зевай,— сказал Жора.

Часов около семи Вадим снова зашел к Гайде: не сменила ли гнев на милость?

Гайда сначала посмотрела из угла подозрительно, но потом подошла к двери и стала царапать. Ну конечно, она же с самой ночи не выходила, а, как воспитанная собака, не могла пачкать в помещении!

Вадим взял ее сзади за ошейник, открыл дверь, и Гайда от нетерпения дернула так, что он вылетел наружу, как репка из грядки. Дядя Саша после отъезда председателя сразу начал догонять Жору и уже почти догнал; увидев Гайду, оба разом подобрали под себя ноги, согласно решив, что это самые уязвимые их части. Но Гайда, как только из ее поля зрения исчезли щенки, сразу стала прежней послушной собакой. Все так просто: нужно было, оказывается, только дожждаться, когда природа возьмет свое.

— Отведу ее, приду за щенками. Вы их не трогайте: вдруг вырвется и прибежит, тогда от вас клочки полетят.

Вадим драматизировал ситуацию. Просто он не хотел, чтобы другие вмешивались в это дело. Он все делает сам.

— Не тронем,— заверил Жора.

А дядя Саша чуть сдвинул вверх кепку.

— Ты — молодец! Я всегда говорю!

Не без торжества Вадим вел Гайду по гаражу. Жалко, некому было оценить его достижение: все знали, что он водит Гайду, и не понимали, что сегодня в этом особый смысл.

А действовать надо было с умом: сначала положить в конуру щенков, а потом уж пустить туда Гайду, потому что если сначала посадить ее на цепь, а потом подойти со щенками, черт знает, что она сделает! Может порвать. Поэтому Вадим решил сначала запереть Гайду

в маленькой избушке, посту № 2, пойти за щенками, а уж потом пересадить ее из избушки в конуру.

Едва Вадим открыл дверь избушки, за печь побежали — трусцой, не торопясь — две здоровеннейшие крысы. Крысы хозяйничали в избушке, жирея на собачьих кормах. Гайда, наевшись, смотрела совершенно равнодушно, как крысы перед ее носом вычищали до блеска миску. Впрочем, и Вадим относился к крысам равнодушно. Когда спит — а он ходит спать во вторую сторожку, потому что здесь стоит единственный в гараже диван: старый, грязный, но диван — лучше, чем спать на стульях, — крысы, бывает, и на него взбегают, простучат по ноге маленькими лапками. Вадим их стряхнет, не просыпаясь, и все. Он иногда сам удивлялся, до чего он, оказывается, небрезгливый.

Вадим торопился за щенками, по сторонам почти не смотрел и не заметил, что гараж Химича открыт. А если бы и заметил — не обходить же. Химич вылез навстречу.

Химич не пил, хотя, на взгляд Вадима, лучше уж пил бы: может, смягчился бы, а так в нем непрерывно клокотала ярость, ищущая выхода. Он был из породы правдолюбцев, только и мечтающих влезть не в свое дело. (Одно время он тоже работал сторожем, но был изгнан за то, что в его дежурство пропал кооперативский тулуп. Сильно подозревали, что тулуп унес Петрович, и не из корысти, а специально чтобы насолить Химичу, преследовавшему Петровича вечными крикливыми разоблачениями. Ясно, что после такого происшествия нрав Химича не смягчился.) Вадима Химич возненавидел сразу и обличал с еще большей страстью, чем Петровича.

— А, Доцент! Все рыщешь, промышляешь! Подожди, пойду я в ОБХСС, разгоню всю вашу шайку, казнокрады проклятые!

Вадим придвинулся к старику, сказал тихо:

— Заткнись. А то испорчу портрет.

— Что ты мне сделаешь, Доцент? Ударишь? Да у меня тут полно корешей. Только тронь, сделают из тебя фарш. Тебя же тут ненавидят все. Убирайся из гаража, понял, убирайся!

Вадиму очень не хотелось драться. И в самом деле кто-нибудь обязательно увидит, да просто Химич сам побежит всюду плакаться: избил старика! Но и выслушивать поношения было невыносимо.

Пожалуй, первый раз у Вадима был настоящий враг. Может быть, и раньше у него бывали недоброжелатели, но те вели себя корректно, недоброжелательство свое внешне не проявляли, Химич же просто кипел ненавистью. За что? Скорее всего, причина была в том, что раньше в гараже не было сторожей — аспирантов матмеха. Это Химичу было непонятно, а непонятное вызвало в нем особую ярость. Недаром он сразу прозвал Вадима Доцентом. Доценты, по понятиям Химича, должны были вести другую жизнь.

— Убирайся, Доцент, из гаража! Убирайся, пока не поздно! Спекулянт, казнокрад — интеллигенция, называется!

Проволоками краснели склеротические жилки на щеках, летели брызги слюны. Каждая черта была в нем отвратительна Вадиму, каждая клетка!

— Слушай внимательно, без свидетелей: здесь я тебя не трону, я не такой дурак — на глазах у всех тебя бить. Но адрес твой в журнале есть. Снова хоть раз меня оскорбишь, тебя однажды в парадной избьют до полусмерти. Сам я в это время и близко от того места не буду: у меня есть кого попросить. Тебе никогда не отбивали почки? Попробуешь. Ты хотя и идиот, но постарайся понять и запомнить. Предупреждаю последний раз.

Повернулся и пошел. Вслед ему ругань не неслась. Вадим блефовал — не было у него друзей, которые

могли бы избивать в парадных, но он видел единственный способ заткнуть глотку Химичу: запугать. И еще: Вадим врал, но ему хотелось, чтобы это было правдой. Он ненавидел Химича. Это тоже было новое ощущение: раньше Вадим никого не ненавидел, никого не мечтал избивать. Никогда он не переживал подобного, не знал, что по силе страсти ненависть может сравниться с любовью или даже ее превзойти — сердце билось, дышал тяжело, кулаки сжимались, ходила челюсть. Скажи Химич еще одно неосторожное слово, Вадим бросился бы на него, забыв благоразумие.

Когда отдышался, стало немного страшно: не знал он, что в нем таится такое — темное, дикое, не знающее меры. Всегда таилось или появилось только здесь, в гараже? Вот чувство, в котором нельзя признаться никому.

Не сразу вспомнил, откуда шел, каким делом занят.

Дядя Саша все же решил принять посильное участие в эвакуации щенков: он приготовил большую картонную коробку. Они с Вадимом уложили туда щенков. Все были живы и здоровы, все оказались плотными, тяжелыми, а что они подолгу лежали неподвижно, так просто они еще не интересовались внешним миром.

— На лапы посмотри, на лапы!— кричал Жора.— С мою толщиной. Порода!

Вадим нес коробку на вытянутых руках, как официант несет поднос с фирменным блюдом, гордостью шеф-повара.

— Ой, какие милые! А потрогать можно?

Вадиму через плечо заглядывала в коробку молодая и стриженная. А вот и ее красный «жигуль».

— Какие мы все толстые!— И вдруг с тревогой:— А куда вы их несете?

— К маме, куда ж.

— Ой, фу! А я так испугалась: вдруг подумала — топить. Сколько им уже?

— Еще нет суток.

— И такие толстые. И такие у нас уши. А можно пойти с вами? Она их будет кормить, да? Я никогда не видела, как собака кормит. Смешно, да?

— Вы гараж закройте.

— А, у меня там брать нечего. А почему вы их держите отдельно? Чтобы кормить по часам, да?

— Просто переселяю. Сначала ее отвел, теперь их.

— Как интересно!

Чего тут особенно интересного? Вот видела бы она, как одичала и кидалась Гайда!

Хозяйка красного «жигуля» оказалась девушкой высокой, почти с Вадима ростом, и вообще крупной — широкие плечи, мощные ноги, выпуклая грудь. При таком здоровом сложении явная жизнерадостность натуры представлялась совершенно естественной.

— Я так завидую, когда умеют с собаками обращаться! К некоторым они идут, а к некоторым нет. И ничего не сделаешь. Бабушки в деревне говорят: слово надо знать. А лучше и не скажешь. Ничего, что я много болтаю?

— Ничего. Вы крыс боитесь?

— Ой, ужасно! До кошмарного визга.

— Тогда дело плохо. Тут в домике и вокруг их полно.

— Тогда вы идите вперед: должны же они вас бояться.

Вадим прошел вперед, несколько крысиных хвостов и в самом деле мелькнуло.

— Вы тогда пока не заходите. Все равно я сейчас Гайду поведу.

Все удалось прекрасно. Гайда рванулась к щенкам, Вадим успел защелкнуть карабин на кольце ошейника, отскочил — и тут же Гайда, которая только что лизалась и тыкалась носом, повернулась и зарычала: не подходи! Быстрее не сменяет маски и Райкин.

— Вот теперь заходите. Только близко нельзя.

Материнская идиллия была продемонстрирована как в кино. Гайда с гордой и одухотворенной мордой лежала на боку, щенки подползали, тыкались и, найдя сосок, присасывались намертво. Стриженная и жизнерадостная волновалась:

— Ой, двое опоздали! Им же не протиснуться. Со всем оттеснили! Давайте мы их поднесем к соскам!

— И думать не смейте! Гайда за них вцепится в горло. Разберутся сами. Ну идемте, а то она все же нервничает.

Стриженная продолжала восхищаться и на обратном пути:

— Ой, а какая она красавица! Уши торчат, нос длинный! Это ужасно, что я такая навязчивая, да?

— При чем тут навязчивость? Любите собак, и очень хорошо.

Рядом с ней Вадим невольно чувствовал себя мудрым наставником.

— Нет, правда, так здорово. Вы все умеете. Вы, наверное, и в машинах запросто разбираетесь!

Сказано было тоном настолько утвердительным, что у Вадима не хватило духу отклонить незаслуженную честь.

— Да есть кое-что, конечно.

— Ой, я опять навязываюсь, но я совсем не знаю, к кому обратиться. Мне сказали, нужно прокачать тормоза. Господи, я не знаю, что это вообще такое! Или подшутили? Шины накачивают, это понятно.

К счастью, Вадим как раз недавно помогал прокачивать тормоза, так что в этом вопросе он был совершенно компетентен.

— Нет, не подшутили. Их, точно, прокачивают.

— А я в этом ни бум-бум. Но странно, правда: месяц всего езжу, и уже чего-то прокачивать?

— Это ерунда. Сейчас сделаем.

— Правда? Вы можете и сделать? Я боялась, нужно ехать на станцию, а там ужасно много народу, слесаря наглые, норовят обмануть таких, как я!

— Сделаем. Кстати, если бы вы даже были в этом деле бум-бум, все равно пришлось бы вдвоем. Тут иначе нельзя.

Зачем Вадим напросился на эту работу? Во всяком случае, не в надежде заработать. Ему приятно было повозиться с машиной, ему приятно было поддержать свой авторитет в глазах этой стриженной.

— Ну вот, закатывайте свою тачку на эстакаду, чтобы не ползать на брюхе. У вас тормозуха есть? Тормозная жидкость то есть.

— Не знаю.

— Ладно, найду у кого-нибудь. И шланг. А вы пока закатите.

— А я сумею? Может быть, лучше вы?

Второй раз сегодня наступают на большую мозоль. Просто невыносимо!

— Чего там уметь? На первой скорости. А я пока все принесу.

Вадим вернулся минут через пять с полной банкой тормозухи. Красный «жигуль» уже возвышался на эстакаде.

— Вот видите. А вы боялись.

И тут Вадим проявил себя в полном блеске. Уверенно долил жидкость в тормозной цилиндр.

— Теперь все очень просто. По моей команде нажимаете на тормоз. Нажимать быстро, отпускать медленно. Как вас зовут?

— Ирой.

— А я Вадим. Значит, понятно, Ира? Быстро нажимать, медленно отпускать.

И он спустился с банкой и шлангом под машину.

Внизу он действовал не так уверенно: не сразу нашел перепускной клапан, потом шланг не хотел присо-

единяться. Но Ира этого ничего не видела. Довольная, что от нее не требуется никаких технических познаний, она беззаботно болтала.

— Знаете, я с этой машиной стала ужасно мнительной, честное слово! Все, кажется, смотрят и спрашивают друг друга: а откуда у нее машина? Знаете, на работе даже бывает неудобно: люди в годах идут пешком, а я мимо них с ветерком. Я работаю в поликлинике, всего год как кончила, а там врачи с тридцатилетним стажем.

Вадим и не сразу понял, что Ира не просто болтает, но изливает душу.

— Нажали.

Из шланга в банку пошли пузыри воздуха — значит, все сделано правильно.

— Хорошо. Еще пять раз подряд... А почему вас не распределили куда-нибудь в Псковскую область? У вас здесь муж?

— Нет, я не замужем. Неужели вы не заметили, что я без кольца? Это все замечают. Ах да, вы же со мной не ездили... Просто за меня папа попросил. Он медицинский профессор и даже генерал. По глазным болезням. А когда я стала с участка еле живая приходить, он говорит: так нельзя, глупо бегать по квартирам, я тебе куплю машину. Я сначала боялась, как я смогу, но у них в академии такой инструктор, он очень хорошо учит. Вот я и сдала. Сначала ужасно неудобно было в поликлинике: все бегают, а я езжу, тем более — купил папа. Конечно, попросила самый дальний участок. А теперь иногда думаю: чего? У нас еще у двух докторш машины, но на них ездят мужья, хотя у них работа сидячая. Так кто им мешает? Или сами боятся, или мужья не хотят. Вот и езжу. Еще меня просят вечером на «неотложке» дежурить, когда нужно шоферу дать отгул. Очень удобно.

— Теперь нажать и не отпускать...

Вадим завернул клапан, снял шланг, надел колпачок.

— Хорошо. Можно отпустить.

— Все, да?

— Все с одним колесом. Еще три — и будет готово. Но первое всегда дольше.

— Ой, я вас так задерживаю.

— Ерунда. Особенно интересных занятий у меня здесь в ближайшие часы не предвидится.

— Конечно, чего тут интересного. Вот разве что собака. Я смотрела и удивлялась, что вы здесь сторожем. Я уже неделю здесь в гараже, второй раз вас вижу. Вы совсем непохожи на других сторожей. Они все простые старички. А вы еще где-нибудь работаете?

— Я в аспирантуре.

— Правда?! По какой специальности?

— По математике... Качайте.

— Ой, вы, наверное, ужасно талантливый. В математику идут только талантливые. И тем более раз взяли в аспирантуру. Меня у нас — и то не взяли. — Она вздохнула. — Меня засыпали на философии — так глупо! Вернее, поставили четверку, а нужно было только пять, потому что трое на одно место. Но я буду поступать снова. Я хочу на детские инфекции.

Вадим хотел сказать, что странно при таком папе не поступить с первого раза, но промолчал.

— Снова нажать и не отпускать. Сейчас последнее — и все.

— Но я про себя знаю, что у меня голова самая обыкновенная. Вот езжу, но внутри ничего понять не способна.

— Странно: человеческие внутренности вроде сложнее, а вы же в них понимаете по долгу службы.

— Если вдуматься, конечно, вы правы. Но мне кажется, что машины сложнее. Как загляну под капот,

сразу голова кругом. А вы почему разбираетесь? У вас машина есть?

— Если бы была, я бы тут не работал.

Ира ужасно смутилась.

— Извините, я опять ляпнула глупость. Но я хотела в том смысле, что иначе где научились?

— Так, поднахватался. Видно, есть к этому склонность.

— Да, мужчины все склонны к технике.

— Ну, готово. Нажмите-ка еще раз. Чувствуете, сопротивление в педали возросло?

— Да, чувствую. Правда.

— Потому что воздуха в системе нет. Ну, я вылез, можете скатываться.

— Стра-ашно!

Тем не менее она бодро скатилась и подрулила к своему гаражу, который так и стоял все это время распахнутый настежь.

Вадим заглянул внутрь. Да, гараж требовал рук. Пол кое-как настелен — и все. А можно так хорошо обшить, полки сделать, гнезда для инструментов.

Ира поставила машину, Вадим помог ей запереть гараж. Ее болтливость вдруг куда-то пропала, движения стали скованными — она явно была в большом смущении.

— Вы столько работали, старались... Я не знаю...

Вот что ее терзало! Прошлый раз за такую работу Вадим взял трешку, хотя работал больше хозяин. Но брать деньги с Иры было невозможно! Он хотел остаться с нею на равных: она врач — он аспирант, а плата сразу низвела бы его в поденщики, в прислугу.

— Пусть это вас не тревожит. Мне было приятно вам помочь.

Вопрос разрешился. Было видно, что она испытала громадное облегчение.

— Ой, такое огромное спасибо! Честное слово. А то, знаете, тормоза...

— Залог здоровья, не меньше.

Они пошли вместе до ворот.

— А я живу вон в том доме, прямо через проспект. Пять минут — и дома. Правда, удобно?

— А когда дом далеко, не стоит здесь и гараж иметь.

В этих словах Вадим высказал свое кредо. Он давно решил, что, когда у него будет машина, ездить за ней полчаса на автобусе он не согласится. Машина создана для удобства: вышел — сел — поехал.

— Ну, мы еще здесь увидимся, правда?

— Конечно. И если еще будет нужна техническая помощь, я всегда рад.

— Ой, еще раз спасибо! Вы даже не представляете! До свиданья.

Когда Вадим вошел в будку, дядя Саша грозил ему пальцем.

— Только не ври, что ты целый час щенков укладывал! Вместе с этой фигуристкой.

— Я ей тормоза прокачивал.

— Ах, ты ее прокачивал! Дело хорошее. Только учти, с тебя бутылка пива, иначе все твоей Лисе расскажу, понял?

— Договорились,— засмеялся Вадим.— И полная конспирация.

5

Белые ночи кончились, в половине двенадцатого темно, и приходилось зажигать свет. Вадим нажал кнопку, и на высоких мачтах вспыхнули прожектора.

После ухода Жоры дядя Саша вздремнул на стуле и теперь был совсем трезв. Можно было считать, что ночь началась, и ждать мужика со шпалами, но когда он приедет? Если вообще приедет. Ночь длинная.

— Знаешь, дядя Саша, я пойду посплю часов до трех.

— К крысам?

— К крысам.

— Ну давай.

— Только если привезет шпалы, пусть разбудит. Пусть доедет туда, а я вылезу и покажу, где свалить.

— Ладно. Укажу ему путь.

Диванчик был очень неказистый. Гайда на него, бывало, и ложилась, когда ее здесь запирали в сильные морозы, и кости притаскивала, но Вадим стелил казенную плащ-палатку, и получалось достаточно чистое ложе. За печью по-домашнему шебаршили крысы. Гайда несколько раз начинала лаять. Потом он заснул...

— Эй!— кричали снаружи.— Эй!

И стук в дверь.

Вадим вскопчил, не совсем соображая, что за тревога. Не пожар ли?

Выскочил. И остановился ослепленный. Прямо в него упирались лучи фар. За ними слышался работающий дизель.

— Вот ты где! И не добудишься сразу.

«Шпалы!» — сообразил он наконец.

— Привез?

— Все тридцать, как договорились.

— Ну, поехали.

Все еще неверно ступая,— сон в гараже всегда почему-то тяжелый, с трудным пробуждением,— Вадим кое-как залез в кабину «МАЗа».

Пустой гараж, освещенный прожекторами, выглядел тревожно. Фары высвечивали тени; казалось, в них должен кто-то таиться, но из теневого небытия возникали только ряды ворот с тяжелыми замками.

— Здесь.

«МАЗ» оказался к тому же и самосвалом. Кузов задрался; и шпалы с ксилофонным стуком посыпались на

землю. Шпалы и в самом деле отличные: новенькие, черные, свежей пропитки. Они лежали беспорядочной кучей, а нужно было их пересчитать — не обязан же он верить на слово.

— Ровно тридцать, и не сомневайся,— сказал шофер.

При свете прожекторов его лицо с неестественно расставленными глазами выглядело еще менее привлекательно, чем днем. Все же Вадиму удалось пересчитать шпалы в куче, хотя это было занятие вроде психологического практикума в «Науке и жизни»: «пересчитайте, сколько ниток изображено на рисунке»,— нужно было ни одну шпалу не пропустить, ни одну не посчитать два раза.

Минуты через три Вадим отошел от кучи удовлетворенный.

— Точно, тридцать.

И полез за бумажником.

— А шпунт ты достать не можешь?

Шофер небрежно сунул три десятки в наружный карман.

— Будет — привезу. Чего говорить заранее. Договоримся, если что. Ну, ты меня здесь не видел.

— Само собой.

Шофер легко взлетел в кабину, тронул — и только стоп-сигналы красными искрами сверкнули на повороте и исчезли.

Вадим пошел досыпать.

В три часа он проснулся и отправился сменять дядю Сашу. Тот дремал в будке.

— Давай иди спать как следует.

— Да я не хочу,— бодро сказал дядя Саша.— Какой мой сон стариковский.

У дяди Саши была раздражающая манера кокетничать. Нет того, чтобы сразу идти спать; обязательно расскажет, как он на фронте не спал по восемь ночей,—

принимал специальные американские таблетки,— какая у него вообще бессонница. Так предложил бы хоть раз: «У меня бессонница, спи ты всю ночь!» — но нет же, и, выходит, Вадим просыпался для того, чтобы выслушивать воспоминания. В другое время — пожалуйста, очень интересно, но не среди ночи.

— Привез-таки, да? Я видел, полный кузов. Так что теперь фронт работ обеспечен?— Дядя Саша был расположен поболтать.— А мне торцовые ключи обещали, понял? Так мы их в два раза быстрее собирать станем. Три штуки в день кинем — и пойдем домой.

Вадим вяло кивнул. Он уселся в сторожевой будке, включил электропечь, рассчитывая додремать до шести.

— А еще знаешь кто приезжал? Петрович на автобусе. Опять гаражи привез, понял?

Петрович время от времени привозил ночью невесть откуда некрашенные гаражи и прятал в пустой гараж, который уже три месяца как продавался. Там он привезенные гаражи красил и только потом являл на свет.

— Через забор ему кидают, не иначе. Ну что, там работягам сотню, ну шоферу, а потом здесь за четырьмя продаст. Понял?

— Тут ему не позавидуешь. Это уж прямая уголовщина,— сказал Вадим, несколько даже гордясь своей непричастностью к таким делам.— Попадется когда-нибудь.

— И не жалко.

Наконец дядя Саша все же ушел в дом — он там устраивался на досках, но на второй пост упорно не ходил: не любил крыс. Вадим вытянул ноги на стулья и задремал. После пяти стали появляться первые хозяева машин, Бой издали встречал их лаем, Вадим с трудом поднимал голову, кивал проходящим и дремал дальше.

В шесть появился на крыльце дядя Саша. Раннее июльское солнце уже встало, стены дома сделались ро-

зовыми, и дядя Саша казался крестьянином с лубочной картинкой, который вышел пахать на зорьке.

Вадим оставил дядю Сашу сторожить, а сам пошел раскидать песок и бросить начерно шпалы, чтобы, когда в девять сменятся, сразу выровнять шпалы по ватерпасу и начать собирать гараж,— рациональная организация труда.

Вадим опять разделся до пояса — утренний загар самый ценный — и не спеша разравнивал песок. Получалось как раз на две площадки, как он и рассчитывал. Маленький подполковник, наверное, договорился с председателем, подполковнику нужно будет ставить в переднем ряду, так что эта площадка пойдет кому-то другому. Только вот опять придется за песком для подполковника на набережную идти. Или послать его в порядке разделения труда, пусть сам поунижается?

Самое обидное, что песок был в почти неограниченном количестве и совсем рядом. Со стороны Шуваловской мызы вели теплотрассу, и строители навезли несколько тысяч кубов песка. Трассу сделали, а песок остался брошенный, ясно, что вывозить его не будут. И лежит он от гаража метрах в трехстах, а как его возьмешь? Брать грузовик и грузить лопатами? Нет уж, проще с набережной. А вот был бы автопогрузчик с ковшом!..

Мечты Вадима были грубо прерваны.

— Слушай, ты! На минуту!

Вадиму не понравилось обращение. Он выпрямился, посмотрел — обматерить сразу или просто плюнуть?

Перед кучей песка стоял мужик с широко расставленными глазами, и сейчас эти глаза горели особенно пронзительно и неприятно.

Вадим воткнул лопату в песок, подошел.

— Слушай, я предупредить. Меня вроде засекли вчера, ночью то есть. И потом, я какого-то жлоба стукнул. В общем, у меня на базе железный свидетель, что я

ночью не выезжал и вообще от своей бабы не отрывался. Только чтобы здесь не заложили, понял? Шпалы эти ты в другом месте взял, сам соображай, ясно?

Вадиму сразу стало холодно.

— Обожди, как засекли? Где?

— Когда от сортировки отъезжал.

— Чего ж ты не сказал сразу?!

— Что я, знал? Дружок у меня там, он прибежал под утро, говорит: сторож засек. Но он номер видел неотчетливо, а у меня железный свидетель. И чтобы тут: не было здесь никого — и точка!

— А ударил кого?

— Черт его знает. Жлоб какой-то нажравшись.

— Сбил, что ли?

— Ну да.

— Так ведь все равно следы на машине!

— Фара. Так я ее уже сменил. Старую поставил, так что все чик-чик. Только чтобы здесь не заложили. И дед твой. А то, в случае чего, я тебе этих шпал сто штук продал, не меньше!

— Тридцать.

— А кто их считал? Так что сам понимаешь: соучастие в расхищении или спекуляция, да не мелкая, за которую дают пятнадцать суток. В общем, все, побежал. Не было меня тут! У них, знаешь, разные подходы бывают, логика, то-се — запутают, если поддашься. Тверди одно: не было никого! Понял?

И пошел перевалку.

Может быть, первый раз в жизни Вадиму стало настоящему страшно. Скупал краденые шпалы! Вот они лежат, свалил около самого песка, чтобы лишнего метра не таскать. Скупал, потом перепродавал вдвое — как это называется? Этот тип грозил: не мелкая спекуляция! А если и мелкая, если пятнадцать суток?! Узнают в университете, полетит аспирантура. Господи, если бы можно было вернуть полсутки, стереть их, как стирают

написанное карандашом! Повторить с силой много раз про себя: не было этого, не было, не было! НЕ БЫЛО! И чтобы и вправду не было.

Пусть бы только на этот раз пронесло. Последний раз. Никогда в жизни не свяжется он больше с новыми шпалами. Будет работать только на старых. На судоремонтном заводе одну ветку разобрали, так обходчики продают из-под нее шпалы. Парадокс, но они обходятся дороже новых: обходчикам по рублю, да за погрузку, да за машину. Но все равно, теперь он будет брать только там! Пусть дороже, зато совесть спокойна. И с новым шпунтом никогда не станет дела иметь, и с вагонкой!

Но что делать с этими, с уже привезенными?! Вот лежат нахальной кучей, сверкают черными боками, за километр ясно — новые! Сразу увидят, когда *придут*. Объяснять, что взял сам в другом месте, не на сортировке? Нет, это не объяснение. Нет такого места, где законно продаются новые шпалы. Лучше всего сделать так, чтобы их не было! Сжечь! Только костер получится в полнеба, все сбегутся, будут знать. Химич везде развонит: «Доцент жег шпалы!»

Зарыть! Долгая работа — такую яму рыть. Можно будет потом, ночью, в свое дежурство. Ну а сейчас? Сейчас?!

Спрятать! Только спрятать!

Наконец возник четкий план: шпалы немедленно перетащить в гараж, в котором подрядился настелить пол. Ключ есть. Под гараж, который подрядился ставить с дядей Сашей, выложить периметр старыми шпалами, шесть штук как раз, слава богу, валяются. Дальше будет видно. Или привезет еще старых шпал, или под колею сойдут и новые, благо хозяин уедет в командировку, а без него внутрь не заглянут. С остальными новыми шпалами — по обстоятельствам: либо зарыть (кстати, в земле за три-четыре месяца примут вид старых),

либо просто переждать и потом понемногу использовать вперемежку со старыми. Но сейчас — скорей спрятать!

Гараж, в котором Вадим собирался прятать шпалы, находился в том же ряду, всего метрах в пятидесяти. Но и это немало, когда нужно перетаскать тридцать шпал. Целых тридцать! Проклятая жадность! К счастью, теперь Вадим знал то, чего не знал, когда зарабатывал горбом свою первую пятерку: у Петровича есть тележка, которую он прячет за собачьим закутом.

Вадим побежал за тележкой.

А народ уже шел. Понемногу шли — все-таки воскресенье, — но шли. Некоторые доходили до последнего ряда, проходили мимо горы шпал, проходили мимо Вадима, поспешно катившего тележку, груженную шпалой. Свидетели! Одна надежда, что люди вообще-то не наблюдательны. Другая надежда, что не сразу найдешь среди сотен кооператоров тех, кто видел, как Вадим прятал шпалы. Третья надежда, что большинство не станет лезть не в свое дело, — благоразумно скажут, что ничего не видели. Но все же свидетели. Полной гарантии план Вадима не давал.

Тележка Петровича совсем маленькая, на нее можно грузить только одну шпалу. Погрузить, доехать, затащить в гараж — и так тридцать раз. Бегом, все время бегом! Кажется, никогда Вадим так не выматывался. И все равно на операцию ушло больше часа.

Сразу же на той же тележке перевез старые шпалы. Каждую провез по два раза, чтобы видело как можно больше народу. Психология! Сбить возможных свидетелей показаниями других свидетелей, которые ясно видели, что воскресным утром Вадим возил на тележке *старые* шпалы. Ясно видели и подтвердят. Но полной гарантии и это не давало.

Счастье, что не видел Химич. Он бы поплясал на костях!

Весь день было тревожно. Вадим с дядей Сашей со-

бирали гараж, и каждый раз, когда Вадим залезал на крышу затянуть верхний болт, он тревожно смотрел на дорогу: не идут ли милиционеры? ОБХСС ходит в штатском, но тут же может вмешаться и угрозыск. Или угрозыск тоже в штатском? Угораздило же этого типа кого-то сбить! Просто из-за тридцати шпал особенного шума бы не поднялось.

Но так никто и не пришел. К трем часам они собрали гараж (Вадим нервничал, поэтому работа шла медленнее обычного) и пошли по домам. И с каждым прошедшим часом, с каждым шагом, отделявшим от ворот гаража, опасность словно уменьшалась. Почему-то казалось, что если бы пришли, то пришли бы быстро. А раз не пришли, значит, пронесло.

Или просто невозможно долго находиться в таком страхе и неизбежно должно было прийти успокоение?

Домой подходил почти совсем уверенный, что пронесло.

Какое счастье!

6

Вадим отдохнул немного и поехал в центр — «в город», как говорят в новых районах: нужно было зайти к Лева Мальцеву, товарищу по факультету. Когда-то они познакомились в яхт-клубе, оба хотели ходить под парусом, но оба долго в клубе не выдержали. Потом Лева поступил на матмех, а год спустя — Вадим. Многие знакомые решили, что Вадим пошел в математику из подражания другу: Вадима прочили в филологи, — но сам Вадим подражание яростно отрицал. Теперь Лева на год раньше оказался в аспирантуре и с моцартовской легкостью писал кандидатскую, которая, если верить легендам, давно уже переросла в докторскую. Впрочем, Вадим легендам этим не совсем верил: известно, что легенды прилипают к ярким фигурам, а Лева Мальцев

как раз и был такой фигурой, недаром он больше известен среди множества своих поклонников и поклонниц как Дон Карлос.

И не так уж нужно было Вадиму зайти к Дону — так обычно сокращали завсегдатаи, — то есть формальный повод был: отдать Колмогорова, которого Вадим держал уже месяца три, но Лева не напоминал и можно было держать еще столько же. Сокровенная же причина состояла в том, что наступал момент, когда Вадиму необходимо было прийти в этот облицованный серым гранитом дом, подняться в тесном старом лифте на седьмой этаж и оказаться — нет, не в гостях у Левы Мальцева, а в Замке бурь, единственном и не похожем ни на какой другой дом Замке — жилье Дона. Необходимо, хотя Вадим и не причислял себя к сонму слепых поклонников Дона. И сегодня более необходимо, чем когда-нибудь. Хорошо, что сегодняшняя необходимость совпала с воскресеньем.

В другие дни увидеть Дона почти невозможно: либо он запирается в Замке и не отвечает на звонки — иначе совершенно не дадут работать, либо носится по городу по своим многочисленным и не всегда понятным Вадиму делам. В воскресенье же с утра до вечера принимает, и все желающие его видеть едут в Замок. Лифт трудится почти без передышки.

Приходят и спрашивают как о само собой разумеющемся:

— Знаете, Дон, я еду во Львов, где бы там переночевать?

Немедленно извлекается на свет записная книга — размером с том энциклопедии, — и проситель получает два-три адреса: можно при этом не сомневаться, что с рекомендацией из Замка везде примут как дорогого родственника, потому что хозяева в свое время бывали в Замке и запомнили это событие на всю жизнь.

Или посетитель прямо с порога осведомляется:

— Скажите, Дон, в каком году первый раз приезжал к нам Клемперер? Мы тут поспорили.

И следует немедленный ответ:

— В ноябре двадцать четвертого. Играл ге-мольную Моцарта и Четвертую Брамса,— потому что о музыке Дон Карлос знает все, что только возможно знать. А чего не знает, того и знать не стоит.

Нуждающимся достает книги, пластинки, лекарства. Книги — только хорошие, пластинки — только с настоящей музыкой. Какой-нибудь джаз или шлягер в Замке так же невозможен, как пулемет на рыцарском турнире. Просить достать ондатровую шапку или копченую севругу никому в голову не приходит.

Но идут в Замок не только с просьбами — с дарами. Несут всевозможную антикварность: какие-то немислимые фонари, настоящие шпаги, недавно подарили музыкальную шкатулку: ставится жестяной диск, заводится пружина — и раздается наивная серебряная музыка. А коллекцию станционных колоколов Дон Карлос в своих странствиях собрал сам. Каждый колокол звенит своим тоном, так что «Вечерний звон» вызывается почти чисто...

Вадим покрутил старинный звонок. Дверь открыла Катя Овчинникова. Кто-то когда-то объявил ее вылитой лермонтовской героиней, и с тех пор ее стали звать Княжной Мери. Завсегдатаи Замка все имеют прозвища, новичок без прозвища чувствует себя неполноценным: прозвище означает признание.

— Ой, Тони! Ужасно давно тебя не видела!

Столь почетного прозвища — ведь имелся в виду сам Тони Зайлер, трехкратный олимпийский чемпион! — Вадим удостоился за свои скромные успехи в слаломе и, стараясь не подавать вида, гордился этим честно заработанным именем.

— Целуй, только осторожно, чтобы мне тебя руками не задеть: пол мою.

Посторонний подумал бы, что Мери — жена или возлюбленная хозяина, иначе зачем бы она мыла пол, и посторонний бы ошибся: если Мери и имела когда-то столь честолюбивые надежды, то они давно улетучились, она уже успела и замужем побывать, но осталась в кругу вернейших поклонниц, а до жены или признанной возлюбленной Дон Карлос не возвышал никого, а если какая-нибудь и старалась выбиться в фаворитки, ее ждало жестокое разочарование, но разочарованные почему-то не покидали Замок совсем, но возвращались на положение почитательниц.

Уже в прихожей вошедший понимал, что он попал не в обычное место: стояла фисгармония, на крышке которой лежали маскарадные шляпы — с плюмажами и широкими полями; тут же многочисленные трости — целая коллекция, на стене репродукция Чюрлёниса — короли, склонившиеся над миром. Вадим видел все это уже сотый, если не тысячный раз и все равно почувствовал то особое настроение, которое всегда царило в Замке, подобно вечной весне в Кашмире: настроение нормальности необычного, так его лучше всего описать. Вадим надел широкополую шляпу и посмотрелся в зеркало — шляпа ему очень шла.

— А где Дон?

— На крыше с какими-то новыми москвичами.

Ну конечно, осмотр панорамы города, первый аттракцион для неофитов!

— Ты-то как, Мери? Замуж снова не вышла?

Развод Мери — это новелла. Мопассановская. Мери простодушно рассказывала Вадиму (какие секреты между друзьями!), еще когда до развода не дошло: «Понимаешь, Тони, он только все в постель и в постель. И никакого духовного общения: ни в театр, ни на выставку. Это, наверное, очень плохо, да?» Вадим ответил что-то в том смысле, что многие бы позавидовали ей. Но она повторила серьезно: «Нет, это очень плохо!»

— Нет, Тони, я теперь осторожная. Я ведь тогда едва освободилась: скандалит, не дает развода,— разве это мужчина?

— Ну, его можно понять.

— Спасибо, конечно. Но я так рада была, когда наконец вырвалась. Недавно встретила, так знаешь, что спросила? «Тебя еще не посадили?»

— Ну уж? За что же?

— Я тогда не рассказывала, а он знаешь чем занимался? Писал по заказу диссертации! На любую техническую тему. Он вообще-то ужасно умный.

— Серьезно? О всяких промыслах слышал, но о таком!

— Тебе забавно, а мне рядом с ним приходилось жить.

— Ну, а что такого? Умственное занятие как-никак. Не воровал же.

— А все равно мне было неприятно.

— Ах ты, Мери. Такая нравственная, что просто страшно.

Вадим иронизировал, но ему тоже было неприятно слушать о промысле бывшего Мериного мужа. С чего бы? Сам он промышлял не хуже. Наверное, все дело в месте, где они находились. Здесь Вадим ничего не хотел слышать ни о каких махинациях. И уж если слухи о разных махинациях достигают сюда, значит, махинаторов развелось слишком много.

— Ну ладно, значит, поищешь какого-нибудь сплошь одухотворенного.

Мери наклонилась, стала тереть пол. Снизу ответила:

— Такие обычно пьяницы.

Вадим оставил Мери трудиться и пошел дальше — в Зал. Залом считалась большая мансарда с наклонным окном во всю стену — типичная художественная мастер-

ская. Она и была раньше мастерской, при жизни отца Дона Карлоса, ну а Дону осталась в наследство как жилье за неимением другого. После отца комиссия признала мансарду аварийной или непригодной — что-то в этом роде, и Дон с трудом отбился от квартиры в Купчине. Для него потерять Замок почти то же самое, что потерять себя. В Зале красовались прибитые к стене шлем и два наплечника, а по всем углам торчали бюсты работы отца Дона, особенно нравился Вадиму романтический Бетховен. Под Бетховеном на низком диване лежал Сашка Клещев, по прозвищу Мушмула. У Мушмулы были склонности истинно восточного человека: из всех доступных человеку поз он предпочитал полулежащую. Обычно приходил, брал какую-нибудь книгу, ложился и мог за весь вечер не сказать ни слова. Вадим пожал руку Мушмуле и пошел дальше в маленькую комнатку без окон, называвшуюся Камерой. Камера вся была заставлена книгами, и пахло в ней в точности как в зале основного фонда Публички — пылью и мудростью. Открыто стояли Бурбаки (под этим псевдонимом скрываются несколько веселых французов; впрочем, веселость не помешала им составить подлинную энциклопедию современной математики), анненковский Пушкин, — хозяин безоговорочно доверял гостям. На полках перед книгами располагались меланхолические китайские божки, вывезенные отцом Дона из путешествия по Маньчжурии. Вместо окна в центре стены помещалась копия полотна Айвазовского. Из Камеры узкая лесенка вела в Башню. Надо было только не перепутать в полумраке и не пытаться войти в футляр больших часов, стоящих рядом с дверцей на лестницу, — новички так часто и делали.

Зато в Башне сразу ослеплял свет — окна с четырех сторон, окна, начинающиеся над самым полом, и от такого непривычного отсутствия глухих подоконных пространств исчезало ощущение преграды. Словно ничто не

отделяло внутренность Башни от окружающего неба. Все ближайшие дома были ниже, ничто не заслоняло горизонта, невидимого обычно в городе. От полноты чувств хотелось ударить разом во все висевшие тут станционные колокола.

Вадим бывал в довольно-таки роскошных квартирах и жить бы в них, конечно, не отказался. Но по-настоящему он завидовал только Дону Карлосу, у которого есть Замок.

Приходил сюда Вадим и с Лисой, но предпочитал бывать один. Потому что боялся, что Лиса станет здесь своей сама по себе, помимо него, примкнет к кругу почитательниц. Ведь так трудно не поддаться очарованию шпаг, доспехов, колоколов, так легко вообразить, что это все настоящее. Так легко не заметить, что хозяин Замка никого не любит, кроме себя...

Вадим считал себя другом Дона. Но что такое дружба? Во всяком случае — чувство довольно сложное, и Вадим так к Дону и относился — сложно. Что Вадиму нравилось в Доне — ну, кроме самого духа Замка, которого Дон был воплощением? Нравилась внутренняя уравновешенность Дона; Вадиму казалось, что и воздух здесь особенный: чистый, прохладный, не наполненный страстями. Дон всегда уравновешен, он со всеми на вы, он мяса не ест! А Вадим не мог без мяса, не мог не хотеть: красивую женщину, красивую вещь! И потому его так тянуло к Дону — по контрасту. Элементарный телевизор, — Вадим любил смотреть телевизор, особенно спорт, и уже подумывал о цветном, а здесь презирают спорт, и в Замке нет телевизора, и не может быть! — и это тоже Вадиму нравилось. Но поймет ли Лиса, что Дон хорош только в малых дозах — для контраста?

Из Башни Вадим вылез на крышу — причудливую крышу с трубами, башнями, переходами. Там, около смешного широкого шпиля, стоял Дон с гостями. Дон был по воскресному обыкновению в черном бархатном

испанском костюме — тоже подарок, списанный из театральной костюмерной.

Вадим пошел к компании. Небрежно, не пригибаясь, — особый шик! — он шел по коньку крыши. Дон протянул руку:

— Тони! Я вам очень рад!

И театральным жестом представил робеющим гостям:

— Познакомьтесь, это наш Тони, Великий Истребитель Языковых Барьеров. Серьезно, он делает математическую грамматику будущего всеобщего языка.

Москвичи с уважением пожали Вадиму руку, назвались Галями, Мишами, Сашами — неофиты. На Дона Карлоса они смотрели с восхищением.

У Дона такая манера — преувеличивать таланты и достижения друзей. Он искал пророков не в отдалении, а рядом. Вадима столь преувеличенные рекомендации смущали. Ну правда, у него были кое-какие идеи и наброски. Но кто знает, что из них получится? В математике вообще ничего никогда нельзя предсказать заранее. Придет идея — что-то получится. А может, и не придет. Ведь приходит она не в награду за усидчивость. Решение задачи всегда является неожиданно — «словно форточка в небе». Это малопонятное сравнение почему-то нравилось Вадиму, выражало самую суть его ощущения. Так вот, когда откроется снова форточка и откроется ли вообще, — Вадим не знал. А если и откроется — ну, решит несколько частных задач, думать же, что он действительно охватит всю проблему — математическую грамматику всеобщего языка! — нереально. И еще сколько людей бьется — известных Вадиму и неизвестных, — какие они получают результаты, и как они перекрестятся с его результатами? Но главное — откроется ли форточка в небе?

Дон Карлос, отрекомендовав Великого Истребителя, продолжал как ни в чем не бывало разворачивать перед гостями панораму:

— Видите колокольню? Это Владимирский собор. А дальше Троицкий, он же Измайловский. Перед Троицким когда-то стояла колонна из захваченных вражеских пушек, а потом ее почему-то ликвидировали. А вокруг Преображенского собора, здесь рядом, и сейчас ограда из пушечных стволов. Потому что это все военные соборы — и Троицкий, и Преображенский. Преображенский так раньше и назывался: всей русской гвардии собор.

Москвички восхищались наперебой:

— Вы всё так знаете! Вам бы экскурсии водить.

Пожалуй, последний комплимент немного огоршил Дона Карлоса, и он ответил сухо:

— Меня устраивает и наш факультет.

Панорама замкнулась, и предводительствуемые Доном Карлосом гости вернулись в Башню, а оттуда спустились вниз. Вадим отстал. Постоял в одиночестве на крыше. Давно ли они всей компанией вылезали сюда в костюмах, разыгрывали дуэли на шпагах — ожившие сцены из Дюма. Детство. Теперь уже со шпагами по крышам не носятся — безнадежно повзростели, да и костюмы почти не надевают, стесняются — все, кроме Дона. Одна случайно попавшая в Замок скучная дама так и сказала про Дона: «Это какой-то инфантилизм!» Редкий случай, когда обаяние Дона не подействовало. А что такое инфантилизм? По даме выходит, что испанский костюм — инфантилизм, а уставиться в телевизор — взрослость. Дон решается быть непохожим на всех — не потому ли Вадим и завидовал ему, и злился на него, что сам Вадим быть непохожим не решался? И мечты у Вадима такие же, как у всех, — та же машина...

Вадим вернулся в Башню, сел на лежащий прямо на полу матрац — летом Дон здесь спит. Каждый вечер к его услугам закат, каждое утро — восход. Кто еще видит все закаты и восходы? Поневоле позавидуешь.

И еще лучше поймешь, почему столько желающих стать в этом Замке королевой. Вадим снова с раздражением подумал, что среди них может оказаться и Лиса. Да-да, права та скучная дама: инфантилизм, потому что все время игра. А в жизни игра не должна быть главным — жалко, что глупые девочки этого не понимают.

Вадим спустился вниз. В Зале москвичка Галя мечтательно разглядывала шлем и наплечники.

— Подумайте! Настоящий рыцарь их носил. Счастливые тогда были женщины.

Вадим засмеялся несколько саркастически:

— Знаете, Галочка, этот Замок — чудесное место, но когда вздыхают о прошлых рыцарях — просто смешно. Особенно любят в молодежных газетах: «Где вы, рыцари?» И читательницы вслед за бойким журналистом возмущаются и недоумевают: были на свете рыцари, а потом куда-то запропастились. А на самом деле рыцари были темными грубиянами: читать-писать не умели, много жрали и пили, мылись редко, так что от них дурно пахло, а понравившуюся женщину с рычанием волокли в угол.

— Ну уж, Тони, вы говорите что-то несуразное! — Дон Карлос, кажется, обиделся всерьез.

— Я не против мифических рыцарей. Пусть возводятся в идеал. Только не нужно их путать с настоящими и вздыхать, что они исчезли. Они не исчезали — их никогда не было.

— А трубадуры?

— Вы же не считаете, что все николаевские офицеры были похожи на Лермонтова.

— Вот не думал, Тони, что вы такой нигилист.

— Я реалист. А вы, Дон, идеалист. Это прекрасно, но не всем дано.

— Вот уж неправда! — В дверях Зала появилась Княжна Мери. Оказывается, она все слышала. — Дон совсем не идеалист: ведь все идеалисты нудные.

После такого довода оставалось только дружно рассмеяться.

— Она не виновата, что так думает,— первый раз раскрыл рот Мушмула.— Сказывается опыт философских семинаров в вузе.

Для москвичей завели музыкальную шкатулку. Вадим незаметно ушел.

Он спускался спокойный и умиротворенный. Побыл в Замке — и словно отмылся. Как всегда. И в то же время парадоксальным образом в нем укреплялось довольство собой: хорошо иметь такие же вкусы и привычки, как у всех вокруг, — быть на ты с друзьями, есть мясо, смотреть хоккей и мечтать о машине — стоять на земле, одним словом. И хорошо, что есть Замок, где он свой человек и желанный гость и где можно иногда отдохнуть от самого себя.

7

Перед парадным стоял Сашкин учебный «Москвич». Значит, Сашка дома. Живя в одном подъезде, они познакомились в Кавголове — на «Семейке» — оба крутили там слалом по воскресеньям. Вадим уже давно хотел попросить Сашку дать ему несколько уроков вождения, и теперь, после знакомства с Ирой, откладывать дальше было нельзя.

Открыла Сашкина жена. Она симпатизировала Вадиму, потому что считала, что в наше время в мужчине важнее всего интеллект, а другие Сашкины друзья явно не принадлежали к интеллектуалам.

— Валяется мой благоверный. И хоть бы классиков читал, а то автомобильный журнал.

Сашка едва окончил семь классов, а Клава, жена, имела диплом техникума, что создавало определенную дисгармонию.

Сашка лежал на широченной тахте, покрытой ков-

ром. Вообще основу интерьера составляли ковры и хрусталь — какой контраст с Замком! — но это вовсе не свидетельствовало о мещанской сущности Сашки и Клавды. Они были хорошие ребята, просто им не у кого было обзавестись другим вкусом.

Сашка встретил Вадима новостью:

— На внутреннюю обивку «роллс-ройса» идет шесть шкур животных, выращенных на пастбищах, оборудованных электропастухом.

— При чем здесь электропастух?

— Не знаю. Должно быть, от этого шкуры стериленнее.

Вадим с ходу изложил свое дело. Он не любил изображать, что зашел просто так, а потом среди болтовни вворачивать: «Да, кстати, чуть не забыл...» Нет, он всегда начинал с дела, а болтал потом.

Сашка почесал нос.

— Понимаешь, старик, сейчас ведь экзамены принимают только после курсов. Лучше я тебя запишу к себе. Можешь особенно не ходить.

— Это само собой. Но мне нужно пока уметь для себя. В гараже то и дело что-то нужно: вывести машину, загнать, поставить на стоянку. Чувствуешь себя каким-то неполноценным.

Сашка снова почесал нос.

— Ладно, подумаем. Понимаешь, с девяти до шести я катаю курсантов. Потом идут частные ученики — три рубля в час. Без этого — сам понимаешь. Все расписано.

— Чего ж они идут, если без курсов не принимают?

— Умные сразу секут, что если они в пятьдесят лет первый раз держатся за баранку, то после курсов они могут сдать, но ездить не могут. Вот и берут после сдачи часов сорок — шестьдесят.

Вадим выжидательно молчал. Прошлой осенью перед началом сезона он достал Сашке новые «элань».

Тогда Вадим сделал это бескорыстно, благо ему самому это ничего не стоило, но теперь Сашка должен был вспомнить.

— Есть, правда, «окно» утром: заболел один левый,— продолжал Сашка.— Если с восьми до девяти тебя покатают, до курсантов?

— Давай с восьми.

— Ну, железно. Реакция у тебя есть, координация — должен поехать сразу. Давай прямо завтра, чтобы не откладывать.

Заглянула Клава:

— Вадик, чаю выпьешь с нами?

— Обязательно.

— Слушай, старушка,— закричал Сашка.— Вадька на уроки набивается. Не иначе, у него очередь подходит.

— Правда, Вадик?!

Вадим польщенно засмеялся.

— Нет пока. Я и не стою. Просто надо уметь.

— Темнишь! Знаю я тебя.

И на другое утро ровно в восемь Сашка сошел вниз — в делах он был очень точен. Вадим уже ждал.

— Ну давай, прямо сразу и двинем.

Сашка отпер левую переднюю дверцу, распахнул перед Вадимом.

— Прошу занять место!

Сейчас ноги лягут на педали, руки возьмут руль... Недаром этой ночью Вадиму снилась не Лиса и не кошмары душили, в которых за ним приходят и показывают ему ворованные и спрятанные шпалы,— нет, никаких таких снов Вадим не видел, он видел руки на руле, и несущуюся навстречу дорогу, и развилки, и каждый раз он выбирает путь, он выбирает, и руль послушно поворачивает колеса, покорный его выбору.

И вот он наяву сел на шоферское место. Ноги легли на педали, руки на руль. И было такое чувство, что руки его предназначены для руля, что они соскучились по

рулю. Впервые Вадим по-настоящему ощутил машину — ждущую, покорную только ему.

Сашка устроился рядом. По-домашнему поворочался в кресле, вдавливаясь поудобнее.

— Значит, так. Первое задание очень простое: спускаешь с ручного тормоза, выжимаешь сцепление, зажигание, пускаешь мотор, передачу на первую скорость, осторожно отпускаешь сцепление и одновременно понемногу прибавляешь газ. Как только поедешь, сразу уберешь газ, выжмешь сцепление, передачу на нейтралку, тормоз. Все очень просто, правда? Вот и повторим несколько раз.

Действительно, все крайне просто: всего лишь тронуться с места. Но это «просто» состоит из семи операций. Это не было для Вадима неожиданностью. Как человек научного склада, он сначала почитал теорию, узнал, какие педали для чего, куда и как двигать рычаг передачи, узнал и самую последовательность,— но теперь нужно было не сбиться, нужно было, чтобы сначала левая нога выжала сцепление, а уж потом правая рука переключила передачу, но никак не наоборот.

— Ну чего ты? Давай!

Ну, в конце концов миллионы водителей делают это не задумываясь, а Вадим наверняка способнее большинства из них. Он может крутить слалом, а это для девяти десятых шоферов недостижимо!

Вадим все сделал так, как требовалось, и порядок не перепутал: сцепление — зажигание — передача — газ! Счастливый миг: машина стронулась!.. И тут же заглохла.

— Что за черт?!

— Вот,— почти удовлетворенно сказал Сашка.— Так всегда бывает с новичками. Давай снова.

— А что случилось? В чем ошибка?

— Не хватило газу, нужно чуть быстрее добавлять. Второй раз Вадим надавил на акселератор резко.

«Москвич» взревел и прыгнул с места. В испуге Вадим сбросил газ вовсе — и снова заглох мотор. От стыда Вадим сразу вспотел.

— Ничего, ничего, все через это прошли. Нужно почувствовать меру. Не слишком, но и решительно. Помужски: ласково, но настойчиво!

Машина поехала с пятого раза. До сих пор все внимание Вадим тратил на то, чтобы плавно отпустить сцепление, соразмерно давить на газ — и он вовсе не смотрел вперед, словно перед ним было не широкое ветровое стекло, а забитое наглухо оконце. И когда наконец поехали, Вадим, словно внезапно разбуженный, посмотрел с испугом: что там перед капотом?! Не врезаться бы!

Они катились по внутреннему проезду микрорайона, и в этот предрабочий час проезд вовсе не был пуст. Метрах в двадцати впереди шла молодая женщина. Она очень торопилась, почти бежала, а машина едва ползла, так что дистанция между ними почти не сокращалась. Пока ничего, безопасно.

А он едет, сам едет!

В своем торжестве Вадим забыл о второй части задания.

— А кто будет тормозить?

Вадим резко перенес ногу с акселератора на тормоз. Машина клюнула носом.

— Так ты мне передок разнесешь. Я же говорил: сцепление, сбросить газ, мягко притормозить. Мягко!

Всегда они с Сашкой болтали по-приятельски, а тут у Сашки появились сварливые интонации. Вадима взяло зло. И это пошло на пользу.

К тому же у Вадима и правда была прирожденная координация. Через полчаса ему уже легко удавалось плавное троганье с места и мягкое торможение. Больше того: когда проезд делал коленца, — а их планировщики устроили довольно причудливо, — Вадим свободно пово-

рачивал и уже чувствовал, насколько надо повернуть руль в зависимости от угла поворота.

— Ладно, хватит тут болтаться,— объявил Сашка.— Поворачивай на улицу.

У Вадима уже появилось некоторое нахальство. Он не испугался катящих по улице машин, наоборот, ощутил прилив бодрости: начинается настоящее дело.

Промчалось такси, и впереди метров на сто улица очистилась.

— Прибавь газу! Сцепление — и переходи на вторую.

Ехали уже под тридцать километров.

— Запоздываешь, на третью давно пора!

Проехали через равнозначный перекресток.

— Ты все же не нахальничай, держись правой полосы.

Вадим шел уже на четвертой передаче, скорость под пятьдесят. Впереди автобус на остановке, Вадим взял влево, объехал — и прямо перед капотом неизвестно откуда возникла фигура!

Вадим не успел ничего подумать. Руки сами крутанули руль, нога хотела тормозить, но забыла перескочить с акселератора на тормоз, так что вместо торможения получилась прибавка газа. Машина резко ускорилась, фигура мелькнула мимо правого крыла, Вадим выскочил на встречную полосу, прямо в лоб неслась «Волга», снова резко крутанул, просвистел впритирку с «Волгой», так что срезало наружное зеркало, и тут машина резко встала, хотя Вадим так и не нажал на тормоз.

— Что?! Врезались?!

— Стоим. Ну как ты?

Вадим молчал. Даже не было страшно. Точно выпил тазик новокаина, и все застыло внутри.

— Считаю, в секунде от того света побывал. Если бы врезались той «Волге» в лоб.

Мотор продолжал работать на предельных оборотах.

— Да отпусти ты газ.

Вадим только сейчас заметил, что нога давит на газ, словно сведенная судорогой. Почему-то спросил не самое сейчас существенное:

— Почему встали? Я же так и не тормозил.

— У меня здесь дублируются сцепление и тормоз. Не зря машина учебная... Ну как, нет желания бежать и никогда в жизни не прикасаться к рулю?

Вадим помолчал.

— Нет.

— Слалом спас. И нас, и ту дуру. Реакция. Я тебе забыл сказать: стоящие автобусы объезжай осторожно — всегда может выскочить какой-то идиот... Слушай, ты газовал нарочно вместо тормоза?

— С испуга.

— А вышло правильно. Если б тормоз с резким поворотом, нас бы крутануло на сто восемьдесят, и эту дуру трахнуло бы багажником. Мы хоть и правы по существу, но возить некурсантов не очень разрешается, так что расхлебывали бы долго... Ну, раз не испугался, будешь ездить. А теперь давай я, хватит на сегодня приключений.

Внутренняя анестезия стала проходить, но первым оттаявшим чувством оказался не запоздалый страх, но гордость, безумная гордость! Как он успел отвернуть от этой дуры! Как он прошел впритирку с «Волгой»! И все интуитивно, на автоматизме! Ас!

8

Вадим позвонил Лисе и договорился пойти вечером в кино. Шла французская комедия под заманчивым названием «Никаких проблем».

Он приехал раньше: и чтобы взять билеты, и чтобы пройтись по Невскому. Когда живешь в новом районе, посещение Невского становится событием. Тем более

Вадиму нравилось появляться на Невском теперь, когда у него в кармане завелись деньги.

Вадим с детства привык к суровой экономии. И он умел себя сдерживать. Не покупал новые ботинки, пока не убеждался, что старые носить больше невозможно,— тогда шел в магазин уцененных товаров и выигрывал пятерку, а то и десятку. Мода его не интересовала. Умел покупать и продукты, чем занимался, когда маман болела,— и тратил всегда меньше, хотя маман — профессиональный бухгалтер.

Зато самая ерундовая покупка его радовала. Когда он покупал шариковый карандаш за тридцать пять копеек (более дорогих ручек не покупал, потому что они ничем не удобнее, а выкидывать деньги просто так — глупо), он дня два сознавал, что пишет новым карандашом, и ему было приятно. А уж новый шарф грел теплее не меньше месяца.

Тут нужно сразу отметить, что Вадим вовсе не был скупцом — только расчетливым. Скупец никогда бы не купил польские «металлы» за сто рублей (о «кестлях» три года назад Вадим не смел и мечтать), скупец вообще бы не занялся горными лыжами, а Вадим рассчитал, какое удовольствие он получит на приличных лыжах, и купил, а какой это стоило экономии, знают только он сам и господь бог.

Многие частники — едва ли не больше половины — не ездят зимой. А Вадим твердо решил, что, когда у него будет машина (когда — он, увы, еще не знал), он будет ездить круглый год. Не ездят потому, что боятся скользких дорог (Вадим презирал неумение и страх), и из скарденности: считается, что соль, которой посыпают дороги, разъедает крылья. Но ведь машина покупается для удобства, и главное удобство она доставляет зимой, когда не нужно мерзнуть на автобусной остановке, не нужно в метель и мороз идти несколько кварталов от остановки до дома, но можно в тепле и комфорте доез-

жать от двери до двери. Мерзнувший на морозе владелец укрытой в гараже машины представлялся Вадиму зрелищем отвратительным. Вадим был расчетлив, но не скуп.

Теперь, когда Вадим мог чаще доставлять себе удовольствие обновками, острота нового обладания осталась прежней. Да и расчетливость осталась: ненужных покупок он не делал и теперь.

Вадим свернул с Невского на Литейный. Там подряд три книжных магазина, за ними — спортивный, за спортивным — инструментальный. Книги Вадим покупал редко, только самые необходимые, — и из экономии, и потому, что некуда было ставить, — но смотреть любил. На этот раз в антикварном отделе попало несколько номеров «Русской старины». Историей Вадим очень интересовался, и особенно историей живой: личностями, анекдотами.

Он не мог бы обосновать свое мнение строго логически, но история всегда казалась ему родственницей математики, — присущим ей внутренним изяществом, что ли? (Недаром у истории тоже своя муза — Клио.) А в чем-то они для Вадима дополняют друг друга — воплощенная абстракция и кровоточащая реальность. Вадим не очень любил заниматься самокопанием, анализировать свои вкусы и побуждения (называл такое занятие презрительно психоархеологией) — чувствовал связь истории с математикой, и ладно.

(Тут некстати вспомнилась собственная история — со шпалами. История, поставившая под угрозу аспирантуру, а следовательно, и его математику... Чур, сгинь! — обойдется как-нибудь, не раскопают. А если права Лиса, если страшны не разоблачение, не товарищеский суд? Если незримо происходит внутреннее разложение — таланта, интересов? Если суэта многочисленных халтур убивает что-то в душе? Если не сможет он потом вернуться к чистым математическим радостям — хоть

бы вдоволь стало и времени и денег? Нет, вздор! Нечего слушать Лису. Подобные страхи — это и есть психоархеология в худшем виде. Чур, сгинь!)

Вадим с преувеличенным интересом стал вчитываться в пожелтевшие страницы с ятями, твердыми знаками, i. Номер сразу раскрылся на записках Манштейна об обстоятельствах падения Бирона, а Вадим недавно прочитал «Слово и дело», и хотелось сравнить роман с первоисточником. Зачитавшись обстоятельствами назначения принца Антона Ульриха генералиссимусом, Вадим рассеянно взглянул на цену — пять рублей, — и она не показалась ему чрезмерной, тем более — тут же и очерк о Потемкине, и переписка Аракчеева, и два анекдотических указа Павла. Посмотрев оглавление, решил Вадим взять и второй номер — тоже за пять рублей. Продавался Катулл в подлиннике, но за него просили восемь рублей, а Вадим прелести латинских стихов не понимал. Поставить на полку, чтобы все проходящие видели, что Вадим свободно читает по-латыни и услаждается Катуллом? Но это же чистое тщеславие, а выбрасывать на утоление тщеславия восемь рублей — нет, это слишком дорого.

В спортивном магазине Вадим увидел кий. Бильярд был еще одной его невинной страстью, хотя, конечно, не такой бурной, как слалом. Вадим никогда не стремился взвинчивать ставки, денежные выигрыши его не прельщали — вероятно, потому, что при системе фор можно проиграть и слабому игроку, а мысль проигрывать деньги была Вадиму совершенно невыносима. Он играл ради удовольствия от игры, а это удовольствие можно почувствовать, когда после точнейшего удара трудный шар с треском входит в лузу и исчезает в ней, словно проглоченный! Он играл достаточно прилично, чтобы оставаться при своих и даже не платить за время, потому что его противники проигрывали все же чаще. Играл он в Доме ученых; тамошние кии были в полном порядке, но Ва-

дим любил играть утяжеленным кием, а такой там был только один и принадлежал завсегдаю, старику Григорию Васильевичу, деду Грише, как его все почтительно называли. В отсутствие деда Гриши Вадиму разрешалось им пользоваться, но дед Гриша (кстати, отнюдь не профессор в отставке, как можно было бы подумать, а бывший циркач, канатоходец) отсутствовал редко. А если купить в магазине кий, навинтить на толстый конец несколько свинцовых кружков, то получится как раз то, что нужно. Стоил кий четыре восемьдесят, удовольствие ожидалось довольно явное, так что Вадим не затруднился по поводу этой покупки.

С тонкими томиками «Русской старины» под мышкой, с кием в руке Вадим ждал Лису около «Титана». Она появилась за десять минут до начала — случай довольно редкий, обычно она почти опаздывала или просто опаздывала. Вадим заметил ее издали, когда еще невозможно было узнать в лицо, заметил по силуэту, по общему облику — он бы сразу узнал ее, наверное, в абсолютном тумане, лишь бы мелькнул на миг силуэт.

— Привет. Чего это у тебя за палка в руке?

— Не видишь, что ли? Кий.

— Ах, извини, я тебя оскорбила, назвав тонкий инструмент палкой.

Вадим никогда не обижался на такие выпады — это стиль Лисы, вот и все.

— Наоборот, ты выразилась очень профессионально: уважающие себя бильярдисты говорят только «палка» и никак иначе. В этом есть некоторый шик.

— Ну вот, значит, я склонна к пустому шику. Опять плохо!.. А ты, по-моему, мне не говорил, что играешь в бильярд.

— К слову не приходилось. А может, стеснялся: что-то в этом немного смешное. Старомодное. Там у нас в бильярдной редко кто моложе сорока.

— Ага, значит, тебе свойствен ложный стыд. Вот не знала! Хорошенькие меня ждут открытия после свадьбы, я чувствую. А почему сегодня перестал стыдиться?

— Значит, стыдился, но не очень. Желание купить перевесило: вдруг в следующий раз разберут?

— Рассчитал. Одно слово: математик! Идем, а то в кои веки рано пришла, обидно опаздывать. А что за книги?

Они уселись на свои места, но свет еще не погас. Публика входила, свет еще долго не гас.

— Смотри.

— Надо же! Ну, об этом увлечении я знала. Ну, расскажи мне какую-нибудь старину.

Вадим хмыкнул.

— Много всякой старины, сразу и не выберешь, о чем. Ну, например, в этом зале когда-то был ресторан Палкина. Посреди зала — фонтан и бассейн с рыбой. А Палкин выиграл его у Соловьева, чей гастроним на углу.

— В бильярд?

— Не язви. В карты.

Свет погас. Лиса придвинулась к Вадиму, он обнял ее за плечи. Вадиму всегда казалось, что сидеть иначе просто невозможно, что ее плечи как раз созданы ему по руке.

Фильм Вадиму понравился. Вначале автомобильные трюки, потом симпатичные женщины. Понравился и сам девиз: никаких проблем! Потому что у него самого так не получалось, у него возникали проблемы. А как бы заманчиво жить легко: радоваться минуте — и никаких проблем!

— Коммерческая лента, — сказала Лиса.

— Ну и что? Посмеялись — и хорошо, — миролюбиво ответил Вадим. — Выпьем кофе где-нибудь здесь, на Невском.

— Да ну, тут всегда очереди...

— Подумаешь, постоим немного.

— Да ну! И вообще сюда ходят не потому, что любят кофе, а потому, что модно. Хороший тон!

— Почему? Я действительно люблю.

— Ты, может, и любишь. А многие просто так. Не выношу таких!

С Лисой бывает: злится неизвестно на что, придирается к людям. И главное, без всякой причины.

— Ну давай прогуляемся.

На это Лиса согласилась.

Вадим осторожно молчал. Но Лиса вскоре заговорила сама:

— Вот ты эдак снисходительно: коммерческая лента. А коммерческих лент вообще не должно быть! За чем они?

Все-таки долго и Вадим не мог отмалчиваться.

— Это не я говорил, это ты сказала, что коммерческая. Я сказал, что посмеялись. И ты тоже смеялась.

— Ну и что? Утробный смех — не оправдание. А ты ужасно легко умеешь оправдывать!

— Почему утробный? Жизнерадостный смех.

— Вот-вот. А излишняя жизнерадостность всегда подозрительна, она скорее свидетельствует о хорошем пищеварении. Знаешь: «Тот, кто постоянно ясен, тот...» Ну и так далее.

— «...Тот, по-моему, просто глуп». То есть по-твоему. Слушай, если непременно нужно поссориться, давай поссоримся по какому-нибудь личному поводу: например, я сделал что-нибудь ужасное. А то глупо ссориться на почве абстрактных рассуждений по поводу фильма. Просто смешно.

— Да нет, ты ничего не сделал. Просто в тебе откуда-то барская снисходительность. И неизвестно откуда. Разве что от бильярда. Действительно, странное занятие. Неудивительно, что ты скромно молчал. Сыграть

партию на бильярде, а потом поехать к цыганам! Гвардейский поручик объявился.

— Послушай, тебе не кажется, что это мое дело, как мне развлекаться?

— Ну не совсем, если я собираюсь за тебя замуж.

— Но мы уговаривались уважать взаимную свободу.

— Я ее не ограничиваю. Я просто высказываю свое мнение.

— Зачем? А если я начну высказывать мнение по поводу некоторых твоих подруг?

— Та-ак. Очень интересно.

Вадим сделал паузу.

— Ну послушай, это же смешно. Вспомни, из-за чего мы начали пререкаться.

— Неважно, из-за чего начали, важно — чем кончили! Так что ты имеешь против моих подруг?

И ведь это на ходу, на Невском. А навстречу идут всё больше парами, девочки смеются, и видно, что нет им дела до роли коммерции в искусстве, не осудят они своих кавалеров за жизнерадостность, снисходительность, водку, бильярд. Был бы симпатичный и молодой. А если к тому же может сводить в ресторан — чего еще? Как же хорошо, когда все просто — и никаких проблем!

— Зайдем сюда, в «Ленинград». Тут бывают взбитые сливки.

— Ты меня сливками не умамливай! Ты отвечай!

— Ну что с тобой, Лиса? Почему ты непременно хочешь поссориться?

— Просто я хочу все выяснить до конца.

— Так нечего выяснять.

— Ты просто боишься говорить прямо. Трусишь!

— Господи, бред какой-то! Из-за чего мы ругаемся? Ничего же не случилось!

Вот! Еще ни разу Вадим с Лисой не поссорились по какой-нибудь вульгарной причине — из ревности, из-за

денег, из-за того, что не смогли договориться, куда ехать и чем заниматься, — ну, из-за чего обычно ссорятся нормальные люди. Нет, у них ссоры выходили из-за причин абстрактно-возвышенных. Сегодня из-за коммерческого кино, другой раз (невозможно рассказать, не поверят!) — из-за Наполеона! Вадим говорил, что Наполеон все же великий человек, а Лиса твердила, что не видит никакого величия — только бессмысленные войны и сотни тысяч убитых. «А Гражданский кодекс?» — «А война с Испанией?» Ну поспорили бы академично — так нет же, с яростью, с сердцем!

До знакомства с Лисой Вадим считал себя миролюбивым. А с нею почему-то спорил яростно. Не мог уступить ей! И она не могла! Никого не любил так, как Лису, — и никто не приводил его в такую ярость. Иногда невольно задумывался: как же они будут, когда поженятся? Или существует ехидный закон природы, по которому за минуты высшего счастья, высшего понимания («Как ты хочешь. Все — как ты хочешь» — минута, ради которой и стоит жить) нужно платить бессмысленными ссорами, высшим же непониманием?

А с Доном Карлосом Лиса стала бы бессмысленно спорить? Нет, слушала бы раскрыв рот, как тот рассказывает про подвиги Ланселота, или про разницу между скрипками Страдивари и Гварнери, или про ночь перед дуэлью, проведенную Галуа. (Все девицы слушают его как под гипнозом; наверное, Лева Дон Карлос представляется им поочередно Ланселотом, Гварнери и Галуа.) Дона Карлоса бы слушала, а с Вадимом спорит по любому пустяку — словно насмерть стоит. Обидно!
— Бред какой-то! О чем мы ругаемся?

— Уже и бред!

Лиса держала Вадима под руку — просто по привычке, сейчас в этом жесте не было никакой нежности, ни даже внимания. Вадим аккуратно высвободился.

— Знаешь, лучше остановиться. Так мы слишком

много скажем, потом будем жалеть. Давай нежно пожелаем друг другу спокойной ночи и на сегодня расстанемся. А завтра не сможем и вспомнить хотя бы тему нашей бурной дискуссии.

Лиса скривилась насмешливо.

— Ты, как всегда, благоразумен. Не знаю, что будет завтра, но сейчас давай расстанемся, если хочешь. Ты же знаешь, я никогда тебя не держу.

Она опять вывернула смысл его слов, но Вадим не стал придирааться и выяснять истину — бесполезно. Они пожали друг другу руки — совершенно по-дружески. Лиса перебежала на другую сторону — к метро, а Вадим зашагал к Московскому вокзалу.

Он шагал, и ему все острее становилось жалко Лису. Из-за чего она завелась? Ну не из-за фильма же. Тут был какой-то другой, подспудный смысл, но Вадим его не улавливал. Сейчас ей, наверное, очень грустно; конечно, она не ожидала, что Вадим закончит объяснение таким образом. Но и его нельзя оскорблять слишком упорно, пусть это послужит ей уроком!

Придя домой, он хотел было позвонить Лисе, сказать несколько ласковых слов, но потом подумал, что она воспользуется случаем и опять наговорит оскорблений, — и не позвонил.

Уже когда Вадим ложился спать, ему показалось — он догадывается о причине ее вспышки: скорее всего, тут дело в их странной игре во взаимную свободу. Любящим трудно долго вынести такую свободу. Он возгордился от своей пронизательности и решил, что им нужно будет начать вести себя как принято: быть почти все время вместе, рассказывать друг другу каждый шаг, не стыдиться и ревновать, если покажется, что есть повод.

Бедная Лиса лежит сейчас и дуется.

Вадим заснул, улыбаясь, мечтая, как нежно они будут мириться.

На другой день Вадим один раз позвонил ей, но не

застал дома. Теперь уж была ее очередь звонить, тем более что ссору начала все-таки она. Но она не позволила.

9

Придя на следующее дежурство, Вадим услышал новость: накануне вечером сгорел сортир. Сортир стоял в углу, на стыке двух линий, и, вообще говоря, крупно повезло, что все обошлось. Гаражи хоть и железные, но почти в каждом хранится канистра-другая бензина, и если бы от пламени железные стенки перегрелись, то бензин мог бы начать взрываться — пошла бы настоящая цепная реакция.

Но подробности были смешные: горела не деревянная будка, что было бы естественно, а содержимое выгребной ямы, а это уж ни с чем не сообразно. Разве что предположить, что автомобилисты и малую нужду справляют бензином.

Радовало и то, что произошло это в смену Петровича. Конечно, он не поджигал, и даже проявили они с Манько приличествующее случаю мужество: пожарными крюками опрокинули деревянную будку навзничь, а огнедышащее жерло засыпали песком. Но все равно сам факт, что пожар случился в бригадирскую смену, накладывал неизбежную тень на его репутацию.

На доске объявлений, висевшей рядом с крыльцом, появилось новое объявление:

«Продается «Москвич-401» в хорошем состоянии, мотор М-407, запасной задний мост. Смотреть в гараже № 372».

— Вот и покупай,— сказал дядя Саша.

— Да ну его,— с неискренним пренебрежением ответил Вадим.

Во-первых, у него не было денег. За хорошее состояние и мотор от четырехста седьмого запросят тысячи три,

а то и три с половиной. Во-вторых, покупать старую машину — даже учитывая состояние и запасной мост — все же неразумно. Обязательно станет. И будешь не столько ездить, сколько чинить. Это может позволить себе автослесарь, у которого на работе полно запчастей. Да и он, кстати, к первому «Москвичу» найдет не сразу!

И все-таки хотелось! Потому что вот он — рядом. Три тысячи — все-таки реальная сумма, это не новый «Москвич» за шесть двести. При теперешних заработках Вадима можно сколотить за год: отложить поездку на Чегет, «кестли», «каберы». Или лучше назанимать где только можно и купить прямо сейчас, завтра выехать на своей машине — пусть маленькой, пусть слабой, пусть устарелого фасона. На своей! А сотню на шоссе и эта слабая дает.

Но все-таки Вадим понимал, что это глупо вдвойне: и брать старую машину, и влезать в непомерные долги, когда с сентября ему угрожает преподавание и неизбежное из-за этого прощание с гаражом. Самый грубый первый расчет показывал точно: глупо! И Вадим даже не пошел в триста семьдесят второй гараж.

Снова стало немного беспокоить воспоминание о мужике, продавшем шпалы. Вдруг все-таки приду? Впутал в историю, негодяй! Вадим с тревогой поглядывал, не свернет ли с проспекта казенного вида машина.

Но вместо этого свернул «жигуль», новенький, тройка — и в каком же жалком виде! Обе правые дверцы вмяты, и переднее крыло тоже!

— Рублей на двести накрылся парень, — удовлетворенно сказал дядя Саша.

Вадим смотрел со злостью: ездить не может, а машину имеет. Раз вмятина справа, можно спорить на что угодно, что сам виноват. Попал бы этот жалкий тип в такую ситуацию, как Вадим позавчера: сначала дура из-за автобуса, а потом «Волга» в лоб, — сейчас было бы несколько трупов. А Вадим счастливо вывернулся,

с его реакцией ему гонщиком быть — но машины у него нет. Где справедливость?

Дядя Саша махнул незадачливому жигулисту рукой.

— Как это ты умудрился?

В помятом «жигуле» сидел грустный толстый дядька.

— Таксисты несутся, черт бы их побрал. А перекресток закрыт фургоном.

— В общем, еще и таксист с тебя сдерет,— подытожил дядя Саша.

— Сдерет,— уныло подтвердил толстяк.

— Повезло тебе, что не в заднее крыло влепил,— сказал Вадим.— Переднее заменишь — и вся игра, а заднее несъемное, пришлось бы резать да варить, на всю жизнь в машине изъян.

— Повезло,— совсем уныло подтвердил толстяк и отъехал.

— Заплатит,— сказал дядя Саша.— Директор продбазы. А сколько раз я ему намекал: принеси ты какого-нибудь дефицита, рыбки. Говорит: нельзя, не могу. Такой жмот, понял?

Вадим сходил проведать и накормить Гайду — операция, ставшая теперь довольно сложной, потому что Гайда все еще рычала и бросалась, защищая щенков, а когда вернулся, в будке с дядей Сашей сидел невзрачный щупленький человечек в черном пиджаке не по жаркой погоде.

— Вот и мой напарник,— с излишней торжественностью провозгласил дядя Саша.

Очень не понравилась Вадиму эта торжественность.

— Здравствуйте,— сказал невзрачный.— Моя фамилия Семин, я инспектор угрозыска. По ГАИ.

Все-таки Вадим был внутренне готов к такому визитеру, поэтому, кажется, не выдал испуга. Но в душе стало пусто и безнадежно: все-таки впутался!

Вадим пожал руку Семину, сел, спросил с интересом (ведь это так естественно — заинтересоваться появлением человека из угрозыска!):

— Что-нибудь у нас ищете?

— Да вот ишу.

И помолчал. Вадим тоже молчал, изображая на лице заинтересованное ожидание.

— Вы, наверное, учитесь?— неожиданно спросил Се-
мин.

— Учусь.

Вадим пожал плечами: мол, какое это имеет отно-
шение?

— В институте?

— Уже в аспирантуре.— И, не дожидаясь нового во-
проса, уточнил:— На матмехе.

И снова пожал плечами: мол, скрывать мне нечего,
но какое все-таки это имеет отношение?!

— Здесь, значит, прирабатываете?

— Прирабатываю. На стипендию, знаете ли, не раз-
живешься, даже и аспирантскую.

Вадим хотел говорить с Семиным просто и друже-
любно, но невольно сбивался на иронический тон. Да
и трудно не сбиться, когда такие вопросы.

— А если еще сверх здешнего заработка? Гараж
собрать?

Этого Вадим не собирался отрицать. Глупо отрицать
очевидные вещи.

— Бывает, если повезет. Желающих собирать уж
больно много.

— А где тогда достаете все, что нужно? Шпалы,
песок?

До чего прозрачны все семинские хитрости! Вадим
с трудом заставил себя не улыбнуться. Но отвечал охот-
но, не удивляясь вопросам: Семин имеет право спраши-
вать об этом, недаром рядом на доске висит объявление
о запрещении использовать дефицитные материалы.

— Когда как. Бывает, заказчик сам привезет, если думает, что так выйдет дешевле. Бывает, приходится доставать. На Шуваловской мызе иногда есть шпалы. Сейчас много на судоремонтном: там одну ветку сняли. Трамвайный путь разбирали, трамвайщики свои шпалы возили, только у них неудобные: сантиметров на двадцать короче. По-разному.

— Значит, новые шпалы не покупаете?

— Новых давно не видел. Да и не хочется с ними связываться: рассказывали, еще до меня был тут с ними скандал.

— Значит, все чисто? Ну а песок?

С песком сложнее: шпалы бывают старые, к которым не придерешься, а песок всегда заведомо ворованный: частникам официально песок вообще не продается, и все равно весь кооператив, и не один, стоит на песке. Вопреки пословице, это хороший фундамент. Но не объяснять же Семину: тот все сам прекрасно знает, но раз спрашивает, значит, хочет Вадима этим песком припугнуть.

— Песок сейчас беру из кучи за гаражом. Там теплотрассу тянули, и остался после строителей.

Вадим подумал, что пока он отвечает на вопросы Семина так же ловко, как архиепископ Кентерберийский из детской песенки отвечал королю.

— Ну ладно,— Семин махнул рукой,— это все дело ОБХСС. А я из угрозыска. Скажите, вы здесь дежурили одиннадцатого ночью?

— Да. В смысле, что в ночь с одиннадцатого на двенадцатое.

— Вот-вот. Не приезжал ли сюда ночью самосвал «МАЗ»?

Вадим сделал вид, что припоминает.

— Нет, не помню. Ты не помнишь, дядя Саша?

А вдруг дядя Саша уже все рассказал, пока Вадима не было?! Вдруг Семин играл, как кошка с мышкой?!

— Нет, не было. (Молодец дядя Саша!) Автобус приезжал, а «МАЗа» не было.

— Точно помните?

— Раз оба говорим, значит, точно.— Вадим снова взял разговор в свои руки.— Потому что если спим, то по очереди. Если бы днем, то, конечно, могли бы и забыть, днем очень много ездят. А ночью — помним.

Краем глаза Вадим заметил, что к гаражу свернул «ЗИЛ» с досками. Вот не вовремя! Сейчас заглянет шоферюга как ни в чем не бывало: «Ребята, вагонка нужна?» Конечно, это не улика, но все же нехорошо. Ходил бы Семин в форме! А то надел гражданский пиджачок...

— Пойти посмотреть,— сказал дядя Саша и вышел навстречу «ЗИЛу».

Поговорили они с шофером, «ЗИЛ» въехал в гараж, а дядя Саша вернулся.

— Куда это он?— спросил Семин.

— Наш. Будет стены обшивать.

— Теперь видите, что я не из ОБХСС! Иначе бы сразу вышел и взял этого деятеля за одно место. Тот «МАЗ» привозил шпалы, поэтому вы и молчите! Меня шпалы не интересуют. Он человека сбил, поймите!

— Никто у нас не был сбит! Да такого и не скроешь.

— Не здесь, на проспекте Народовольцев. Сбил, когда ехал от вас.

— Не от нас же!

— Ну послушайте! Вы же преступника покрываете! У человека сотрясение третьей степени, перелом бедра!

— Легко отделался, если из-под «МАЗа»,— сказал дядя Саша.

— Подумайте, как же жить, если преступников покрывать?! В его автобазе утверждают, что он не выезжал, вы утверждаете, что он у вас не был. Так он и ускользнет. Еще кого-нибудь собьет — вас, родных ваших! Ему же можно, он безнаказанный!

— Но если все утверждают, может, и правда не он?

— Он! Видели, как он ночью с сортировки со шпалами выезжал.

— Ну, значит, и свидетель у вас есть.

— Не годится он в свидетели: видит этот сторож не очень здорово, тем более темно. Адвокат докажет, что сторож ошибается.

— А если правда ошибается?

— Не ошибается!

— Значит, ехал в другое место со шпалами.

— Шпалы берут в гаражах. А сбил он около вашего. Ну поймите, не будет вам ничего за шпалы, я не из ОБХСС!

Хорошо, что тот негодяй заранее предупредил. Вадим успел все обдумать: даже если попадешь в суд свидетелем, все равно придется сказать, что покупал шпалы. А вдруг судья вздумает отправить в университет частное определение? «Преступление стало возможным потому, что для него была создана благоприятная атмосфера, выразившаяся... Просим принять меры общественного воздействия...» И станет на матмехе одним аспирантом меньше. Нет, впутываться нельзя ни под каким видом! А если бы узнал про сбитого человека только сейчас от Семина, мог бы сгоряча и сознаться: как же, ведь настоящий преступник, нельзя покрывать! (А преступник ли? Небось этот переломанный сам спьяну и сунулся.) Недаром Талейран учил: «Бойтесь первого движения души, обычно оно самое благородное».

— Знаете,— сказал Вадим,— мы уже после прошлого дежурства собрали гараж. Вам и хозяин подтвердит. И стоит он на старых шпалах, пойдемте покажу. Так что новых у меня просто нет.

Все-таки здорово он тогда придумал!

— Правильно, на старых!— оживился дядя Саша.— И, выходит, зря вы нам не верите.

— Значит, не скажете ничего?

— Нечего нам говорить! Что же мы можем сказать, если нечего?

— Я-то обрадовался, когда с вами познакомился: один старый шофер, понимает, что значит человека сбить, другой аспирант, культурный человек,— думал, поможете.

— А я читал, что после удара всегда остаются следы. Микроанализ, то да се,— сказал Вадим.

— Сменил он у себя чего-нибудь, и никаких следов. Если бы его сразу ухватить, а мы пока состыковались... Сбитый по ГАИ шел, шпалы по ОБХСС... Значит, не было у вас ночью «МАЗа»?

— Не было,— глядя прямо в глаза Семину, сказал Вадим.— Мы бы рады помочь, но, честное слово...

— Ну, что ж, как хотите. Что у меня «глухарь» повиснет, что начальство за это станет шею мылить, я как-нибудь переживу. А вы при своей совести останетесь. Есть такое понятие: совесть.

Семин встал и вышел, не подавая руки.

Вадим и дядя Саша молчали, провожая его глазами. Заговорили, только когда Семин дошел до проспекта, словно боялись, что он их услышит.

— Это ты все путаешься со всякими материалами, понял? Чего лучше: собирать тихонько. Чистое дело,— проворчал дядя Саша.

— Без шпал не собираешь. А раз собираем вместе, значит, я не для себя стараюсь, а для обоих.

— Не знаю. Я получаю свой полтинник за работу. А почему ты сверх этого шпалы продаешь, я не интересуюсь. И больше не хочу в такие дела впутываться.

— И я не хочу. Теперь только старые шпалы.

— Ладно,— дядя Саша еще ниже, чем обычно, натянул свою кепку,— пойду пройдуся.

И ушел, необычно горбясь и шаркая ногами.

Пока Вадим говорил с Семиным, он был весь в напряжении: все время думал о том, как лучше ответить, не выдать себя. Оставшись один, сбросив напряжение поединка, он осознал самую суть дела: куда же он попал?! Ничего не мешало ему осознать это раньше, как только пришел мужик и рассказал о происшествии (не хотелось и в мыслях употреблять слово преступление). Но Вадим отдалял от себя осознание, ему казалось, что дело замнется и тем самым делается как бы не бывшим. Да и сейчас он не осознавал всего окончательно. Потому что целиком со всей подноготной проявляет дело лишь полная огласка. Факт, избежавший огласки,— еще не до конца свершившийся факт. Вот если бы узнали в университете — про спекуляции, про лже-свидетельство,— тогда они стали бы фактами окончательно и бесповоротно, и Вадим сам поразился бы вместе со всеми: как, неужели это он, подающий надежды, он, эрудит и латинист?! И с Замком было бы покончено: перестал бы существовать Тони Зайлер — испарился бы. А поминали бы — кто в литературе известный жулик?— ильфовского голубого Альхена или, в виде особой чести, нового Чичикова... (Жестокая штука — прозвище; имя не говорит ни о чем, Вадим может быть и подлецом, и героем,— прозвище заслуживают жизнью: припечатывают Альхеном — и ходи, как с клеймом на лбу.) Но это — если узнают. А пока — пока не знает никто, кроме дяди Саши. Случившееся еще словно бы не до конца случилось: еще можно замять, стереть из биографии, как стирают резинкой карандашную надпись! А что, если Семин окажется настырным, станет упорно копать, найдет свидетелей, которые видели, как Вадим прятал новые шпалы? Тогда катастрофа. Но вряд ли, потому что этот стукнутый, слава богу, жив. Нога срстется — и дело пойдет пылиться в архив.

Вадим надеялся, что, по обыкновению, появится Лиса. После нелепой ссоры особенно хотелось ее видеть. Но Лиса не пришла. Лиса ничего не знала про шпалы, не могла знать. И все же в какой-то миг Вадиму показалось, что она знает, знает и потому не пришла. И никогда уже не придет. Злая и несговорчивая, как совесть,— вот она какая, Лиса. А нельзя, чтобы живой человек был подобен психологической абстракции — совести. Живой человек. «Все мы живые люди» — и этим все сказано... Росла досада на Лису — и вместе с тем сильнее хотелось ее видеть. Опять дурацкая психоархеология. Быть проще!

Около восьми вечера дядя Саша с Жорой сидели в доме, а Вадим слонялся у ворот: все еще высматривал. Но высмотрел только председателя и успел вовремя предупредить дядю Сашу. Бутылка была спрятана в сапог — казенные сапоги стояли в углу на случай распутицы,— дядя Саша пожевал луку и стал готов встретиться с начальством.

— Ходит каждый день, делать ему нечего,— бормотал он, разжевывая лук.— Вон в шестнадцатом кооперативе никто председателя в лицо не знает. А сторожам телевизор купили, понял?

Но председатель, против обыкновения, был настроен добродушно. Пришел только за машиной: с Севера приехал старый друг, едут с ним под Выборг на рыбалку.

Когда председатель уехал, снова была извлечена из сапога бутылка. Дядя Саша налил и Вадиму.

— Выпьешь? А зря отказываешься. Сегодня бы можно. За избавление.

Вадим прямо подскочил от злости. Только не хватало, чтобы дядя Саша по пьянке все выложил Жоре! Конечно, Жора свой, он не продаст, но может по пьянке

же болтнуть еще кому-нибудь! Дойдет в конце концов до Химича.

— Кончай, дядя Саша, пить вредно. Жора, там не твоя жена идет по дороге?

Во всем свете Жора боялся только жены. Может быть, потому и «Победу» стал собирать, чтобы был предлог отсиживаться в гараже.

Жора вскочил, выбежал на улицу.

— Не треплись,— сказал Вадим.— Неужели нельзя удержаться?!

— Жора — свой парень.

Выпив, дядя Саша становился упрямым.

— Все равно кончай!

Вернулся Жора.

— Ну ты даешь! Напугал. Так можно зайкой сделать. Толстая идет, но не моя. Моя еще толще! Давай, дядя Саша, наливай.

Но Вадим твердо решил выгнать Жору.

— Вот что, ребята, давайте быстро расходитесь. Вчера был пожар, так сегодня должна быть проверка. Мне сказали.— Убедительно научился врать, самому приятно.

— Какая ж проверка! Председатель уехал.

— На это есть и члены правления. Особенно один тут. Сам метит в председатели.

Говоря это, Вадим мягко, но настойчиво вытолкал Жору. А с другими дядя Саша не станет откровенничать и в пьяном виде: Жора у него тут самый близкий друг.

К гаражу свернул ярко-красный «жигуль». Тройка. Ира едет? Точно, она. Затормозила сама, без его знака.

— Здравствуйте! Тормоза — мертвая хватка.

— Естественно. Что ж им остается делать!

— Вы от скромности не умрете. Скажите, а будет очень нахально, если я вас еще об одном попрошу?

— Что вы, наоборот, я буду рад.

— Правда? Только ужасно интересно, что такого радостного можно попросить по технической части?

— Просто я буду рад помочь вам. Да и вообще люблю возиться с машинами.

Единственная поездка с Сашкой преисполнила Вадима такой уверенности в себе, что он, кажется, вообразил, что может исправить или отрегулировать все что угодно.

— Ну раз так, я решусь и попрошу: мне сказали, что нужно затянуть какие-то гайки на цилиндрах. Говорят, нужно затягивать после первых пятисот километров, а я уже проехала всю тысячу.

Что за гайки? Вадим не представлял. Но не терялся.

— Они в разных машинах по-разному расположены, а в «Жигулях» я этого не делал. У вас есть книга, которая дается с машиной?

— Есть. Только я с собой не вожу: все равно ничего не понимаю.

— Так дом же рядом. Везите книгу, по ней разберемся.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

— А вам правда не трудно?

— Конечно, правда!

Ира развернулась и поехала за книгой, а Вадим вбежал в дом.

— Дядя Саша, посиди за меня, я тут с одной машиной повоюю. И скажи скорей, что это за гайки на цилиндрах, которые затягиваются?

— Шпильки крепления головки блока цилиндров, — как по-заученному ответил дядя Саша. — Там все дело, чтобы затягивать в последовательности по схеме. Этим ключом — динамо... динамоманометрическим. Сначала слегка, а потом туго. Понял? А где машина стоит?

— Она не стоит, она сейчас приедет.

— Тогда ничего не выйдет: затягивается на холодном двигателе, понял?

Попал пальцем в небо!

— Ну все равно посиди. Разберусь.

Вадим почти вытащил дядю Сашу. Усадил в будку. Подкатила Ира.

— А ты не теряешься! Опять собрался прокачивать?— пьяно засмеялся дядя Саша.— Еще за прошлый раз пиво не отдал. Теперь меньше маленькой не отделаешься. Вот придет сейчас из леса твоя Лиса!

— Поздно уже, не придет.

Вадим снова почувствовал досаду, что Лиса не пришла. Но, надо признать, вышло бы неудачно, если бы она пришла именно сейчас. Подъезжает Ира, подходит Лиса — встречаются... Это был бы водевиль. В жизни так не бывает. Да и нечего ему скрывать от Лисы! Ну, познакомился, ну, помог. Тем более Ира не в его вкусе: крупновата. Правда, симпатичная и простая.

Вадим сел рядом с Ирой, и они поехали к ее гаражу.

— Наездилась сегодня! Больные знают, что у меня машина, так никакой совести! Бабку одну в больницу отправляла. Выписала направление, звоню в сантранс-порт, там как всегда: «Ждите». Хочу уходить, так она вцепилась: «Доктор, меня уже раз отправляли, так ждала четыре часа. Отвезите вы меня, я вниз на лифте сойду, мне дочка поможет». И дочка, в два голоса. Кстати, никакой срочности. Небось вызвать такси у них мысли не было. Отвезла.

— Не надо было.

— Как-то неудобно отказать. И не умею я.

Они остановились у гаража.

— Снаружи будем делать, да? А то у меня свет плохой. Это быстро? А то я еще не ела.

— Об быстро не может быть речи: надо ждать, чтобы остыл мотор.— Вадим объяснил это со снисходительностью специалиста.

— Ой, что же вы мне не сказали? Нарочно, да?

Вадим не стал отрицать, что нарочно.

— Думал, пока посидим, вместе разберемся. Я же не знал, что вы не ужинали. Как раз успеете сходить и вернуться. Или хотите, я сам сделаю и загоню машину. Оставьте ключи.

Ира ответила сразу:

— Нет, лучше вернусь! Ой, то есть вы не думайте, будто я вам не доверяю! Вечно я ляпну. Я наоборот! Просто неудобно бросить все на вас. Вдруг чем-нибудь помогу: поддержать, посветить. Я мигом съезжу... Ах да, ехать-то и нельзя. Ну, тут и пешком пять минут.

По проезду в сторону ворот катила старая «Волга». Это ехал Миша, бывший подводник. Вадим махнул.

— Садитесь, доедете до проспекта.

— Ой, знаете что: едем вместе! Съедите домашний ужин. А то тут всухомятку наживете язву. Должна же я тоже как-то... Ну садитесь быстрее, неудобно задерживать!

И Вадим неожиданно для себя очутился рядом с Ирой на заднем сиденье Мишиной «Волги».

— Привет начальству,— сказал Миша.— Я слышу, берешь взятки домашними ужинами. А то хотите, закатимся куда-нибудь втроем.

Мише под шестьдесят. В войну он два раза тонул вместе со своей подлодкой, однажды спасся через торпедный аппарат и потому превратил оставшуюся жизнь в нескончаемый праздник в честь своего счастливого спасения. Он готов был закатиться куда-нибудь в любое время. Легкий человек.

— Спасибо, Миша, сейчас некогда: дежурю.

— Теперь это называется дежурить! Ну понятно: вдвоем интереснее. Вас куда доставить, ребята?

— Только до проспекта, мы сразу выйдем,— поспешно сказала Ира.

— Обижаете. Миша своих друзей не высаживает на поддороге. К подъезду доставлю.

— Тогда развернитесь, пожалуйста, и к тому дому напротив. Третий подъезд. Там, где дерево.

— Вот это конкретно. Прошу. Прямо под сень березы.

— Это будущий тополь,— улыбнулась Ира.

— Тем более.

Вадим вызвал лифт.

— Нам высоко?

— Девятый этаж.

Лифт был новенький, не исцарапанный внутри, и только в слове «Лифтремонтаж», украшавшем объявление, в котором сообщалось, куда звонить при поломке, было тщательно выскоблено первое «т», отчего слово сделалось гораздо интереснее.

— Вот здесь я живу,— показала Ира.

Даже среди обитых солидным дерматином дверей Ирина дверь выделялась: ее дерматин был красный, а частые ряды золотистых обойных гвоздей делали дверь похожей на стеганое одеяло.

— Да,— сказал Вадим.— Если бы я был квартирным вором, я бы сразу выбрал вашу. Вид многообещающий.

— И ошиблись бы. У меня пустота.

Она отперла дверь, пропустила Вадима вперед. Зажегся свет.

Вадим стоял в маленькой прихожей. Дверь вела в единственную комнату.

— Дом более поздней серии, чем наш. Кухня и прихожая на полметра больше. Но я-то приготовился оказаться в профессорской квартире!

— Ну что вы. Профессор, как ему и подобает, живет в старинном доме с каминами и лепными потолками.

— Это, стало быть, тоже подарок?

— Только не говорите таким осуждающим тоном. Мне и так совестно, что я вся в папиных подарках.

— Ну что вы, я вовсе не осуждаю. Разве что немного завидую.

— Чему? У вас все будет! Вы талантливый, это главное. Остальное все приложится. Папа, когда учился в двадцать седьмом году, жил на Песках. Оттуда в академию трамваем стоило десять копеек. Поэтому он позволял себе ездить на трамвае два раза в неделю, вставал на полчаса позже, «отсыпался», а в остальные дни ходил пешком.

— Вот именно. А на машине теперь катаетесь вы. Такие радости, как машина, по-настоящему хороши в молодости. А получить все к пятидесяти годам, по-моему, даже немного обидно. Вот и получается, что дети знаменитого человека счастливее его самого.

— Ну что вы! Вы это говорите, потому что для вас само собой разумеется главное: наука, то, что вы открываете что-то новое. И в придачу вам хочется ни в чем не нуждаться. Совершенно естественно. Кто-то умный сказал, что талантливые люди особенно чувствительны к комфорту потому, что у них всегда тревога в душе и внешний комфорт хоть как-то ее компенсирует. Но вы совсем не можете представить себе жизни, когда нет главного внутри: нет таланта, нет поисков, нет открытий. Одно счастливое иждивенчество. Конечно, лучше всего вам с вашим собственным талантом родиться у такого папы, как мой, чтобы заниматься своим делом, ни о чем не думая, не думая, как заработать деньги. Вы простите, что я вроде на личности перехожу, но ведь вы в гараже не от хорошей жизни, правда? Вы не обиделись?

— Нет, что вы!

— Конечно, лучше всего такое сочетание. Но так почему-то совпадает редко. А уж если выбирать, я бы хотела, как вы: чтобы что-то представлять самой.

Произнося этот монолог, Ира отнюдь не стояла без дела. Она зажгла газ, что-то поставила жариться, потом быстро-быстро стала резать овощи на большой деревянной доске. Все это получалось у нее очень ловко, она работала, почти не глядя на руки, как не глядя ведет шайбу хороший хоккеист. Вадим стоял в дверях кухни и смотрел. Он любил смотреть на всякую красивую работу.

Потом он подумал, что если бы он имел неосторожность сказать что-нибудь Лисе по поводу преимуществ, проистекающих от богатого папы, та разразилась бы целой филиппикой в его адрес, а вот Ира так ловко его оправдала и буквально вознесла на пьедестал, что он сам стал собой гордиться.

— Ну вот, готово. Помогите мне все отнести в комнату.

— Что вы, зачем? Давайте на кухне.

— Нет, я хочу в комнате. Вы же гость. Чтобы все как следует.

В комнате у Иры и правда было почти пусто. Но это была роскошная пустота. Весь пол устилал ворсистый, как газон, синтетический ковер, который переходил на низкую тахту. По углам стояли колонки стереопроектировщика. Все вещи, книги, телевизор помещались в гнездах стенки, причем по странной прихоти шкафное отделение с платьями и бельем было застеклено и доступно обозрению.

Ира перед входом в комнату беспечными движениями сбросила туфли, благо они у нее без застежек. Вадим замешкался, развязывая свои кеды (врученный ему поднос пришлось поставить на пол).

— Бросьте, идите так.

— Ну что вы. Такой ковер как щетка: всю грязь снимет на себя.

Ира выдвигала из угла низкий столик.

— Я обожаю сидеть на полу. Вернее, полулежать, как древние римляне. Знаете, теперь появился такой стиль, но, честное слово, я сама придумала раньше!

Наконец Вадим справился со шнурками и ступил — нет, погрузился в ковер. Идти по такому в любой обуви было бы кошунством, не говоря уже о кедах. Костюм Вадима тоже не очень соответствовал, ковер и со стройотрядовских доспехов мог собрать грязь, но этим пришлось пренебречь.

— Музыку поставить?

— Можно.

— Только я что-нибудь несовременное, хорошо?

Она поставила «Крейцерову сонату». Вызов это, что ли? Или намек? После Толстого на знаменитой сонате неснимаемый ярлык. Теперь ее вдвоем нельзя слушать без задней мысли!

Вадим ел салат, потом мясо с жареным луком — все приготовленное так, как никогда не бывало дома, но звучала соната, и Вадим плохо ощущал вкус.

На что она надеется? На обычное приключение? Или думает, что уже поймала в клетку? Она симпатичная, а изобильная фигура вся — как незатихающий зов. Но слишком получается агрессивно: машина, квартира, папа — комфорт для мятущейся талантливой души. Радоваться бы минуте! Но не умел еще так Вадим, чтобы никаких проблем!

— Вина немного выпьем?

— Мне дежурить ночью.

— Сухого.

Она вернулась с бутылкой и села так, что оказалась рядом с Вадимом. Только ноги в разные стороны.

— За знакомство? Если вы не против, давайте попробуем на ты. А то как-то чопорно. Ой, наверное, опять глупость!

Они выпили. Ира сидела, запрокинув голову, опираясь руками на ковер. Вадим наклонился и поцеловал ее

в губы. Он никогда так не целовался: чтобы подбородком касаться носа женщины...

— Подожди. Подожди, не надо.

Ира выскользнула, встала, выключила проигрыватель.

— Не надо сейчас, Вадик, хорошо? Пойдем лучше затягивать гайки.

— Пойдем,— с трудом выговорил он.— Спасибо за ужин.

Прозвучало грубо, но он этого не хотел. Просто язык с трудом ворочался.

Еще помолчал немного, и стала появляться обида. Ведь сама начала. Зачем? Или такая плата за работу — накормить и поцеловать?

Ира стояла рядом в лифте и тоже молчала.

На улице она взяла его под руку.

— Ты не обижайся, Вадик, хорошо? Вы, мужчины, всегда ужасно торопитесь. Потом посмотрел бы на часы и сказал: «Мне пора дежурить». Только ты не думай, что я со всеми так. Я тебя сразу заметила. А ты сидел и не смотрел, кто мимо тебя едет. А вчера милостиво заметил. Ты приходи прямо завтра, только если ты действительно хочешь. Чтобы мы могли не торопиться. Знаешь, кто-то красиво сказал: любящие должны узнавать друг друга, как незнакомую прекрасную страну. Только ты меня, пожалуйста, не обманывай, хорошо? Потому что это нетрудно, и никакой чести в этом нет. Не надо просто ради лишнего номера в списке побед, хорошо?

Ира замолчала.

Нужно было что-то сказать. Что-нибудь холодно отстраняющее, как Онегин Татьяне? Глупо, да и не хотелось. Ира не в его вкусе, все так, но что-то в ней было, чего ему до сих пор не удавалось найти в любви. Как в горах: есть прекрасные труднодоступные вершины — к ним стремятся, не щадя жизни, воспоминания о восхождениях составляют биографию,— и есть уютные долины,

о которых не вспоминают, но в которых хорошо отдохнуть. Нет-нет, он не будет клясться Ире в любви: он и вообще никогда не прибегал к такому дешевому обману, а тем более наивная просьба не обманывать произвела впечатление. Нет, он любит Лису! Но не нужно отталкивать и Иру.

Жалко, что Ира с первого знакомства сразу хочет чего-то прочного, долгого! Почему не может жить беспечно: сегодня их тянет друг к другу — и никаких проблем!

Но этого Ире сказать было нельзя.

— Знаешь, я рад, что мы познакомились. И честное слово, я сегодня не знаю, что будет с нами дальше. Конечно, ты мне сразу понравилась: молодая, симпатичная, чего же еще? Ну а любовь — это когда другой становится тебе родным, и невозможно сразу угадать, сроднимся мы или нет.

Вадиму самому стало неловко от такого докторального тона. Но, к его удивлению, Ира ответила:

— Ой, какой же ты молодец, что так все хорошо сказал! Если бы ты сразу стал клясться, я бы подумала, что ты просто разгорячился... ну, в общем, от поцелуя.

Как у нее получалось? Она каждое слово Вадима умела повернуть так, что это слово способствовало вящей его славе.

Интересно, а если бы Ира узнала про шпалы? С Лисой ясно: осуждение, презрение, остракизм. А Ира? Ира бы поняла. Ира бы сказала: «Теперь у нас все будет хорошо, и тебе не придется связываться со всякими жуликами. Уйдешь из гаража, займешься спокойно наукой. Ты такой талантливый!» Что-нибудь в этом роде. Ире никогда не придет в голову, что он может разрушить свои способности.

Когда подходили к воротам гаража, Вадим нервничал: вдруг Лиса все-таки пришла?! Тогда — тогда на этом закончится приятное знакомство с Ирой: ведь если

дойдет до выбора, сомнения быть не может — Лиса, только Лиса! Но лучше оттянуть такой категорический выбор, отдохнуть в уютной долине... Но в будке сидел один дядя Саша. Увидев приближающуюся пару, он стал делать Вадиму знаки: сначала показал руками воображаемый низенький предмет, потом энергично зачеркнул ребром правой ладони и изобразил предмет гораздо больший. Смысл сей пантомимы был предельно ясен: маленькой теперь не отделаешься, с тебя пол-литра.

— Чего это он машет?— удивилась Ира.

— Хвастается, сколько выпил без меня.

— Тебе, наверное, трудно здесь: поговорить не с кем.

— Нет, дядю Сашу слушать интересно. У него обо всем истории. Недавно он прочитал «В августе сорок четвертого», так рассказывал, как сам вражеских радистов ловил. Запеленговали, и поехала опергруппа на «виллисах», он шофером. Доехали, потом прошли лесом, вышли на агентов. Мужик и баба-радистка. Солдаты мужика схватили, дали ему разá сгоряча, а он кричит: «Ребята, что вы делаете, я свой!» Оказывается, соседний фронт забросил, не зная, что тут уже наши. Так он, сукин сын, неделю сведения посылал! Трус оказался, боялся выйти. Услышит по дороге движение, гул моторов и радирует: «Перегруппировка. Подтягивание танковых резервов».

Эту историю дядя Саша рассказал при Лисе, и Лиса не поверила, сказала: «Даже по звуку моторов наши танки отличались от немецких, я читала. И не мог же он только слушать, должен был и посмотреть одним глазом». Лиса хоть и дружила с дядей Сашей, но спуску не давала и ему.

А Ира изумилась:

— Правда? Вот здорово! И ты так хорошо рассказываешь.

Схема затяжки болтов была сделана в заводской книге очень толково, Вадим мгновенно в ней разобрался. Динамометрического ключа он не нашел, подтянул болты по ощущению. Старался лучше не дотянуть, чем перетянуть, справедливо рассудив, что незначительный прорыв газов — меньшее зло, чем сорванная резьба. Да и не очень они ослабли. Сумерки уже порядком сгустились. Подкапотная лампочка исправно горела, но Ира еще светила специально захваченным из дома фонариком.

Вся работа заняла минут двадцать.

— Готово.— Вадим удовлетворенно разогнулся: не осрамился, поддержал свой дутый авторитет.

— Уже? Вот замечательно! У тебя просто золотые руки. Ты, наверное, и водишь классно?

Вадим скромно пожал плечами.

— Возжу немного.

— Хочешь чуть-чуть прокатиться? Довезешь меня домой и обратно.

— У меня же прав нет.

— Ну и что? Тут гаишники не попадают.

— Давай, если не боишься.

— Чего мне бояться? Я уверена, ты водишь гораздо лучше меня.

До чего же вовремя он взял у Сашки урок!

Только бы непринужденно тронуться, чтобы не заглох мотор, как тогда, вначале. Вадим прикинул, что машина стоит не на асфальте, а на гари, и сразу впереди небольшой ухаб,— и прибавлял газу побыстрее. Может быть, струнулась чуть резко, но не заглохла!

На скорости в тридцать километров он чувствовал себя непринужденно, а больше и не требовалось: до проспекта гарь, ухабы, а там через сто метров разворот — и сразу Ирин дом. У разворота пришлось пропустить трамвай, но второй раз он трогался уже смело — почувствовал машину. Подкатил к подъезду даже

изящно: тормозить не стал, просто сбросил газ и по инерции докатился как раз до будущего тополя.

— Ну вот, прошу.

— Вот видишь, я же говорила, ты замечательно водишь!

Видит бог, если бы Вадим на самом деле водил замечательно, на таком отрезке он бы просто не успел этого продемонстрировать.

— Спокойной ночи!— Ира быстро поцеловала его в щеку.— Сейчас я тебя не зову, ты не обижайся, хорошо?

Вадим вовсе не ожидал, что она его сейчас позовет, тем легче ему было не обижаться.

— До завтра. У меня завтра прием с девяти, так что приду в половине. Ой, а ты можешь уйти немного раньше?

— Конечно, полчаса дядя Саша и один додежурит.

— Тогда, если хочешь, подъезжай сюда сам в половине: мы сначала заедем к тебе, а потом я поеду. Или раньше? Ты далеко живешь?

— Езды минут десять.

— Тогда заезжай в четверть. Я спущусь ровно в четверть, договорились?

— Договорились.

Он невольно улыбнулся. Нельзя было не улыбнуться.

Ира добежала до парадного, задержалась в дверях, помахала рукой.

Уже не боясь осрамиться, Вадим тронулся. Нужно было проехать остановку вперед, потому что раньше не было разворота.

Конечно, был сильный соблазн слегка прокатиться. Этак бы ввалиться к кому-нибудь из знакомых: «Я на минуточку... Нет-нет, не угощайте, я за рулем». Но, в сущности, неотложных дел не было, и потому Вадим легко преодолел соблазн и аккуратно доехал до гаража. А когда свернул с проспекта к себе, стал вырисовываться соблазн второй: не загонять машину, а поставить

около будки. И ночью делать не обходы, а объезды. Собственно, обычно Вадим не делал и обходов: в двенадцатом часу шел во второй домик, а в три возвращался обратно. Ну, потом еще утром отводил Гайду. Но раз есть машина, можно будет подежурить как следует, проявить бдительность. Есть тут такой Шубин, дежурит через смену после Вадима, он по такому методу и сторожит: объезжает гараж на своем «Москвиче». К тому же безопасно: ни лихач не выскочит, ни пьяный, и ганшиков нет — не страшно на чужой машине.

Второму искушению Вадим решил поддаться. Он подкатил к доске объявлений, — на это место ставит свою «Волгу» председатель, если задерживается, не доехав до своего гаража, — заглушил мотор, сунул ключ зажигания в карман и вышел. Двери запирать не стал: ни к чему, все на виду.

При виде столь триумфального возвращения своего напарника дядя Саша встал, постоял, чуть качаясь, у раскрытой двери будки, потом дошагал до машины, потрогал багажник — мол, не мерещится ли?

— Ну сегодня, значит, прокачал ее на славу. В домашних условиях. Ловкий же ты парень: раз-два, и новенького «жигуля» заимел. Вот это да! Поздравляю!

— Чего поздравлять — не мой же.

— Будет твой! Чего тебе стоит? Вон какой ты парень! Будет твой.

И было непонятно, действительно он восхищается Вадимом или это пьяная ирония.

11

В самое темное время — около часу ночи — Вадим объезжал гараж. Медленно, почти бесшумно катилась машина, покачиваясь на пологих ухабах как на волнах; свет фар скользил по рядам ворот с тяжелыми замками; негромко наигрывал приемник — «Маяк» передавал какой-то диксиленд.

Вадим невольно вспомнил, как познакомились они с Лисой. Так же скользил впереди свет фар, но освещал он заснеженные деревья по сторонам дороги — ехали куда-то на дачу...

Было это полтора года назад. Собрались к Валерке Селиванову праздновать день рождения, но оказалось, что родители его из дома не ушли и не собираются — то ли не могут, то ли не хотят, празднование грозило распасться, а все уже настроились, и тогда какой-то парень — Вадим его раньше не знал — предложил ехать к нему на дачу, благо дача летняя и никаких родителей в январе месяце там быть не может. Скинулись, поймали два такси, набились в каждом человек по пять и покатили. На заднем сиденье Вадим оказался прижатым к худенькой незнакомой девушке. Первое, что бросилось в глаза, были падавшие на черную шубку золотистые волосы.

Вчетвером сзади было очень тесно.

— Знаешь, садись лучше ко мне на колени, — предложил Вадим, после того как на повороте совсем уж навалился на нее.

Теснота и распитая впопыхах пара бутылок располагали к простоте обращения.

— Наконец-то хоть один догадался, — сказала девушка и вмиг оказалась на коленях Вадима.

— Теперь, Алисочка, у тебя руки свободные, можешь спеть, — сказал Валерка. По праву именинника и самого толстого в компании он восседал впереди, покоя на коленях гитару.

— Вот не знала, что пою руками, — фыркнула Алиса, но гитару приняла.

Томить публику долгой настройкой она не стала. Сразу взяла аккорд и запела:

Быстро-быстро донельзя
Дни бегут, как часы...

руках, каблучки выбивали что-то испанское, волосы летели, как на ветру.

— Тебя бы в балет,— сказал Вадим, когда они после ели из одной миски, сидя на железной кровати без матраса,— а я-то с тобой доморощенными танцами занимался.

— Я в театральный все три тура прошла!— с гордостью сообщила Лиса.

— Ну и что же?

— Сама не захотела. Я просто так, чтобы проверить себя. Искусство должно быть для души.

Идти на электричку было поздно, машину не поймать, да и денег не было ни копейки. Хозяин дачи натащил какого-то тряпья, расстелили и улеглись все вместе на полу, надев все, что было можно, и теснее прижимаясь друг к другу — времянку стало выдувать. Кажется, Вадим и Лиса сначала заснули, а потом уже поцеловались — просто их губы невольно сблизились, соединились естественно, как дыхание. Многие проснулись раньше, поэтому пробуждение Лисы с Вадимом бурно приветствовали. Приветствия, однако, ничуть их не смутили. Лиса спокойно сказала:

— Чего такого? Обыкновенный магнетизм.

Конечно, они немного притворялись: не так уж они спали, когда целовались; но и не совсем наяву было дело — нет, они разом оказались в промежуточном сомнамбулическом состоянии, и в том-то и проявилось главное чудо, что в этом редком состоянии они оказались сразу вдвоем...

Бой важно восседал рядом с Вадимом — все гаражные собаки обожали ездить в машинах, норовили вскочить внутрь, едва видели открытую дверцу, поэтому Вадим заранее постелил тряпку, чтобы Бой не запачкал кресло грязными лапами. Пес вдруг залаял. Ночью в нем всегда просыпался сторож. Фары выхватили из пригаражной тени фигуру в самом конце ряда, фигуру,

возившуюся с замком. Вадим прибавил газу, подлетел и, чуть не доехав, резко затормозил, как тормозят в кино милицейские машины, чтобы ошеломить неожиданностью. Фары упирались прямо в подозрительную фигуру.

— Чего делаешь?

Выпустил Боя, вышел сам. Бой лаял так, что едва удалось расслышать ответ:

— Да вот замок заел.

Потертого вида человек — старая ковбойка, промасленные брюки — не выказал никаких признаков испуга.

— Пропуск есть?

— Был где-то.

Человек долго охлопывал карманы — их в брюках оказалось неожиданно много — и наконец вытащил пропуск. Фотография, номер гаража — все совпадало.

— Ну давай, ковыряйся дальше. Тихо, Бой, на место!

Бой охотно вернулся в кабину и оттуда полаивал уже ленивее.

— Чего, у нас теперь моторизованная охрана? Здорово!

Вадим поехал дальше. Самому было смешно: разлетелся, тормозил со скрипом, фарами упирался! Детектив!

Вадим решил в машине и поспать. Подъехал к воротам, пересел назад, привалился к дверце, подтянул под себя ноги, так что колени уперлись в живот. Но не спалось. И не из-за неудобной позы. Из-за мыслей.

Дяде Саше просто иронизировать: на машину польстился. Да и многие так скажут. Но не понимают самого главного: Ира добрая, очень добрая. Кто бы другой вот так в первый день знакомства доверил машину?

Зато про Лису — про нее можно сказать очень много хорошего, но доброй ее не назовешь. В пустяках. Она

хочет, чтобы за нею ухаживали, и никогда не уступит ни одной из своих женских привилегий. Сцена в гостях: Вадим с Лисой сидят рядом на диване; ближе к полуночи принесли бутерброды; стол далеко, надо к нему подойти, потому что угощение, разумеется, а ля фуршет. Другим ребятам их женщины — жены, невесты, любовницы, просто знакомые — и бутерброд сунут, и рюмку нальют. Лиса сидит, ждет, когда Вадим за нею поухаживает. И он ухаживает, ему нравится за нею ухаживать, но иногда хочется принять рюмку и из ее рук. Он несколько раз делал опыты: в критический момент встревал в какой-нибудь длинный разговор, не обращая внимания на стол. В конце концов Лиса встанет — она никогда его не просит, просто подождет-подождет и встанет, — нальет только себе, бутерброд возьмет только себе. Принципиально, по-видимому. Однажды сказала, что не хочет стать поварихой и официанткой в одном лице. Потому, должно быть, и у Вадима — а ведь множество раз бывала у него — ни разу не подошла к плите. Чехол сшить для лыж — ну женское же дело! — так и не сшила. Тоже принцип: каждый должен обслуживать себя сам. Равноправие.

Весной решалось, пошлют ее работу на конкурс студенческих работ или нет. Встретились как раз вечером того дня, когда все должно было выясниться. «Ну как?» — спросил он еще издали. «Что — как? Я телепатию не проходила!» Хотя ясно было, что — «как?»: как с работой, взяли или нет? «Приняли работу?» — переспросил Вадим, уже раздражаясь. «Ну зачем спрашивать! Вечно ты не о том спрашиваешь! А о том, о чем нужно, — не спрашиваешь!» Постепенно все-таки всплыло, что работу не взяли. Но спрашивать об этом прямо было нельзя, потому что это все равно что посыпать солью свежую рану. А как узнать, не спрашивая, что этот вопрос — соль на рану? Разве что и впрямь телепатически. А о чем нужно было тогда спросить — этого Вадим не

узнал никогда. Попытался выяснить, но Лиса отрезала с презрением: «Сам должен понимать!» Вот так и объяснились.

Сейчас в воспоминаниях эти случаи казались обиднее, чем на самом деле. Да, и бутерброд не подала, и про конкурс объяснились неудачно, но тогда Вадим обиделся гораздо меньше. Потому что обида смягчалась улыбкой Лисы, интонацией — да просто тем, что она рядом. Она рядом — и Вадим пребывал в восторженном состоянии. Она рядом! До Лисы у Вадима были и другие, успел появиться не такой уж большой, но все же опыт. Так вот, самые страстные объятия других женщин — хотя и сейчас в воспоминаниях он только благодарен тем, милым, другим — не приводили в такое упоенное состояние, как легкое прикосновение Лисы — в кино, за столом. А летящие в танце волосы, а изгиб руки, которую она подносит к виску, когда волнуется, а губы, чуточку слишком выпуклые, чуточку слишком земные на одухотворенном лице. На правой груди у нее родинка, на правой брови шрам — упала на катке.

Да и бывали же у них счастливые минуты согласия, понимания с полуслова или вовсе без слов, когда нереальными, невозможными казались все бесконечные мелочные распри. В автобусе положить руку на талию за миг до резкого торможения, остановить еще не начавшееся падение — и в ответ взгляд, означающий: «Как бы я могла жить без твоей крепкой руки!» Ну разве они не созданы для совершенного понимания друг друга, для единства?! Но в следующий раз в такой же ситуации вместо понимающего взгляда можно получить слова: «Что я, фарфоровая, что ли?»

И теперь обиды стали обиднее, разрослись. Неподанный бутерброд?.. Нет, вещи поважнее! Если бы она любила по-настоящему, не нужно было бы ничего скрывать. Ну, шпалы — чистая спекуляция, правильно, — но могла бы понять, пожалеть! Сказать одно: «Что бы ты

ни сделал, ты всегда самый лучший. Ты всегда мой единственный!»

Если бы Вадим что-нибудь узнал про нее, разве не понял бы, не простил? Что угодно простил бы, лишь бы была она.

...Вадим и не заметил, как задремал. А когда снова посмотрел вокруг осмысленно, было совсем светло. Половина четвертого, ранний июльский рассвет. Вадим зашел в дом, умылся, разбудил дядю Сашу, который сегодня спал первую половину ночи, но сам ложиться не стал. Сделал пару кругов по гаражу, заглянул к Гайде, которая встретила его мирно, потому что щенки заползли в конуру и были, таким образом, вне опасности. Вадим отпустил Гайду, дал ей побегать, а потом немного покатал. Боя для этого пришлось изгнать, потому что вдвоем они не умещались на тряпке, и обиженный Бой бежал сбоку и лаял, а гордая Гайда смотрела вперед и не обращала на него ни малейшего внимания.

За гаражом метрах в трехстах от второго домика вдруг поднялся столб дыма. Что-то подожгли. Доехать туда было невозможно, разве что на вездеходе, но Вадиму стало интересно, и он сходил пешком. Горели какие-то мешки. Вадим отбросил в сторону несколько штук, еще не охваченных огнем, вспорол — табак.

Свалка понемногу продолжала действовать, и вот кто-то выбросил табак. Целый грузовик, не меньше. Табак Вадиму не был нужен, и он брать не стал. Но, когда вернулся, рассказал дяде Саше. Тот сразу разволновался.

— Мешками? Рассыпной?

Вадим подтвердил.

— Слушай, это же бесценная вещь! Тлю морить, понял? В этом году этой тли — пропасть. А табак, он лучше всякой химии. Развести водой, настоять. Я сейчас запасу. Подбрось сколько можешь, а?

Они заперли дом, дядя Саша уселся на переднее сиденье прямо на собачью тряпку, и Вадим подбросил. Помогать дяде Саше таскать он не стал: тому нужно, пусть сам и таскает. Дядя Саша сходил четыре раза, в каждый заход притаскивал по мешку.

— Килограмм по двадцать в мешке, понял? Мне теперь на несколько лет.

Один мешок Вадим забраковал:

— Сыпется из него. Обсыпешь мне весь багажник.

Остальные погрузил и с добычей вернулся обратно. Дядя Саша торжествовал:

— Шестьдесят кило, и все бесплатно, а? Теперь тле конец пришел, понял? Слушай, уж сделай доброе дело до конца: добрось до дому, а то куда я с ними потом?

Дядя Саша жил в трех остановках, на машине это ничего не составляло.

Вадим делал успехи не по дням, а по часам. На обратном пути встретил желтую «Волгу» ГАИ и до того обнахалился — на перекрестке дело было, — что, видя, что та, хотя и приближается слева, но останавливаться явно не собирается, мигнул фарами: «Я справа, пропусти!» И проехал первым, а «Волга» притормозила, утерлась.

— Ты даешь, — только и сказал дядя Саша.

Когда вернулись, было уже шесть часов. Машины выезжали одна за другой. Дядя Саша сел в будку, окинул окрестности бдительным оком — словно и не отлучался, словно был все время на страже. А Вадим поехал в обход — просто так, для своего удовольствия.

Ровно в четверть девятого он затормозил у подъезда Иры. Улицы уже наполнились машинами и спешащим утренним народом, но Вадиму было нипочем. Ира вышла секунда в секунду.

— Здравствуй, Вадик. Ну как ночь? Наверное, ужасно неприятно ночью дежурить, да? Мы дежурили в институте на практике, мне так не нравилось! Ты за-

втракал? Я тут захватила банку болгарских грибов. На, в магазине не достанешь.

Вадим изумился:

— Ты чего? Зачем мне грибы?

— Очень вкусно! Ты только попробуй! Поехали, да? Ой, знаешь, мне так нравится сидеть пассажиркой. А то как уставишься в дорогу, так и не можешь глаз оторвать. Как привязанная. Я сегодня с утра на приеме, а вызовов будет мало, потому что эпидемии нет, а хроники летом отдыхают. Так я освобожусь часа в четыре. Хочешь, поедем куда-нибудь купаться?

— Давай.

— Лучше всего в Солнечное: там не очень далеко идти — и уже глубоко. Дно хорошее, без камней. И наша дача недалеко. Только, если ты не захочешь, мы на дачу не поедем. Я как сделаю вызовы, так тебе позвоню.

— Ладно.

— Или хочешь так: ты меня отвези в поликлинику, а потом подъезжай к двум часам. Обьедем вызовы — и сразу за город.

— ГАИ меня в конце концов прихватит.

— Надо рисковать. Знаешь, я ужасно люблю рисковать! Да и риска нет никакого. Я уж больше месяца езжу, и ни разу меня не остановили. Если только не нарушать. А ты не нарушай, ладно?

— Ладно.

— Тогда поворачивай на Либкнехта к поликлинике. Ой, ты знаешь, я так рада, что ты согласился. А то у нас два хирурга, они старые шоферы, так вечно просят: «Дай, Ирочка, на вызов съездить, пока ты принимаешь». Я говорю: «У вас же доверенности нет!» А они: «Ничего, мы аккуратно». А сами по мензурке спирта обязательно хватают. Я же отказывать не умею, но совсем это мне не нравится.

— У них хоть права.

— Ерунда! Ты, Вадик, водишь в тысячу раз лучше их.

Около поликлиники она сказала:

— Вон идет один.

Выглянула:

— Здравствуйте, Иван Максимович!

И тут же прижалась к Вадиму, поцеловала прямо в губы.

— До двух, да?

— Ага. Ну, теперь твой Иван Максимович разнесет новость.

— И пусть! Пусть видит, что ему здесь больше не отколетса.

Вадим подъехал к дому без двадцати. Сашка как раз отпирал своего «Москвича». Значит, он все еще без утреннего ученика. Увидев Вадима, присвистнул:

— Ого! А говорил, что просто так учишься. Болтал про это — самоутверждение! На такой тачке ты утвердишься!

Вадим не стал вдаваться в объяснения.

— Сашка, срочно нужны права. Во так! Можно пристать к готовой группе, которая уже на выданье?

Сашка почесал нос.

— Через месяц у меня сдает летняя группа.

— Ну!

— Дело такое: списки уже в ГАИ.

— Секретарша ошиблась, фамилия нечаянно выпала!

— Есть у меня там один знакомый. Но — сам понимаешь.

— Естественно.

— Маленький человек, но сам знаешь, всё зависит от делопроизводителя. Будешь в списке — сдашь.

— Я же не отказываюсь.

— Просто объясняю ситуацию. Правило новое: толь-

ко через курсы сдавать,— значит, и смотрят строже. Так что — сам понимаешь.

— Сказал же: согласен!

— Я еще ни разу не просил, чтобы вносить в списки, так что еще сам не знаю. А вдруг и целую бумагу — понимаешь?

— Идет.

— Словом, поговорю. А может и вовсе отказать. Правило новое, вот в чем беда. Вдруг его проверяют? Ну, в общем, если что, ты согласен.

— Согласен!

Сашка похлопал по капоту.

— Хороша. Я для себя эту же модель хочу. Только еще не знаю, когда смогу. А ты быстро!

Вадиму приятно было Сашкино одобрение — специалист как-никак. Хотелось солидно поговорить о мощности двигателя, об электронном зажигании. Но Сашка мог задать щекотливые вопросы, и потому Вадим не стал больше задерживаться — помахал рукой и поспешно взбежал наверх.

12

Дома Вадим поел и сразу лег спать — все же на дежурстве он, против обыкновения, едва подремал, — и когда после завтрака кровь отлила к желудку, разомкнуть глаза стало невозможно. Сквозь сон он слышал, как звонил телефон, но даже не пошевелился. Телефон позвонил-позвонил и перестал.

Потом телефон позвонил снова, и вовремя: оказалось, что уже четверть второго, скоро ехать за Ирой. Звонила Лиса.

— Ну наконец-то! Где тебя носило?

— Спал.

— Приятно слышать, что у тебя такой здоровый сон. Значит, совесть чистая. Слушай, Волчок, приходи вечером. Мама в гости уходит.

Ах ты черт!

— Ах ты черт! Я как назло занят. Не могла вчера зайти и сказать!

— Ну, Волчок! А ты освободись. Пошли к черту дела.

Лиса редко так уговаривала. Значит, правда хотела мириться. Значит, правда хотела видеть. А освободиться так просто. Что-нибудь соврать Ире: срочно вызвал научный руководитель, шеф, как теперь с гордостью говорят молодые ученые,— завтра он улетает в Рим, отложить встречу никак нельзя. Она станет восхищаться еще больше.

Вечером будет с нею! Ничего другого не нужно в жизни. Абсолютное благо!

«Как ты хочешь. Все — как ты хочешь».

Но что-то помешало сразу восторженно согласиться. Ставшая привычной за последние дни настороженностью: ведь Лиса могла узнать про шпалы, устроить сцену...

Времени раздумывать не было — ну, может, секунда или две. И в этом немислимом цейтноте первый раз мелькнула осознанная мысль: а хочет ли он мириться с Лисой? Стоит ли мириться ради хрупкого мира, когда она всегда может узнать, облить презрением?

Наверное, если бы Вадим спокойно обдумывал эту проблему,— рассчитывал треугольник, как любят выражаться в таких ситуациях на матмехе,— ему пришло бы на ум множество доводов за и против, но сейчас сработала реакция, мгновенная реакция слаломиста, когда сигнал внезапной опасности от глаз поступает сразу к ногам, рукам, туловищу, минуя сознание, и лыжник понимает, что объехал неожиданную яму, уже после того, как яма осталась позади. Кстати, такая же реакция у автогонщика.

— Нет, ты знаешь, ну никак не могу. Я должен вечером встретиться с человеком, который может привезти «каберы». Ночью он уезжает.

— Ну как хочешь.— Голос Лисы сразу потускнел.— Звони когда-нибудь.

И повесила трубку, не дожидаясь заверений, что он позвонит обязательно, позвонит скоро, буквально завтра.

Теперь, когда в трубке слышались гудки, Вадиму стало горько, как никогда в жизни. «Ну, Волчок, пошли к черту дела!» — Лиса редко говорила таким голосом, и этот голос обещал минуты нежности и совершенного понимания, какие для Вадима возможны только с нею. И он своими руками!..

И тут же Вадим рассердился на себя. Правильно сделал. Правильно! Почему она дарит только редкие счастливые минуты, которые нужно ловить, ценить, ждать неделями?! Почему она не может быть нежной всегда?! Он должен быть каждую минуту уверен в ее понимании, сочувствии, нежности, а иначе — что толку в такой любви?!

Да и возможны ли для них теперь такие минуты? Ведь всегда при нем, все его гаражные дела, всегда он должен опасаться, что сорвется неосторожное слово. Можно ли сочетать любовь с настороженностью, с непрерывным самоконтролем?

Ровно в два часа он подъехал к поликлинике. Ира вышла сразу.

— Какой ты точный, просто замечательно! А то сейчас все опаздывают и даже не извиняются. У меня всего пять вызовов, три повторных, мы сделаем за час. А потом пообедаем. Ты обедал?

— Нет.

— Знаешь, Вадик, давай пообедаем в «Околице» или «Заставе» — я всегда путаю. Такой ресторан на Приморском шоссе у выезда. Ты не пугайся, я самостоятельная женщина и плачу за себя.

Вадим обиделся:

— У меня есть деньги.

— Ну и пусть. Я ужасно не люблю женщин, которые

считают, что за них везде надо платить. Какие-то содержанки.

Вадим захватил книгу, чтобы читать в ожидании Иры, но прочитать удалось мало: она нигде не задерживалась дольше десяти минут. Когда она спустилась после пятого вызова, он хотел уступить ей руль, но Ира замахала руками:

— Ты рули все время, ладно?

— Мы доездимся. Через весь же город. И на Приморском полно ГАИ.

— Ничего. Папа оперировал гаишного полковника, они теперь друзья. Он устроит, тебе разрешат сдать сразу. Я скажу, нам надо ехать на юг. Ой, слушай, Вадик, давай и правда поедем в августе. У меня отпуск.

— Зато у меня нет.

— Ты про гараж? Да ну его! Мы проживем без твоего гаража.

— Посмотрим. И без прав точно нельзя ехать.

— Ты сдашь, я тебе клянусь! Он такой милый человек. И он сразу увидит, что тут никакого блата, что ты водишь как профессионал.

По этому же шоссе Вадим недавно ехал с Лисой. Не на машине, конечно, на автобусе. Лиса на автобусе любила больше, чем на электричке. И тоже в Солнечное — как все повторяется! На Лису снизошло нежное настроение, она сидела, положив голову на плечо Вадиму, была влюблена и покорна.

«Мои родные места.— Лиса не смотрела вокруг, наоборот, закрыла глаза, точно видела внутренним взором гораздо глубже, видела картину более настоящую, чем та, что разворачивалась перед автобусом.— Новая Деревня. Ни на какой Невский не променяю. Тут двухэтажные домики стояли, очень уютные. Желтые. А во дворе зимой ледяная гора — в два этажа, честное слово. Знаешь, как хорошо ребятам! Все время на улице. В ЦПКиО бегали и на Серафимовское кладбище. У меня

тетка веровала, меня с собой брала, я пела в церковном хоре. Бабы умилялись! А что, я знала все службы. И так красиво. Батюшка куда красивей, чем какой-нибудь Герман в театре. Чаше всего пела на похоронах, и покойников не боялась, ну несколько! Наоборот, такими красивыми казались, умиротворенными. Старше стала — и боюсь. Вообще-то ужасно любила бегать, а из церкви с теткой шли медленно, и самой нравилось, что я такая чинная, и казалось, все на меня смотрят».

И словно нарочно, чтобы нарушить нарисованную Лисой мирную картину, мимо автобуса, стреляя выхлопами, пронеслась спортивная «Волга» с номерами на боках. Вадим оживился: «Слушай, Лиса, пойдём на гонки в воскресенье, — Невское кольцо!» — «Я не люблю. Глупое занятие. Особенно по кольцу. Помнишь, у Ремарка: гонятся целые сутки, чтобы из Брешии примчаться обратно в Брешию. Нет, правда, Волчок, глупо». — «Ничего не понимает твой Ремарк», — буркнул Вадим. Идти одному? Вот это действительно глупо. Могла бы и притвориться. На гонках почти все с бабами, так неужели всем этим бабам интересно? Но идут...

— Слушай, Ира, пойдём с тобой на автогонки?

— Пойдём! Я не была, но, наверное, ужасно интересно. Только страшно. Я себе даже представить не могу, как они могут. Вот ты, наверное, мог бы. Только я бы ужасно за тебя боялась.

Вадим невольно чуть прибавил газу. На заднем стекле Ириной машины красовалась цифра 70 в круге, как и полагается новичкам. Вадим благоразумно держал 65: и чтобы у ГАИ не возникло повода искать с ним знакомства, и все же учитывая ничтожный собственный стаж. Его обгоняли даже «Запорожцы», но Вадим не поддавался, сдерживал азарт. Теперь же стрелка переползла за 75. По хорошему шоссе и 75 не кажется скоростью, но скоро благоразумие победило — тем более у въезда в Лахту пост ГАИ, — и Вадим вернулся к 65. Но

осталось волнующее ощущение, что он хозяин скорости, что под капотом дремлют силы — и они в его власти, — которые могут понести и в два раза быстрее. Он еще свое возьмет!

Мимо ГАИ проехали чинно, — Вадим все же немного волновался, но никто и не взглянул в их сторону.

Как всегда, когда был в хорошем настроении, Вадим стал напевать.

— Из тебя, Вадик, и летчик бы получился, — сказала Ира.

— С чего ты взяла? — грубовато спросил Вадим, пораженный столь высоким и совершенно беспричинным признанием своих достоинств.

— Ты же сам поешь: «Все выше, и выше, и выше».

— А-а. Нет, не то. У нас гимн матмеха на эту музыку:

Мы соль земли, мы украшение мира,
Мы полубоги — это постулат.
Пускай о нас бряцает громко лира,
Литавры медные пускай звенят.

Во как! И припев, тебя смутивший:

Все дальше, и дальше, и дальше
Другие от нас отстают.
И физики, младшие братья,
Нам громкую славу поют.

Этим припевом он всегда дразнил Лису, а та говорила: «Обыкновенная мания величия. Потому что сами знаете, математики несчастные, что на самом деле вы абстракция, пустота, нули, а физика — та самая единица, которая делает нули числом...»

— Ой, правда, — сказала Ира, — сейчас без математики никуда. Все математизируется. И биология, и медицина. А я в математике ну совершенно не понимаю, как в китайском. Мне это так вредит. Говорят, без математики в аспирантуре нечего делать.

— Знаю я вашу математику. Статистическая обработка, достоверность, квадратичное отклонение. Это делается за пять минут.

— Ой, Вадик, в случае чего ты мне поможешь, правда?

— Конечно, чего там, смешно говорить.

Таковую-то математику он сделает хоть в бреду. А настоящую? Давно он не работал. Мысли все время о другом: суета, суета. Неужели наворожила Лиса со своими фантазиями? «Служенье муз не терпит суеты...» О Ура-ния! Ничего, он соберется, он докажет! Ну, не гений, не всем же быть гениями. На рядовую кандидатскую его хватит во всяком случае. А Ира провозгласит и гением...

...Тогда в автобус в Ольгине села компания в стройотрядовских куртках. С ними была гитара, на которой они сразу начали брэнчать. И довольно бездарно. Старуха, которая сидела через проход от Вадима с Лисой, проворчала: «И нигде покою нету. Если молодой, так обязательно или студент, или хулиган. Или студент, или хулиган». Все засмеялись, а Лиса повернулась к компании и властно сказала: «Ну вы, мальчики, с таким треньканьем вы и в хулиганы не тянете, не то что в студенты. Дайте сюда». Те покорились. Лисе вообще покорялись все незнакомые мужчины от пятнадцати до семидесяти пяти. Она встала в проходе спиной к шоферской кабине и запела:

Телепатия, ух, телепатия!
У меня к тебе антипатия!..

И даже кондукторша не возражала, и даже старушка, наверняка не знавшая, что такое телепатия, кивала в такт! А компания была сражена на месте и, когда доехали до Солнечного, дружно повалила из автобуса вслед за Лисой. Ну и за Вадимом, поскольку он шел с нею рядом.

Сперва там, в автобусе, он гордился успехом Лисы.

Но теперь эскорт восторженных мальчишек — второкурсники, не старше — стал раздражать. Но Лиса победоносно шла во главе, наигрывая что-то маршеобразное, поэтому отшить компанию было невозможно...

И вот они подъехали к тому же пляжу вдвоем с Ирой. Вадим зарулил в свободное пространство между двумя «Жигулями» первого выпуска; их с Ирой машина смотрелась между ними, как дирижер во фраке между двумя подносчиками пюпитров.

На пляже возникла была некоторая заминка: как быть с ключами? Вдруг кто-нибудь проследит, украдет, угонит? Не купаться же по очереди! За свою одежду Вадим никогда не боялся, но тут совсем другое дело: богатому, как известно, не спится.

Однако Ира разрешила задачу просто: пока расстилала одеяло, незаметно выкопала яму в песке, бросила туда кошелек с ключами и закопала.

— А потом сами откопаем клад! Интересно, правда?

Плавала Ира, как оказалось, довольно плохо. Держалась на воде, но почти не двигалась. Вадим поплескался рядом, а потом поплыл один, чтобы размяться как следует. Когда вернулся, Ира сказала:

— Ой, ты, наверное, мастер спорта!

Вадим брал скорее силой, чем стилем, и сам это знал, поэтому похвала показалась чрезмерной, и он буркнул:

— Таких мастеров и к бассейну не подпускают.

Лиса плавала хорошо и вечно пыталась догнать Вадима. Он все же уплывал от нее, но это давалось с трудом, так что минут за двадцать такого купания он выдыхался. В тот последний приезд он предоставил ей гонять мальчишек, раз уж нельзя было от них отделаться. Те оказались вовсе никудышными пловцами, и это еще усилило их восхищение. Самый длинноволосый хлопнул Вадима по спине и сказал с неприятной фамильярностью: «Старик, какая женщина! Завидую от

души!» А кто он такой, чтобы завидовать? Только когда собрались обратно, Лиса догадалась их прогнать: «Все, мальчики, спектакль окончен, бисов не будет!» И все же поездка была испорчена...

Ну если она его любит, зачем ей дешевые триумфы у мальчишек?

А ведь любит.

Вспомнилось с кинжальной болью. На дне рождения Вадима Лиса тоже пела. И гораздо лучше, чем в автобусе (если только это возможно). И спела, глядя прямо в глаза Вадиму:

Про птичьи разговоры,
Про синие просторы,
Про смелых и больших людей!

Это Вадим был смелым и большим. Как раз тогда он носился с идеей математической модели всемирного языка и, распуская хвост перед Лисой, говорил об этой модели больше и категоричнее, чем пристало осторожному в прогнозах профессионалу-математику. Важно рассуждал о недостатках эсперанто и интерлингвы, о достоинствах своей модели, так что можно было подумать, что он в ближайшие пять лет осчастливит человечество универсальной грамматикой. Конечно, все это было наивно и нахально, но сейчас Вадим вспоминал о прошлой своей наивности и нахальности без стыда — наоборот, с удовольствием. Так уж испокон веку заведено, что перед любимыми мы стараемся выглядеть значительнее, талантливее, и жалок тот, кто неспособен увлечься и слегка приврать на свой счет в увлечении. А главное, ведь он и сам тогда верил, и не зря: ведь открывалась тогда форточка в небе, довольно часто открывалась!.. Теперь Вадим все осознал: и масштабы проблемы, и свои возможности, две-три задачи из той мечтаемой универсальной модели вошли в диссертацию, но он не стал счастливее от наступившего трезвого осознания

и ценные идеи стали являться гораздо реже — заело форточку... Зато появляются то и дело конструктивные идеи — купить машину шпунта за четвертной и настелить из этого шпунта два пола по полтиннику:

Кто весел, тот смеется,
Кто хочет, тот добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет!

Вот и нашел, что хотел.

А Лиса все еще верит в него. Или уже в прошлом: верила?!

Вадим лежал рядом с Ирой. На ней был такой купальник, который захлестывался петлей за шею, оставляя неразделенным все пространство спины. Вадиму захотелось дотронуться. Он протянул руку, провел пальцем под лопаткой, потом вдоль позвоночника.

— Так я ничего не чувствую! — требовательно сказала Ира.

Вадим сильнее надавил пальцем.

— А теперь?

— Теперь хорошо.

— Давай я буду писать буквы, а ты станешь читать — спиной.

— Ой, как интересно! А спиной можно читать?

— Попробуешь.

Он начертил букву «л». Легкую букву.

— «Л», — с интересом и ожиданием сказала Ира.

Потом «л».

— «И», — уже немного разочарованно.

«Р».

— Ой, я путаюсь: где верх, где низ? Спиной не сообщать.

— А ты сложи, что получается.

— Правда! Не может же здесь быть мягкий знак. ЛИР. Лирика какая-то, да?

«А».

— Обожди. «Д»? Нет, не подходит. «А»! ЛИРА! А почему лира?

— Ну так. Ты будешь Лирой. Ира — Лира. И внешнее сходство: у лиры внизу широкое, потом сужается, вроде талии, и снова в стороны.

— Это со всеми женщинами сходство.

— А с тобой особенно. Короче, не протестовать: Ли-ра — точка.

Рисовать буквы на голой Ириной спине доставляло особенное удовольствие. И не только потому, что приятно дотрагиваться до молодой загорелой кожи. Именно буквы рисовать, потому что было ощущение, что буквы отпечатываются где-то в Ире, что перед ним *tabula rasa*, как говорили древние. И не всегда ли мужчина хотел отпечатать в женщине дорогие ему письма? И не слишком ли часто встречается такая степень независимости, степень отталкивания, когда невозможно приложить свою печать?

Они и не заметили, как подкралась тяжелая сизая туча. Вокруг стали поспешно собираться, поднялась суета. Ира посмотрела на небо и тоже засуетилась, и хотя Вадим не боялся гроз, наоборот — любил, он тоже стал помогать быстро собираться — трудно устоять против стремления бежать, охватившего всех вокруг. Они уже и одеяло сложили, когда вспомнили про зарытый клад. Несколько шагов в сторону — и поиски сделались бы практически безнадежными.

— Стой! Отпечаток одеяла еще виден. Под левым передним углом к морю.

Откопали, нашли! А если бы нет? Страшно подумать, сколько осложнений.

Первые капли упали на них еще на пляже, а к машине они подбежали уже мокрые насквозь. Зря одевались. Лучше бы бежали так, а одевались бы внутри.

— Ничего, сейчас включим на всю мощность отопление. — Ира дрожала так, что было видно на глаз. — Го-

лая я бы не замерзла, самое противное, когда липнет к телу. Ну, Вадик, поедем на дачу?

Вадиму не хотелось. Он бы не мог объяснить почему. Во всяком случае, не потому, что испытывал стеснение перед возможной встречей с папой — профессором и генералом. Может быть, потому, что дача под дождем выглядит так же уныло, как собака.

— Знаешь, лучше в другой раз, когда будет солнце.

— Тогда скорей домой.— Ира ничуть не обиделась.— Сварю кофе. Горячую ванну, чтобы не простудиться.

Вадим фыркнул.

— Да-да! Горячую ванну я тебе пропишу как врач. С хвойным экстрактом.

К ним в окно застучали — робко и вместе с тем нетерпеливо. Вадим чуть приспустил стекло.

— Ребята, вы в город? Довезите, а? Ребенок промок весь, а тут автобус неизвестно когда.

Молодая женщина с малышом лет двух. Сзади маячил мужчина.

Вадим не стал оглядываться на Иру, хоть она и хозяйка.

— Садитесь.

Повернулся, отпер заднюю дверцу.

Женщина скользнула в машину естественно, как ящерица, мужчина влез неловко, весь в стеснении.

— Спасибо! А то у него за полгода уже два раза воспаление.

Ира сразу приняла в ребенке участие:

— А вы разденьте. У нас тепло, разденьте совсем.

Вадиму пришлось еще раз вылезти: поставить дворники, предусмотрительно снятые на время отсутствия. Вода падала почти без прослойки воздуха. Когда он поспешно нырнул назад, Ира потребовала:

— Сними рубашку!

— Да ну.

— Сними! Мало того, что в компрессе, так еще натечет, будешь на мокром сидеть.

— Слушайте, когда жена говорит,— сказала пассажирка.

Черт побери! Менее всего Вадим переносил подобные увещевания.

— Семейная жизнь хороша тогда, когда в нее не вмешиваются посторонние,— сказал он резко.

Наступило неловкое молчание. Утихни немного погоды, пассажиры, наверное, вышли бы. Но дождь лил слишком бешено.

Вадим осторожно вывел машину на шоссе. Асфальт был покрыт слоем воды сантиметров в пять, и от колес расходились следы, как от катеров. Вадим держал скорость километров сорок.

— Я бы вообще не решилась ехать, переждала бы,— сказала Ира.

Чувствовалось, она специально обдумывала, что сказать, чтобы нарушить затянувшееся молчание.

— Да, хорошо, когда мужчина уверен за рулем,— занскивающе вступила пассажирка.— И вообще хорошо, когда машина. Я твержу моему: давай копить! А то летят деньги неизвестно куда: мы в гости, к нам гости — и всё с подарками, цветами!

Голос ее приобрел привычные сварливые интонации, видно иначе она просто не могла говорить о муже.

После Сестрорецка дождь ослабел. Вода сошла с шоссе, колеса уже не поднимали буруны. Шоферы осмелели, несколько машин обогнали Вадима. Но на этот раз он посмотрел вслед обгонявшим презрительно: идиоты!

И порок был наказан — незамедлительно и очень наглядно: только что обогнавший Вадима «Москвич» — прекрасный новенький зеленый «Москвич» последней модели с утопленными ручками! — резко вильнул, его

повело юзом, развернуло на все 360° и врезало в дерево!

Не дотрагиваясь до тормоза — самое скверное дело тормозить на мокрой дороге, — Вадим сбросил газ, потом притормозил двигателем и изящно причалил к обочине в пяти метрах от неудачника. Подошел.

Мужчина за рулем — лицо знакомое, не из гаража ли? — сидел ошарашенный. Его спутница рыдала.

— Ну что, все целы?

Мужчина словно очнулся.

— Вадим! Во здорово! Ты откуда? На своей?

По имени знает.

— Что с нею? — Вадим кивнул на женщину.

— Нервы. А так цела. Ремни!

Вадим обошел машину. Крыло, правая фара, бампер, капот сильно вмят спереди. Дверца сама открылась:

Мужчина засуетился. Его охватила лихорадочная жажда деятельности. Он обежал несколько раз вокруг машины, постучал по колесам, потрогал все дверцы. Потом полез в капот. Радиатор тек безнадежно.

— Да-а. Доедешь на буксире.

— Дотащишь, а?

— Ты что! Я тебе не тягач. Новенькая машина, стану я мотор рвать.

Мужчина зашептал лихорадочно:

— Вадим, я же не даром. Четвертной, а?

— Брось. Говорю, не буду рвать мотор. Ездок! Кто ж на мокром виляет?

— Выбоину, понимаешь, заметил. Выбонну. Думал объехать.

— Не надо думать, раз у тебя это плохо получается. Теперь сиди. Поймаешь грузовик.

Мужчина хватал за руку, повторял про четвертной, но Вадим грубо вырвался и ушел. Когда отъехали, объяснил почтительно внимавшим слушателям:

— Бывают же идиоты! Мог и перевернуться. Зачем машину иметь, если так водишь? Хороший был «москвичок», теперь пойдет по слесарям.

Ему было приятно, что он имеет право говорить с превосходством.

— А не дай бог, поедешь с таким!— вздохнула пассажирка. Ребенок спал у нее на коленях.— Ведь не только себя доверяешь, и маленького тоже. Хорошо, когда можно на мужа положиться — хоть с закрытыми глазами.

— Вадим настоящий ас,— сказала Ира.

Вадиму этот отзыв больше не казался чрезмерным. И казалось естественным, что его принимают за Ирино мужа.

Выяснилось, что пассажиры живут на улице Щорса, и Вадим подвез их к самому дому. Женщина завозилась с сумочкой.

— Бросьте,— сказал Вадим.— Я извозом не зарабатываю.

Выслушивая благодарности, Вадим с удивлением отметил про себя, что сегодня он дважды отказался от заработка. Ира воздействует: мягко и ласково тянет прочь из гаража.

— Я знала, что ты добрый, и так обрадовалась, что ты сразу их взял,— сказала Ира, когда они наконец остались одни.— Ужасно хорошо, что мы их довезли. Малыш не простудится. И приятно, когда к тебе испытывают хорошие чувства.

— Хорошие чувства они, надеюсь, тоже испытывают, но главным образом они испытывают нормальную здоровую зависть. Особенно она.

— Вадим, но почему же?

— О господи, так понятно: потому что ты моложе ее, но у тебя вот эта прекрасная тачка вызывающего ярко-красного цвета, а у нее нет, и неизвестно, будет ли. Странно, что ты удивляешься.

— А мне хочется думать о людях хорошо.

— Думай, кто тебе не дает.

Говоря это, Вадим непринужденно выехал из ряда на трамвайные пути, объехал длинный хвост машин, выстроившихся перед светофором; как раз вовремя включился зеленый. Вадим с ходу легко набрал скорость, обогнал несколько таксистов — а эти всегда норовят нахально выскочить вперед, оттереть частников, — вернулся в свой ряд, вовремя отвилнув от повернувшего с перекрестка трамвая, — ас! Он уже не просто вел, он испытывал удовольствие от точного маневра, очень сходное с тем, какое испытываешь, закладывая на горе крутой вираж.

Когда подъехали к Ириному парадному, она сказала:

— Ты поставь машину, а я пока что-нибудь приготовлю. И буду тебя ждать.

Эпilog:

ХВАЛА ЛЮБИМОЙ!

О ты, любящая без причины, любящая потому, что создана для любви, как мощная машина создана для стремительной езды по хорошей дороге. (В разных обстоятельствах жизни к нам приходят разные любимые: бывают натуры жертвенные, созданные для трудной жизни, бывают натуры, которым нужны блеск, слава. Точно так же для разбитого проселка создан вездеход, а на шоссе лучше пересечь в низкий лимузин на длинных рессорах.)

О ты, верная, отвергающая любые посулы, любые блага, предлагаемые тебе за измену! (Здесь кроме бескорыстия нежного любящего сердца действует и инстинкт самосохранения: посмотрите, как прекрасно выглядит частная машина, доверяющая свой руль только

одному, хотя бы и скромному хозяину, который и мечтать не смеет о теплом гараже; и до чего доводят за несколько месяцев машины прокатные,— а ведь у них и гаражи, и снабжение запчастями,— доводят до того, что их теперь и вовсе не стало.)

О ты, расцветающая в крепких и нежных любящих руках! (Ибо дар любви дается не каждому, так же как не каждый рожден художником, снайпером, гонщиком, и горе женщине, нашедшей холодные дряблые руки, как горе машине, попавшей к бездарному шоферу.)

О ты, прекрасная, трижды прекрасная, тысячу раз прекрасная! Ибо в мире форм ничего нет прекраснее женского тела Венеры-Афродиты, вечной мечты всех художников. В широко раскрытых глазах мир огромен, как в ветровом стекле. Грудь совершенна, как капот «роллс-ройса», а под ней рука обладателя ощущает вечное биение нежного мотора — сердца. Линия живота мягкая и волнующая, как закругление дороги среди холмов. Бедра стройные, как рулевые колонки. Круглое колено, послушное, как рычаг передачи. Зрачок, чуткий, как стрелка спидометра.

О ты, отзывающаяся на ласку, как отзываются колеса на малейшее движение руля!

О ты!..

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,

в котором Вадиму является прекрасное видение

Вадим сидел в будке, когда к воротам подкатил сверкающий новенький «жигуль». Голубой, как южное небо в солнечный день. Четыре фары, никелированные накладки по бортам. Тройка? Но что-то мешало признать в прекрасном госте тройку. Мощный бампер с тяжелыми резиновыми клыками-амортизаторами. Вадим наконец догадался: шестерка, новейшая модель!

Молодой, но толстый — нездорово толстый, какими становятся сильные люди, если ведут сидячую жизнь,— владелец шестерки подошел к будке:

— Слушай, парень, можно будет тут у вас припарковаться?

— Надолго?

— Не знаю. Пока с гаражом не разберусь.

— Десятка в месяц.

Вадим машинально отвечал на вопросы, а сам не сводил глаз с шестерки. Подошел Петрович, торчавший здесь с утра,— не то красил гараж, не то с кем-то пил. Обошел.

— Красавица. Сколько теперь берут?

— Восемь сто. С приемником.

— За что же, значит, надбавили? Бампер. Задние фонари.

— Двигатель мощнее. Восемьдесят сил.

Вадим вышел из будки, подошел. В машине сидела женщина. Молодая. Очень приятная. Должно быть, жена. Толстяк протирал замшей стекла. Чем еще ему привлечь такую женщину.

— Я бы не стал платить,— говорил Петрович.— Я бы вообще взял первую модель за пять с половиной. Все это игрушки: никель этот. Под ним только кузов станет быстрее ржаветь.

Вадим подумал, что он бы взял эту.

— Цвет красивый,— сказал он.

— Цвет тот, что надо,— сказал толстяк.— Цвет просто так не дается: сто рублей — законная цена. Дашь — и еще сам спасибо скажешь.

Вадиму понравилось слово «законная».

— Прямо сейчас поставишь?

— Да. Наездились сегодня, хватит.

— Давай вон туда. Между желтым «Запорожцем» и «Москвичом».

Толстяк заволновался:

— Так узко? Не поцарапать бы. Да и грязь.

— А ты на доски. Точно по колее лежат.

— Нет, туда не заехать. Тем более на доски.

И такой купил шестерку! Вадим посмотрел с презрением.

— Ну давай я закачу.

Женщина, опустив стекло, недоверчиво слушала разговор.

— А вы умеете?— Первый раз она раскрыла рот.

— Вон моя машина стоит.

Красный «жигуль» стоял около доски объявлений. Вадим скоро собирался ехать к Ире — по случаю воскресенья она не дежурила и ждала его с обедом,— а потом доскочить до «Юбилейного», взять билеты на баскетбол: приезжали американские юниоры. Ира никогда не была на баскетболе, но все равно ужасно обрадовалась.

Стоял красный «жигуль», но он померк рядом с прищельцем: и этот мощный бампер, залог безопасности, и лишние восемь сил под капотом, и сознание, что новейшая модель.

— Совсем такой же, как наш!— обрадовалась женщина.

— Неужели ты не видишь, Зочка, что это тройка? Посмотри на бампер!

Не дожидаясь дальнейших приглашений, Вадим сел в шестерку. Приборная доска почти такая же. Слева двух кнопок не хватает, да лишняя лампочка над приемником. С первой же лавировки «жигуль» встал на доски, словно вкатился по рельсам.

— Всего и делов.

— Вот это мастер!— восхитилась женщина.— А тебе, Кролик, нужна улица в проспект шириной.

Кролик протянул смятый рубль, но Вадим засмеялся ему в лицо:

— Такой сервис бесплатно. Садитесь вдвоем, подброшу до автобуса.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2,
в котором Вадиму приходится пережить
страшный миг*

После «Юбилейного» Вадим возвращался в гараж вместе с Ирой: той обязательно захотелось посмотреть, подросли ли щенки.

Вадиму брать Иру не хотелось — начнется сюсюканье: «Ах, как выросли! Ты же их спас! Поцелуй меня!» Только что закончившийся обед состоял наполовину из поцелуев.

— Ну как салат? Не-ет, одного «чудесно» мало. За чудесный салат мог бы и поцеловать.

Дальше шел бульон с пирожками (за пирожки поцелуй отдельно), потом жареная печенка, ну а уж за бананы, доставшиеся Ире после часового стояния, поцелуи шли не меньше чем втройне!

Все это Вадима безмерно раздражало: он не терпел смешанных жанров. Уж как он любил Лису, но никогда, в самые безоблачные их дни (редкие, если вспомнить, но тем более), не приходило ему в голову целоваться за обедом, и ей, к счастью, тоже — жирными губами, как ни вытирай. Сидеть за столом, преломлять хлеб, как говорили раньше, и разговаривать, и смеяться, и просто быть вместе — нет, не требовалось никаких поцелуев, чтобы чувствовать удивительное единство двоих.

Обедать — так обедать, целоваться — так целоваться, но Ира этого не понимала. Она наклонялась, приходилось класть вилку, отодвигаться вместе со стулом, чтобы обнимающая полный Ирин стан рука не угодила в тарелку.

Постепенно Вадим надеялся внедрить в нее свои взгляды на время и место, но сразу он не решался. «Просто тебе больше не хочется меня целовать» — вот что она поймет, если сказать сразу. Он скрывал досаду, старался целовать добросовестно, и то Ира почувствовала и сказала:

— Какой-то ты не такой сегодня.

Вадим неудачно заикнулся, что просто раздражен неприятностями на работе, и сам был не рад: Ира всполошилась, стала тревожиться, расспрашивать — а что ей скажешь? Кое-как замял, резко подняв качество поцелуев.

И с облегчением вышел на улицу, поспешно завел. Один раз Ира потянулась к нему и в машине, но тут он объяснил довольно резко, к чему приводят поцелуи с шофером, — и она не обиделась, признала несвоевременность своего порыва:

— Конечно, я дура. А уж рядом с тобой забываю последний разум.

Но когда он выйдет из-за руля, Ира возьмет свое — тут и щенки сгодятся за повод, и птички, и солнце, и дождь. И что за страсть афишировать? Пока стояли в «Юбилейном» за билетами, это был целый номер! Очередь не сводила глаз. Вадиму выставленная на всеобщее обозрение нежность никогда не нравилась. Что-то в этом неискреннее, что-то вроде установки заявочного столба на золотом участке. Но тоже сразу не объяснишь. Поэтому Вадим ехал не торопясь — на баранке его руки чувствовали себя более на месте, чем на Ириной талии. Ехал, смотрел вперед — и увидел...

Ну, правда, сначала он увидел в ряду других машин на нелегальной стоянке у ворот новенький голубой «жигуль» — шестерку. Стоит! Глупо, что такому, как этот Кролик, досталась такая машина и такая жена...

А потом увидел Лису.

Лиса сидела в будке с дядей Сашей. И сразу захотелось ехать оставшиеся до ворот сто метров бесконечно долго. Растянуть секунды. Где ты, теория относительности?

Вот уже осталось десять метров. Мелькнула трусливая мысль: проскочить мимо, может быть, Лиса и не заметит, ведь она не ожидает увидеть его в машине. Если дядя Саша не продал.

Но это уж как-то слишком мелко: проехать мимо Лисы. Даже если неизбежно им расстаться, нужно сохранить остатки достоинства. Ведь если расстаться без подлости, тогда возможно когда-нибудь и примирение? Нет, не с Лисой.

Всё, думать больше некогда. Еще толкались и путались доводы «за» и «против», а Вадим уже затормозил, открыл дверцу, вышел.

— Привет.

Лиса навстречу из будки. Тихо сказала:

— Ну, поздравляю.

Чуть было глупо не ответил: «Спасибо».

— Ты чего? С чем?

— Все ясно... Я-то думала: что ему нужно для счастья? Думала: научный работник, сложная натура. А он прост, как мычание!.. Какая же ты тряпка, а еще мужик! Мужик сам добивается, а не гонится за приданным. Кречинский из гаража.

Лиса перевела взгляд куда-то за спину Вадима.

— А вы думаете, нашли бесценный клад?..

Вадим обернулся: Ира вышла из машины, стояла за спиной. Ревность ее, видать, одолела!

— Перестань, Лиса!.. А ты не слушай!

— Я больше не Лиса... Думаете, нашли бесценный клад? Его, оказывается, можно оценить с точностью до копейки. По преysкуранту автомагазина. Но, конечно, недешево...

За спиной разом протяжно загудело несколько машин: красный «жигуль» с распахнутыми дверцами стоял как раз в проеме ворот, не давал ни въехать, ни выехать.

— ...Недешево. Уж не знаю, сколько там тысяч. Не каждой по карману.

Ира повернулась и, как от погони, бросилась в машину.

— Подожди!

Красный «жигуль» резко прыгнул назад, ударился в передок нетерпеливо гудевшего «Москвича», посыпались стекла, так же резко взял вперед, потом назад и вбок, развернулся и помчался к проспекту.

Из машин выскочили, закричали:

— Сумасшедшая баба!

— Номер запомни, номер!

— Нельзя их за руль, я всегда говорил!

— И себе задний свет снесла, и у человека передок разбила.

— Заплатит, куда денется!

— Чего мне в деньгах? Мне с утра ехать, а как теперь?!

Лиса обошла небольшую толпу, обступившую покалеченный «Москвич», и пошла по дороге к проспекту, Вадим догнал ее:

— Довольна?!

— Извини, не хотела тебе всю игру портить. Извини... Да ты пойди, повинись, скажи, бегаешь за тобой сумасшедшая, а ты не виноват. Горячая, значит, отходчивая — простит. Только за мной не иди.

— Да ты послушай! Просто подвез: попросила. Видишь же, она совсем не может.

— Не иди за мной. Ну пожалуйста.

Столько усталого презрения прозвучало в этом «пожалуйста», что Вадим понял: безнадежно. Остановился.

Он, Вадим, теперь как бы за кордоном, между ними опустился шлагбаум. Кому теперь поет Лиса? Неужели правда Левке?!

Вадим стоял. Боль не проходила, она только как бы опускалась в глубину. А на поверхности мелкими волночками уже рябили самооправдания.

Неправда, что он продался! Он любил Лису, но она — злая. Даже и в последний момент решила уязвить, отомстить. Не продался он, а просто Ира добрая. Лучше доброта, чем такая любовь — бичующая. Ира добрая, она сейчас плачет в своей пустой комнате на ворсистом синтетическом ковре. Она плачет — и она простит.

Лиса тоже сейчас плачет — но не простит. А женщина должна прощать. И не судить, не зная всего. Продался... Да он бы здесь и сам себе купил машину! Для начала хотя бы старую. Не продался, а потянулся к доброте, к сочувствию! «По преёскуранту автомагазина»!! Да если бы Лиса его любила по-настоящему, она бы никогда не выговорила такого. В любом припадке ревности не выговорила бы! Есть какие-то пределы, есть душевные тормоза — если любишь...

Вадим стоял. Боль не проходила. Он знал, что никогда у него больше не будет такой, как Лиса. Он-то ее любил. А она?

Все, конечно, поверят ей: «Продался по преёскуранту!» И дядя Саша, и Жора — вся гаражная публика и не только гаражная, когда увидят его вместе с Ирой. Им не понять, что не он бросил Лису, а она его! Да-да, она его! Тем, что сразу поверила худшему о нем. Он бы не поверил так легко в худшее про нее, а она — сразу. Значит, готова была поверить, значит, уже и раньше верила и только ждала предложения.

Да-да, Лиса его оклеветала! Ему придется сносить насмешки и осуждающий шепот за спиной!

Вадим все стоял.

Он прощался с Лисой. Прощался со многим в своем прошлом.

Прощал себе.

А что Ира простит тоже — в этом он не сомневался.

Главное — научиться прощать себе. И тогда жизнь делается если не прекрасной, то легкой.

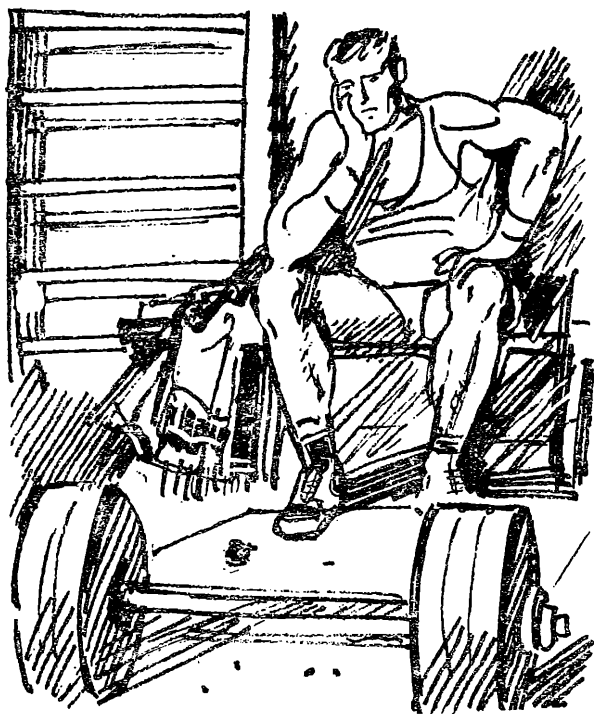
Это как с горы съехать на фирменных лыжах: прощаться — прощать — простить.

Повтори много раз одно и то же — поверишь. Это инстинкт самосохранения, душевного самосохранения: поверить в свою невиновность, в свою правоту. Нужно поверить, чтобы дальше жить и жизни радоваться. Необходимо!

Вадим все стоял. Фигурка Лисы уменьшалась вдали. Исчезла. Он уже верил, что она во всем виновата, она!

Он себе простил...

КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ



В углу небольшого предбанника стояли новенькие весы; голые пятки еще не успели протоптать на них две параллельные плешины. Да и все здесь было новое и блестящее: скамьи, никелированные крючки для одежды, пластиковый пол.

Раздевались двое: сухонький пожилой мужчина, низкорослый, загорелый,— опытный глаз сразу определил бы, что когда-то мужчина был легковесом, «мухачом», и до сих пор держит режим; и роскошного сложения парень в лучшей поре,— такие мускулы только по телевизору увидишь, когда чемпионов показывают.

— Слушай, Ионыч, если бы не шары щербатые, я у тебя бы вчера выиграл!— Парень говорил торопясь, точно боялся не успеть сказать самое главное.— Я б в угол как пулю положил, да в самую щербинку кием попал!

— «Я бы... я бы...» Плохому танцору знаешь что мешает? Проиграл, и точка.

— Нет, давай по справедливости. Положи я тот шар, я бы выиграл? Выиграл!

— Ладно, успокойся, выиграл бы. И давай на весы. Думай, как сегодня выиграть. Чтобы в другой вид не перейти. А то скажут: «Юрий Сизов? Это который чемпион бильярда?»

Но Сизов не торопился на весы. Он стоял и сосредоточенно мял поясицу.

— Вроде ничего, молчит. И как наклоняюсь, тоже ничего... тьфу-тьфу-тьфу. А ты, Ионыч, зря смеешься: выигрыш — он всегда выигрыш.

Ионыч отмахнулся и сам встал на весы, подвигал гирьки, объявил с торжеством:

— За двадцать лет триста грамм прибавил. А на Великина посмотреть! Тоже когда-то в «мухе» работал, а теперь не меньше восьмидесяти тянет... Ну, давай ты.

Сизов смотрел на весы с тем же выражением, с каким смотрят на зубоврачебное кресло.

— Не тяни, давай!

Сизов нехотя шагнул на весы. Ионыч осмотрел его критически, сказал преувеличенно сурово:

— Выступаешь, а вон какое брюхо отъел. Не прокнешь! — и вдруг ткнул Сизова пальцем в пупок.

Сизов согнулся, защищая живот неловким женским движением.

— Я ж щекотки боюсь! Перестань! Перестань, говорю!

— А не отъедай.

— Не жир у меня, не жир! Сам не видишь? Пресс!

Ионыч изловчился и снова ткнул в пупок пальцем. Сизов запрыгал на весах.

— Стой ты, не балуй! Весы сломаешь.

— Сам щекочешься!

— Ладно, стой... Ого, ничего себе живой вес! Ну идем. Три литра напотеешь, и в самый раз.

Три литра — легко сказать! Да за что же он так мучается? И все-таки Сизов ждал этого дня, потому что перед соревнованиями сама кровь бежит с веселым звоном, как мартовский ручей. Наверное, так же чувствует себя старая борзая перед выездом в поле. Собираются настоящие ребята и делают исконное мужское дело. Адски трудно поднимать это проклятое железо, иногда

просто больно, но как иначе почувствовать напряжение и полноту жизни?!

Ионыч схватил со скамьи веник, взмахнул решительно и открыл толстую, как у сейфа, дверь. Оттуда пахнуло жаром.

В парной уже расположились двое. Один, густо заросший по всему телу черными волосами, блаженно раскинулся на верхней полке. Другой, огромный и совершенно лысый белотелый толстяк, хлестал волосатого веником. От жара и работы толстяк порозовел, при каждом взмахе руки жир волнами ходил под кожей.

Увидев вошедших, волосатый закричал восторженно:

— Юра, дорогой! Приполз, старый инвалид, наказать всех решил!

— Накажешь,— отмахнулся Сизов.— Одни вундеркинды кругом. Точно не штанга, а фигурное катание. Привет, Реваз.

Волосатый протянул руку:

— Привет... Ионыч, здорово. Чего твой кадр скулит? Где воспитательная работа? Какие вундеркинды? Шахматов? Скажи своему Юре: надерет он Шахматова! Чем он у тебя недоволен? С персональным тренером разъезжает. Я один приехал.

— Я-то подумал, нового тренера Реваз завел.

— Один я. На моего суточные не выписали, пожалели: бесперспективный. Ничего, тяжу размяться полезно,— Реваз кивнул на толстяка,— а то он вроде Гамаюнова. Помнишь, Ионыч, Гамаюна?

Сизов лег на полку. Ионыч долго мял ему спину, как бы нащупывая, откуда лучше пот пойдет; наконец решился, хлестнул веником и только тогда кивнул Ревазу:

— Помню. Он раз на спор две пачки масла растопил, долил до литра какао и выпил не отрываясь.

— Точно, он! А как клопа давил! Где сел, там и отключился. Как выступать бросил, он потом судьей был. Сидит старшим, и храп на весь зал. Парень раз

вышел толкать, на грудь взял и бросил, а Гамаюн храпит. Его в бок тычут, он встряхнулся и командует: «Опустить!» Парень давно бросил, а он: «Опустить!»

Все засмеялись. Сизов тоже улыбнулся за компанию — не любил он, когда перед соревнованием сидят как сычи, «настраиваются», — но все же лучше бы Реваз догадался помолчать. Хорошо ему народ потешать: ни на что не претендует, выступит в свое удовольствие и уедет в деревню домашнее вино пить. Как выражаются представители команд, «железный зачетник». Иногда Сизов завидовал Ревазу и думал, что, имея он сам дом в теплых краях, тоже жил бы в свое удовольствие, радовался славе районного силача и не карабкался бы на Олимп. Но долго себя обманывать не удавалось: дело не в доме — в характере; и раз уж с детства такой характер, чтобы непременно быть первым, никаким виноградником его не успокоишь. Тем более когда уже испробовал славы, когда уже был первым и перестал быть. Возможно, правы те, кто выиграет один-два раза и уходит. Уходят в расцвете, чтобы лелеять красивый титул «непобежденного». Но кто помнит, побежденными или нет ушли Новак или Коно? Помнят победы. Но это позже, когда отстоится история, а сейчас, в разгар мучительной гонки за молодыми, нагромоздившими в последние два года фантастические рекорды, многие спрашивают у Сизова при встрече: «Все таскаешь? На первенство ЖЭКа?»

Перед Олимпийскими играми Сизов два года подряд становился чемпионом мира, да так, что соперников видно не было. Кто другой летел через океан драться, а он уже в Москве садился с золотой медалью в кармане — в его весе вся борьба шла дома: второй на чемпионате мира показывал результат хуже пятого на первенстве страны. Правда, на Олимпийских оказалось, что поляк сильнее, чем ожидали, но это дела не меняло: тот уже все подходы истратил, а у Сизова два в запасе —

он только что не насвистывал, когда на помост выходил. Ну и с такой силой от радости на грудь выхватил, что гриф не на ключицы лег, а выше, на шею, где сонные артерии. Круги перед глазами пошли, не помнит, как бросил. Ему бы тогда хоть десять минут отдышаться, да все уже кончили, он один остался, поэтому сразу снова вызывают, таймер включен, три минуты на подход и ни секунды больше. Вышел, зал перед глазами плывет, подрыв кое-как сделал и бросил.

Никто не понял, почему Сизов на Олимпиаде сорвался, — ни среди тренеров, ни в федерации. Рассказал одному Ионычу. Вообще-то Сизов жалости не терпел, но сочувствие Ионыча было необходимо — только Ионыч роковых обстоятельств и всякой там судьбы не признает, материалист стопроцентный. «Ты, Юра, сам виноват. Техника подвела». Любит прописями говорить.

Раз уж Ионыч, который роднее отца, так отнесся, чего от других ждать? В федерации, конечно, сразу мнение: «Сизов не стабильный, Сизов не волевой». Ну и пошло все вкось. А тут новая волна: Валдманис, Шахматов, Рубашкин. Ребятам едва за двадцать, Сизов в их годы первый разряд ковырял, а эти с ходу рекорд в сумме килограмм на двадцать подняли. Сизов тянется, пять кило прибавит, а те на десять уйдут. Догони! Трудно в тридцать три надеяться. Списали!

Если бы тогда выиграл Олимпиаду, может, и угомонился бы. А так получается нелепый конец биографии. Серебряная олимпийская медаль у него, дважды чемпион мира, в какой-нибудь маленькой стране он бы стал национальным героем, а по нашим меркам — провал. Коновалов, секретарь федерации, два года с Ионычем не разговаривал. А при чем Ионыч? Да черт с ним, с Коноваловым, главное — для него самого, для Сизова, провал! Может быть, из зала не такая большая разница: первая ступенька, вторая — оба молодцы, а для него позор! Поляк кричал, подпрыгивал, целоваться полез,

а Сизов на вторую ступеньку вышел как к позорному столбу.

Один американский журналист сказал о чемпионах: «Они не возвращаются!» Пусть это верно для боксеров, но он, Юрий Сизов, должен вернуться! Если по движениям лучшие килограммы собрать, получается почти мировой рекорд,— только не удастся их в один вечер собрать. Пока не удастся... Но должно же когда-нибудь удастся. Да не когда-нибудь, сегодня! История повторяется: опять самое трудное у своих выиграть... Последний год Сизов тренировался как никогда, заставлял себя верить, но в самой глубине души знал, что его время прошло: «Они не возвращаются»... Но в этом глубинном неверии он не признавался даже самому себе.

А складывалось на спартакиаде для него хорошо: Валдманис, нынешний чемпион, вообще не приехал — травма плеча, и такая, что неизвестно, сможет ли когда-нибудь выступать; Рубашкин — у него сейчас рекорд в сумме — прикатил, но этот рекорды на мелких соревнованиях снимает, а когда настоящая борьба, выглядит бледно: воля не та. Опаснее всех Шахматов: и силен, и честолюбив, но молод; молодой всегда может сорваться. Да и специальность у Шахматова для штангиста несерьезная: на физическом факультете парень учится, и, говорят, учится всерьез, не просто числится, как все мастера из студентов. До сих пор Сизов о штангистах-физиках не слышал; альпинизмом физики занимаются, теннисом, водные лыжи любят — всё виды красивые, на интеллигентный вкус, но штанга?! Сизов был уверен, что всякие формулы, с которыми имеет дело Шахматов, должны как бы изнутри подтачивать его силу и в решающий момент интеллигентская мягкотелость скажется непременно: спорт-то у них жестокий, один на один с железом, и никаких сантиментов.

Ионьч отложил веник и теперь осторожно разминал мышцы на спине. Сизову хотелось есть, но еще боль-

ше — пить: уже два дня он обедал без первого, а о компотах и чаях говорить нечего. Сгонку он никогда не любил, но последнее время она стала даваться особенно тяжело. Конечно, три кило не так уж много, есть ребята — и по шесть сгоняют; но сгонка в двадцать пять лет — одно дело, а в тридцать три — совсем другое... А ведь наступит когда-нибудь спокойная жизнь: ни сгонки, ни тренировок шесть раз в неделю. Только, хоть убей, не мог Сизов представить себе эту проклятую спокойную жизнь! Он еще только по коридору идет — и вдруг из зала звон брошенной штанги. Да для него этот звон все равно что для другого песня жаворонка над родным полем! А запах растирок в раздевалке — никакое сено не сравнится! Да просто надеть штангистский пояс — широченный пояс, настоящий корсет, спрессованный из трех слоев самой толстой кожи, — уже удовольствие! А штангетки — за них все модельные туфли отдать не жалко, что иностранные, что скороходовские, — такая в них надежная опора под пяткой чувствуется.

Выбор спорта всегда чуть-чуть случайность. У Сизова была врожденная координация, так что ему разные виды легко давались — имел разряды и по прыжкам, и по волейболу, и по гимнастике. Ради Ионыча он штангу выбрал: отца не было, на фронте погиб, так Ионыч стал вместо отца — школу бросить не дал, помог выпутаться из одной хулиганской истории. Так что будь Ионыч в свое время футболистом... Но совсем не стать спортсменом Сизову было невозможно. Потому что какой спорт ни возьми, суть везде одна: бороться и победить! А сколько Сизов себя помнил, всегда он рвался быть первым; когда его валили мальчишки на два-три года старше, он плакал от обиды и лез драться уже не по правилам, тогда его били, но ни разу он не бежал... Хотя совсем маленьким был, конец блокады помнил — уродливое синее тельце с огромной головой отразилось

в зеркале; наверное, в этот момент и зародился будущий идеал и будущая страсть: стать сильнее всех...

Блокада кончилась, но еще в шесть лет у него был такой рахит, что доктора предсказывали инвалидность. Хотел бы он сейчас показаться тем докторам... Теперь, когда он слушает рассказы матери о своем детстве и с гордостью видит, каким он стал (а он имеет право гордиться, потому что вылепил себя сам), он все больше укрепляется в мысли, что человечеству тренеры нужнее, чем врачи. Если бы каждый человек регулярно тренировался, больным неоткуда было бы братья, из всей медицины остались бы акушерство и травматология. Сизов часто в шутку говорил, но про себя верил всерьез, что когда кто заболел, тот сам и виноват: грипп — плохо закаливался, желудком страдает, камни в печени — ест неправильно; сердце, гипертония — мало двигается, физически не работает; рак — от курения и неправильной жизни; ну и все вместе от нервов... В чем слабость врача — он делает человека пассивным: глотай таблетки и выздоровеешь, врач работает за больного, а тренер нет, тренер заставляет работать самого. Ну а что активность, работа всегда морально выше пассивности, безделья, — в это Сизов верил свято.

— Ну-ка давай, Юра, сбегай на весы.

Блаженная прохлада в предбаннике! Ионыч осторожно подвигал влево маленькую гирьку. Ну, ползи же еще! Нет, остановилась.

— Триста грамм лишних. Да, хорошо бы взвешивание хоть у Рубашкина выиграть. Шахматов-то легкий. Давай назад.

— Обожди, Ионыч, посидим пять минут, отдышимся.

Дверь открылась, и в предбанник вошла еще одна пара: Шахматов со своим тренером Гриневичем. Кому повезло, так это Коле Гриневичу: едва начал работать, сразу отхватил такого ученика. Был в свое время чемпионом Москвы, а в Союзе выше третьего места не подни-

мался. На два года моложе Сизова, но уже бросил. Да и когда выступал, больше нажимал на учебу в инфизкульте. И пожалуйста, уже получил заслуженного за Шахматова, в федерации ценится, с Кораблевым, тренером сборной, лучшие друзья.

Тренерская работа — лотерейная. Попадетя талант — выиграл. Потому что из ничего никакой тренер чемпиона мира не сделает. До посредственного мастера можно любого парня довести, лишь бы старался, а дальше — талант.

Сизов Гриневичу не завидовал. Лучше быть заслуженным мастером, чем заслуженным тренером, так он считал. Потому и здоровался чуть снисходительно:

— Привет, Коля. Процветаешь? Пятку больше не чешешь?

У Гриневича была смешная привычка: возьмет вес, штанга еще над головой, а он обязательно левой пяткой правую почешет. Тренеры ругали, травмами грозили, а он свое. Публике этот трюк нравился. Артист!

Но и Гриневич смотрел на Сизова чуть-чуть свысока.

— Привет ветеранам. Чего сидишь без дела? На пуп медали дожидаясь?

Зато Шахматов здоровался с почтением, руку жал старательно:

— Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Как форма?

Сизов поморщился: невоспитанный парень, хоть и интеллигент, — не понимает, что нужно обращаться на «ты» и по имени: раз вместе на помосте работают, значит, равны. Или нарочно возраст подчеркивает? А красивый, черт. От девчонок небось отбою нет. И смотрит весело, победителем.

2

— Достоянная смена пришла! — закричал с верхней полки Реваз. — Гармоничная личность, сочетание физического и духовного!

— Не издевайся, Реваз,— кротко попросил Шахматов, протягивая руку.

— Какие издевательства, о чем говоришь? Пашка Великин в «Совспорте» пишет, а я цитирую. Зря он не пишет, что ты типичный славянин. Как Добрыня Никитич на картинке... Слушай, ты не знал Спартака Мчелидзе?

— Где ему,— махнул рукой Гриневич.— Спартака я едва знал, а Володя тогда пешком под стол гулял.

— Конечно, где тебе Спартака знать. Похож ты на него чем-то.

— На Спартака или на славянина?

— На обоих.

— Насчет славянина точно,— подтвердил Гриневич.— Тут мы с ним как-то в городскую баню пошли. Банщик как увидел, прямо заголосил: «Жив русский народ!»

— Знаешь, Коля, чем он на Спартака похож? Выражением лица. Тот тоже большой интеллигент был, не терпел никакой грубости. Раз сидим с ним в ресторане, о килограммах говорим, о Бобби Гофмане. Вдруг пьяный с соседнего столика: «А-а, спортсмены! Знаю вас! Все вы шпана!» Спартак спокойный был человек, говорит: «Не надо волноваться, дорогой, замолчи». А морда у пьяного известная, киноартист! Жалко, фамилию забыл. И не унимается: «Хулиганы вы все, куски мяса!» Спартак спокойно так встал, подошел медленно, выдернул из-за стола, рукой за шиворот, другой за штаны, донес до выхода и такого пенделя дал — сквозь три двери летел. Сидим дальше, вдруг официант забегал: «Клиент... где клиент?» А Спартак: «Не шуми, золотой, нам в счет поставишь». Справедливый.

— И ничего? Все-таки артист.

— Чего артист? Спартак тогда сам — чемпион мира. Володе история про Спартака понравилась.

В детстве Володя силой не выделялся. Он рос типичным профессорским сыном: начитанным, не по возрасту ироничным и хилым. Во двор гулять не ходил: не то что он прямо боялся дворовых мальчишек, просто ему с ними не о чем было говорить; но где-то в глубине души и боялся тоже. Ходили к нему в гости такие же профессорские дети, и спортивный дух проявлялся только в гонках: кто больше прочтает. Лидировали попеременно то Володя, то Стасик Кравчинский, любимец мамы, потому что он изучал не один язык, как Володя, а два. Володя доказывал ей логически, что вся техническая литература на английском языке, поэтому тратить время на французский — роскошь, но мама плохо поддавалась логическим доводам, она мечтала, что сын будет читать в подлинниках классиков (она не решалась сказать вслух — Мопассана). И не было бы теперешнего Владимира Шахматова, международного мастера, если бы не Петька Колбасник.

Володя вообще очень ярко помнил детство, и Петька Колбасник до сих пор стоял как живой перед глазами: долговязый чернявый мальчишка с огромными нахально вывернутыми губами. Учились они тогда в шестом классе. Петька, впрочем, одолевал шестой класс со второй попытки.

Володя прекрасно помнил, что именно в тот день он впервые взялся за Плутарха. Звучало красиво: «Я принялся за Плутарха». Перед обедом он прочитал жизнеописание Цинны (другой бы начал с прославленных Цезаря или Помпея, но Володю заворожило загадочное имя Цинна) и, сунув книгу в портфель, пошел в школу во вторую смену. Володя был отличником, но не был зубрилой, поэтому на первом уроке он читал под партой про Цинну. Читал и представлял лицо Стасика Кравчинского, когда тот услышит, что Володя одолел Плутарха. Нет, Стасик вида не подаст, что проиграл очко, скажет снисходительно: «За древности я примусь как-

нибудь в деревне на досуге. Сейчас я занимаюсь симво-
листами. Что ты думаешь о влиянии Соловьева на Бло-
ка?» Где еще найдешь таких образованных шестиклас-
сников?..

На перемене подошел Петька Колбасник, уверенно,
как свою, выдернул книгу из рук, прочитал почти по
складам:

— Плут-арх... Плут, значит, по-нашему. Хорошее
чтение для Профессора.— Володю с первого класса про-
звали Профессором.— Читай, пока не ослеп, дело твое.

И он швырнул Плутарха на парту. Тяжелый том
скользнул по крышке и шлепнулся на пол. Володя под-
нял молча, увидел порванную суперобложку.

— А я к тебе по делу, Профессор. Будешь мне сле-
дующий месяц завтрак приносить,— как ни в чем не бы-
вало продолжал Петька,— твое дежурство. Я колбасу
докторскую люблю (за это его Колбасником и прозва-
ли). Смотри, дома кулек не забудь, чтобы фотокарточ-
ку тебе не испортить. Я вашего племени пятерых одной
рукой скручу, хилых интеллигентов.

Дети из хороших семей покорно носили ему завтра-
ки, потому он и сказал: «твоя очередь». В том, что он
облагал данью не одного какого-нибудь несчастного, но
всех по очереди, было даже какое-то зачаточное созна-
ние справедливости. Он действительно был силен для
своих лет.

Сила силой, но ведь не всех Колбасник облагал! Ва-
лерка Толкотня был ничуть не сильнее Володи, но к
нему Петька никогда не привязывался. У Валерки
отец — моряк, и это его выделяло: Валерка с пеленок
усвоил высокие понятия о чести, и если его задевали,
бросался в драку, не считаясь с силами обидчика.
А Володя боялся боли, боялся, что разобьют нос или
глаз, и другие интеллигентские дети боялись боли,
слишком высоко ценили свою физическую неприкасае-
мость, точно у них не носы, а хрустальные рюмки. Петь-

кины данники рассуждали здраво: глупо драться, если тебя заведомо побьют, и покорялись.

Володя тоже рассуждал всегда спокойно и здраво. Он понимал, что глупо бросаться в драку, точно зная, что больно побьют. Но он остро чувствовал унижение, которое его ожидает: таскать неучу бутерброды! Первый раз благоразумие столкнулось с гордостью. И он первый раз пожалел, что не может дать сдачи; первый раз понял, что бывают ситуации, когда весь его Плутарх — ничто против обыкновенного пошлого кулака: Дома у Шахматовых физическая сила не ценилась совершенно, даже наоборот — третировалась как нечто низменное, противоположное Духу. Отец, профессор математики, имел обыкновение, увидев бегающих по двору мальчишек, бормотать презрительно: «Футболисты растут». Отец забыл, что великий Бор как раз был футболистом. Классным. Матери простительнее, она могла этого вовсе не знать. Она окончила текстильный институт, но никогда не работала.

Рассказать о Петькином ультиматуме родителям Володя не мог: отец пошел бы прямо в горно — он всегда ходил высоко; мать стала бы изобретать немыслимые бутерброды, только бы Петька был доволен и не трогал ее Володеньку. Всю ночь Володя ворочался. И странно: злился он не столько на Петьку, сколько на отца с матерью. Валерка Толкотня хвастался, что отец сам учил его драться и такие приемы показывал, что и восьмиклассник никакой не сунется... На другой день он пошел в школу без дани.

Петька подошел на первой же перемене. Володя хотел выскочить из класса и бежать не оглядываясь, но не мог пошевелиться. Да и к чему?

Вывернутые Петькины губы противно блестили.

— Выкладывай скорей, Профессор. Да, смотри, лежалую не суй.

Володе хотелось крикнуть Петьке в лицо что-нибудь

злое и веселое, но он только выдавил с трудом, виновато отвернувшись:

— Не буду я носить.

Петька даже как будто огорчился:

— Ну тогда придется поучить.

Он не спеша, уверенно схватил Володю за волосы, пригнул вниз и стукнул лицом о крышку парты. Не очень сильно стукнул. Он унижал, а не причинял боль.

Многие еще были в классе, но Володя знал, что никто не подойдет: один на один, все по закону.

— Будешь носить? Будешь?

И с каждым «будешь» Володя ударялся носом о тетрадь по русскому языку.

Володя сам не ожидал, что ударит Петьку ногой. Он ведь с самого начала понимал, что сопротивляться бесполезно и опасно. Но ярость, какой он не подозревал в себе, точно взорвалась в голове, затуманила мысли, и он ударил Петьку ногой, не соображая, что делает. Это было как припадок — припадок страха и ненависти. Володя не видел ничего вокруг, не чувствовал боли, он бил, бил, бил — бил руками, ногами, головой; большинство ударов приходилось в парту, но иногда он чувствовал под кулаком костлявое Петькино тело, и каждый такой миг был мигом наслаждения. Сколько-то времени они колотили друг друга, потом Петька отскочил, Володя бросился за ним, споткнулся о чей-то портфель, упал, вскочил, снова бросился.

— Держите,— кричал Петька,— держите, он псих!

Вечером мама была в истерике, хотела раздеть его догола, чтобы осмотреть («на нем живого места нет!»), но он уже стыдился перед матерью своей наготы, а она и не заметила, что сын вырос.

На другой день Володя купил гантели — свои деньги у него водились с первого класса, так что спрашивать разрешения ни у кого не пришлось. Он размахивал гантелями с такой страстью, с какой до сих пор учил англ-

лийский. Тело его оказалось восприимчивым к нагрузкам, оно жадно впитывало работу, как пересохшая глина — воду.

Через год он мог поколотить Петьку Колбасника одной рукой, но это уже не казалось заманчивым. Втайне он уже мечтал о рекордах и о том, как девочки будут на него на пляже оглядываться.

В секцию он попал в седьмом классе. Увидел в окне объявление и зашел. Был уверен, что выгонят: где-то читал, что штангой раньше шестнадцати лет не разрешают заниматься. Не выгнали. И не в том дело, что успел за год мускулы накачать, — просто Кузьма Митрофанович брал всех, даже самых тощих мальчишек. Ребята звали его дядей Кузей.

В наш век специализации спорта второй такой секции, как у дяди Кузи, наверное, и не найти: занимались рядом мальчишки, из которых неизвестно выйдет ли толк, и мастера, в том числе два чемпиона Москвы; мужчины за сорок, которые уже бросили выступать, но не могли не таскать железо, и молодые люди, которые никогда не выступали и разрядов не делали, — просто для здоровья подымали свои восемьдесят — девяносто кило. Дядя Кузя был рад всем, а что касается здоровья — считал, что штанга полезна во всех возрастах и при всех болезнях. И его многолетняя практика как будто это подтверждала. Под крылом дяди Кузи все жили дружно, чемпионы не третировали культуристов, постоянно стоял веселый треп, подначивали друг друга, спорили, кто что поднимет (единицей выигрыша почему-то было мыло, и раз Коля Гриневиц за три куска «Красной Москвы» снял мировой рекорд). Сам дядя Кузя не был похож на того тренера, какого показывают в кино и по телевизору, — отутюженного брюнета с проседью, волевого, динамичного и почему-то с неопределенной грустью в глазах. Массивный дядя Кузя большую часть времени просиживал в углу на скрипучем стуле, не пи-

сал для своих ребят громоздких планов, не прокручивал кинограмм; иногда вдруг встанет, пройдет: «Плечи больше вперед, таз отводи», возьмет гимнастическую палку и, не снимая бесформенного пиджака, покажет движение; а то спросит: «Сколько подходов сделал? Ну еще три, и хватит. Хватит, говорю, я лучше тебя знаю!» И при такой внешней небрежности появлялись своим чередом новые мастера, а Колю Гриневича даже приглашали в сборную.

Володя двигался быстро. В пятнадцать лет у него был третий взрослый разряд — в штанге это немало. Через год — второй. Он гордился собой. Маленький зал дяди Кузи помещался в полуподвале Дома культуры — штангисты почти всегда в подвалах занимаются: никакое перекрытие не выдержит, если на него будет постоянно валиться пудов по десять. Наверху часто устраивали вечера, и тогда у входа Володю встречали молодые люди в черных костюмах с повязками на рукавах. Молодые люди интересовались его билетом, Володя взмахивал спортивной сумкой, говорил: «На тренировку» — и презрительно шел сквозь шум джаза и винный дух в свой родной подвал. Он с первого дня стал фанатиком режима: не курил, не пил ни капли, и в этом тоже была его гордость, его избранность.

А мама ужасалась. Она скрывала увлечение сына от знакомых, как позорную болезнь: сын профессора Шахматова поднимает гири! Отец иронизировал:

— Любопытно, о чем ты беседуешь со своими атлетическими коллегами? Ведь бывают у вас перерывы между, как бы это выразиться... поднятиями. Надо же тогда какими-то мыслями обменяться.

Отец был свято уверен, что только вкусы его круга почтенны, только темы, у них принятые, интересны. А Володя принимал все: с одинаковым увлечением он обсуждал только что вышедший роман Фолкнера и смеялся тренеру в «Торпедо».

У них в подвале все время орало радио. И только когда начинали играть серьезную музыку, дядя Кузя говорил:

— Выключи ты этого Бетховена.

Будь на месте Володи Стасик Кравчинский, он бы уточнил вежливо: «Вы имеете в виду Шопена, экспромт номер три соль бемоль мажор?» И это «соль бемоль» прозвучало бы хуже матерного слова.

Володя достаточно насмотрелся на молодых людей, щеголяющих эрудицией перед старушками в трамвае. Сам он любил и Шопена, и Бетховена, и дядю Кузю, который не выносил первых двух. У каждого человека есть сильные стороны, ими он и интересен: нужно быть полным идиотом, чтобы беседовать с дядей Кузей о модернизме, а со Стасиком о спорте.

Кстати, сильная сторона Стасика его начинала раздражать. Стасик хоть и добрался уже до древних, но любовью его остались символисты:

Идем творить обряд. Не в сладкой детской дрожи,
Но с ужасом в зрачках — извивы губ сливать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незванная, как тать...

Стасик восторгался. Ему нравилась болезненность. Он, кажется, искренне верил, что жизнь — мука для чувствительной души. Из фильмов он признавал только томительно-скучные, вроде «Затмения»: «Ах, Антониони!» Володя культа неврастении не выносил, и если попадалась книга, где автор ныл, что родиться на свет — всегда несчастье, бросал сразу. Надо писать, как люди калечат жизнь друг другу, но когда для писателя и поцелуй любимой — мучение, и восход солнца — боль, лучше бы ему доживать в тихом и уютном сумасшедшем доме. Может быть, это неизбежный путь: начинается снобистским презрением ко всему яркому, грубому, телесному, стремлением уйти в чистые сферы духа, а

кончается духовной импотенцией, да и физической, как Володя подозревал, тоже.

Успокоились за его будущность родители, когда он поступил в университет на физфак. Ребята в секции за- уважали страшно; Володя раз случайно подслушал, как всерьез рассказывали, что ему диплом за кандидатскую зачтут, а в двадцать пять лет он станет доктором и член-кором. Ерунда, конечно,— кто хочет в двадцать пять лет стать доктором, не должен пять раз в неделю по четыре часа тренироваться; без хвостов учится, и то спасибо, а вот кем станет — еще вопрос. Спорт легко не отпускает. Майоровы закончили МАИ, но работают тре-нерами, а не инженерами.

Правда, иногда Володе казалось, что в нем дремлет настоящий теоретик — не меньше Гейзенберга или Ди-рака — и стоит ему взяться за науку с той страстью, какой научил спорт, он откроет ту самую систему эле-ментарных частиц, без которой уже начинает буксовать физика. Но он откладывал штурм микромира на потом, ему даже думалось, что есть скрытая связь между штангой и превращениями мезонов, и, замахиваясь на рекорды, он непостижимым образом одновременно сры-вает покровы с тайн природы. Ведь открытие — воп-рос характера тоже, а рекорд — на сто процентов ха-рактер.

Коля Гриневич закончил инфизкульт. Ему дали ма-ленький зал при торговом центре (не в подвале!), и он стал набирать группу. С Володей завел разговор еще перед защитой:

— Знаешь, старик, переходи-ка ты ко мне. Дядя Ку-зя себя исчерпал. Тебе научная методика нужна, сразу килограмм двадцать по движениям прибавишь. Он же в современных нагрузках не смыслит, поднимает по на-строению. Я по себе скажу: почему в люди не вышел? Потому что дяде Кузе выше головы не прыгнуть. Нику-да не денешься: семь классов, восьмой — коридор.

У меня настоящий порядок будет: взрослые отдельно, пацаны отдельно, культуристов вон!

Что Гриневиц полная противоположность дяде Кузе, было известно давно. Уж он-то составит план до мелочей, все подходы распишет. Гриневиц еще учился, когда в недрах дяди Кузина подвала сколотилась как бы подпольная группа: многие начали тренироваться по планам Гриневица, заглядывали тайком в тетрадки. Дядя Кузя все замечал, и наконец они разругались, Гриневиц в глаза обозвал дядю Кузю ретроградом и ушел хлопнув дверью. Впрочем, он уже знал, что ему есть куда уйти: подоспел диплом, свой зал в торговом центре, и группа Гриневица легализовалась. В подвале дяди Кузи стало просторнее.

Володе трудно было решиться. Дядю Кузю он любил, да и тренер он хороший, технику знает досконально, куда там Гриневичу. Но ведь и правда: ни одного чемпиона страны дядя Кузя не сделал, не говоря уже о Европе и мире. Может быть, потому и не сделал, что нагрузок боится? Володя и до разговора с Гриневицем несколько раз пытался увеличить нагрузки, но дядя Кузя не давал.

Решающий разговор состоялся, когда Володя с юниорского первенства вернулся с десятым местом.

— Стыдно мне, понимаешь, стыдно! (Дядя Кузя не чинился: кто старше шестнадцати, все с ним на «ты».) Такие же ребята, как я, международника делают! Потому что за год в три раза больше поднимают, на предельных весах работают.

— Пусть. Зато и ломаются рано.

— Раньше так все говорили, а теперь в какой вид ни посмотри — помолодел. Время такое. Сейчас все быстрее созревает, наука доказала: акселерация!

— Ты разными словами не бросайся. Мало, что ли, я таких видел: в двадцать международник, в двадцать

два — нуль. Все равно как почву можно свести: сегодня рекорд из нее выжать, а завтра ветром выдуло. На результат ребяташек натаскивают, и все. Тебе еще года три спокойно поработать, чтобы фундамент как скала был, а потом на результаты пойдешь.

— За три года знаешь куда уйдут! В твое время рекорды по десять лет стояли, а сейчас зазевался — и привет. Поезд ушел.

С Гриневичем работа сразу пошла другая. Дядя Кузя обиделся, едва здороваается, и зря. Володя ему по гроб жизни благодарен. Но что поделаешь, если дядя Кузя чему мог — всему уже научил. Результаты сами за себя говорят: Кораблев, тренер сборной, по плечу хлопает. Еще бы не хлопать, когда сегодня Володя основной претендент. И все наука: вовремя форсировать тренировки, вовремя сбросить интенсивность, вовремя протеин глотать с анаболом.

Валдманис на спартакиаду не приехал: плечо потянул или даже порвал, неизвестно, когда на помост вернется. Конечно, без Валдманиса выиграть легче, но и победа будет неполная, всегда могут сказать: «Вот если б Валдманис выступал, уж он бы...» А Володя чувствовал, что в такой форме, как сейчас, он бы и Валдманиса побил. Так что лучше бы он приехал. А так у остальных выиграет, и все-таки будет не первым номером, а полуторным.

Из тех, кто приехал, Рубашкин котируется. В чемпионы рвется, это точно. Зато и разыгрывали его на сборах. У Кораблева язва, он викасол принимает. Рубашкин увидел и спрашивает: что за таблетки? Ну кто-то и скажи: от них сила растет в три раза! Рубашкин без лишних расспросов бросился в аптеку, потом еле уговорили не глотать, твердил: боитесь, что сильнее всех стану, завидуете! Володя с ним только что здороваается. Честно говоря, вообще легче дружить с ребятами из других весов, но все-таки принято с соперником дер-

жаться по-приятельски, а Рубашкин, как встретились первый раз, отрезал:

— На фиг ты мне нужен. Только поперек дороги стоишь.

А через пять минут подкатился как ни в чем не бывало:

— Слушай, ты на предельные веса часто ходишь или, как Вася, с малыми работаешь?

И улыбка гаденькая...

Коля Гриневич хлопнул последний раз по спине, и Володя встал. Он любил легкую сгонку. Такое после нее ощущение — хоть грузовик поднимай! Володя потянулся было к ручке двери, но дверь открылась сама — вернулся Сизов. Володя сентиментальной жалостью к соперникам не страдал, а тут пожалел: мучается старик. Только подумать: еще три года назад царь и бог был.

3

Теперь на верхней полке страдал Сизов, а Реваз лежал внизу — отдыхал. Оба думали о Шахматове: молодой и легкий Шахматов сейчас в холодке книжку по физике читает.

Открылась дверь, и показался Рубашкин. Его сразу можно было узнать по фигуре; мускулы не лежали широкими пластами, как у других штангистов, а перевивались жгутами, так что он был похож на ствол саксаула.

— Те же и рекордсмен! — закричал Реваз. — Подпольная кличка Интеллект.

— Привет всем, — с важностью сказал Рубашкин.

Вслед за ним в баню проскользнула уродливо тощая личность с венником.

— Как дела, Интеллект? Все к Зойке ходишь?

— Подумаешь, Зойка. У меня в комнате две недели киноактриса жила, пока у нее натура снималась. В Кивев звала.

— Врешь ты, Интеллект. Нужен ты актрисе.

Рубашкин действительно соврал, потому особенно обиделся:

— Зачем мне врать? У меня таких знаешь!.. «Не нужен...» Еще как нужен, если женщина понимающая! Вот и Лёсик скажет.

Тощая личность начала кивать головой и кланяться.

— Жила, еще как жила, товарищ хороший, не знаю, как называть. Весь город скажет.

— Что за холуй с тобой?— удивился Реваз.

— Да это ж Лёсик...—И не стал пояснять, мол, и так все ясно.

Рубашкин любил, когда ему услуживали, а главное, когда его уважали. Рекордами многие восхищаются, а вот уважать по-настоящему... Лёсик уважал — полностью выговаривал красивое имя Рубашкина: Персей Григорьич. И не улыбался ехидно, как некоторые. И в Москву за свои деньги приехал. А про актрису Лёсик без всякой подковырки подтвердил, хихикать потом не будет: раз Персей Григорьич говорит, значит, полная правда.

Рубашкину обидно было признаться, что у него, кроме Зойки, нет никого. Как-то раз он зашел на вечер в медучилище. Было скучно, хотел уходить, вдруг разговор слышит:

— Зойка-то! Сама чумичка, а платье — застрелись.

— А что ей? Массажиха! Спину пошкрябает, враз три рубля.

Рубашкин тотчас протиснулся к Зойке: он недавно слышал от умного человека, что массаж дает силу.

Зойка была некрасивая: широколицая да рябая — и это облегчило дело. Первый же раз, когда пришел к ней, попросил:

— Слышь, я после тренировки как каменный. Разомни, а?

Она, дурочка, обрадовалась, что еще чем-то может

услужить. Конечно, он себя ронял, что с такой уродиной связался, но зато массаж шел на пользу, и про заработки ее тоже правду сказали: когда перед авансом деньги кончатся — Рубашкин загуливал после получки, так что обязательно кончались, если не на сборах жил, — она и кормит, и маленькую поставит, а отдавать не надо. Леньке-боцману, что в загранку ходит, специально заказала, он тренировочный костюмчик привез — ребята от зависти корчатся: вишневый, по лампасам три золотые полосы и вдоль рукавов тоже — АДИДАС! Так что рожу ее страшная окупается, так на так выходит. Конечно, выиграет он через год Олимпийские, и тогда Зойку прогонит: чемпиону она не пара. Переедет Рубашкин в Москву или в Киев — где лучше условия предложат — и женится на гимнастке из сборной. Пусть в газетах фотографию напечатают: он в черном костюме, а она первая красавица (в сборную одних красавиц берут), вся в белом платье и сторублевый букет в руках.

Она с букетом, а он с электрогитарой, чтоб знали: Рубашкин не только в подъемные краны годится. Рубашкин немного пел, голос не ахти, он и сам знал, да сейчас и на эстраде половина певцов безголосые. А он сам иногда песенки сочиняет. Про штангу — многим ребятам понравилась, слова просили списать:

Блины у нас горячие
По двадцать килограмм...

Даже на вечере выступил. Многие не поняли, что блины — это которые на штангу надеваются, подумали, рекордсмены столько едят.

Рубашкин числился сварщиком на судостроительном заводе, поэтому журналисты называли его корабелом. «Богатырские рекорды корабела» — красивый заголовок.

Родился-то он под Омском. Дед переселился из-под Курска, полиция им интересовалась, так он заодно и фамилию новую взял — по дороге у цыгана выменял.

Рассказывают, подковы гнул (дед, а не цыган). И вся их порода в деда — крепкая. Сам Рубашкин в праздники даже старших ребят бил. Пятнадцать лет было, отец семью в город перевез. Там и узнал про спорт: чем ради синяков драться, можно боксом, и будет тебе вместо милиции почет и уважение. Но не пошел бокс: пьяным на ринг не выйдешь, а трезвому страшно, когда мимо уха кулаки, как камни, свистят. Изобьют за почет хуже, чем в деревенской драке. Как нос сломали, сразу бросил. Тут тренер по штанге и сманил. В штанге без нокаутов. Тоже, правда, травмы бывают... Школу он бросил. После шестого класса. Ни к чему. Профессор из него не выйдет, зачем же стараться. Бросил и не жалеет. Спорт теперь лучше института человека поднимает.

С дипломом одно лучше: получил и загорай. А в чемпионах не позагораешь: того и гляди догонит желторотый какой-нибудь. Догонит и отпихнет. Каждый пытается дорогу перебежать, каждый норовит в чемпионы! Ну чего Шахматов лезет? Разве его это дело? Стал бы, как папа, профессором. Хорошо, хоть Валдманис кончился. Год точно выступать не будет, а может, и вообще завяжет. Валдманис — парень не подарок: здороваается вежливо, а глядит так, словно ты перед ним тля, словно он одной левой выиграет. И выигрывал. Уверенностью брал. Рубашкин от одного его вида килограмм по десять недобирает.

Только что по пути в баню в коридоре встретился Сиганов, земляк. Сиганов — судья, сегодня вечером старшим тройки сидеть будет. Вообще-то он тренер, но судьей ездит.

Да, сегодня золото обеспечено: Валдманиса нет, судья надежный. Вот только гнать много приходится. Рубашкин со злобой посмотрел на Сизова и Реваза: ишь, мясá отрастили, таким сгонять что в пинг-понг играть! Тело Рубашкина было жесткое, крестьянское, лишнего мяса не было — с костей гнал!

— Ну чего колотишь! — напустился на Лёсика. — Ты маши, маши, чтоб обдуло жаром. Пот и пойдет.

Других тренеры парят, а Рубашкина Лёсик. Обидно. С Сизовым и то тренер возится. А что тренеру в Сизове? Все, что мог, Сизов уже дал, а нет, парит, старается. А Рубашкина Кавун на Лёсика бросил. Рубашкин сегодня спартакиаду выиграет, потом чемпионом мира будет, олимпийским — вот где счастье тренеру: звания, поездки, а он не хочет венником помахать. Другой бы на Рубашкина молился, пыль сдувал, ботинки чистил! Ничего, вот выиграет и сразу — в Киев или в Москву. И пошел Кавун к бесу.

Рубашкин давно понял, что Кавун его не любит. Из Омска ради одной своей корысти переманил. Иначе зачем насмешки устраивать? Подойдет кто-нибудь из молокососов в зале и спросит: «А как Персей Андромаху спас?» А Кавун смеется. Вот бы почувствовать, что любит тебя кто-то, только чтоб настоящий человек, не такой, как Лёсик, — совсем бы другая жизнь! А тут — когда не насмешки, тогда воспитание. Кавун новое дело придумал: сборы устроил, кустарные, от завода. Повара нет, готовить по очереди. Пусть перворазрядники кухарят, а он международный мастер! Вся политика — чтоб перед мальчишками унижить. Те и рады. Батькой Кавуна зовут. Дурак ваш Батька, нашел чем прельстить: сборы от завода.

Рубашкин потянулся, сел.

— Ладно, Лёсик, отдохни.

Сизов лежал на нижней полке, отдувался. Рубашкину захотелось поговорить по-человечески: все равно ведь этот не соперник. Он уселся рядом с Сизовым, сказал по-дружески откровенно:

— Дурак ты, что не завязываешь. Куда тебе за нами. Я б на твоём месте...

— А я б на твоём месте на мать обиделся: зачем дураком родила.

— Ну ты, не очень! Я тоже могу!

— Что ты можешь? Трус ты!— Сизов встал.— Я тебе по роже дам, а ты утрешься!

— Видали таких! Помост покажет!

Сизов повернулся и пошел к двери.

Рубашкину было обидно: ведь он с хорошим чувством подошел, посочувствовать хотел. Вот всегда так.

— Раскричался старик. Что я, неправду сказал? Думаешь, заслуженный мастер!

— Сизов парень ушлый,— отозвался Реваз.— Он тебя еще надерет, дорогой.

— Будем посмотреть, как братья Ильфы писали,— сплюнул Рубашкин и победительно посмотрел на Ревазу.

4

Лена не любила смотреть штангистов, самый спорт этот не любила, но Юра очень просил приехать, и она приехала. На работе отнеслись с пониманием: муж заслуженный мастер, как не пойти навстречу!

Быть женой Сизова — совсем особое положение. Сослуживцы и просто знакомые не решаются даже мимоходом ухаживать: еще бы, куда им против НЕГО! Подруги смотрят с завистью: настоящего мужчину отхватила! А не так уж много радости с этим настоящим мужчиной: столько времени на сборах пропадает. Все равно что с моряком жить.

Лена, когда выходила за Сизова, не думала, что он станет чемпионом. Нравилось, что сильный парень. Ну ходит куда-то в секцию, разряд какой-то имеет — и прекрасно, лучше, чем водку пить. А потом пошло: поездки, первые медали. Сначала тоже радовалась. Но сколько можно? Уже и чемпионом мира был, пора бы остепениться!

Беда в том, что не может Юра остепениться. Страшно ему штангу бросить, потому что ничего другого он

в жизни знать не хочет. Сам-то он до сих пор о новых медалях поговорить любит, но Лена не верила: то ли ее обманывает, то ли себя. С Ионычем вдвоем навалились, еле заставили в физкультурный поступить. Теперь по вечерам после тренировки физиологию зубрит, ругается: «В нашем деле ни один профессор против меня не рубит». Книги про устройство человека он и раньше почитывал, интересовался, но ведь от бессистемного чтения толку мало! Лена признавала только систему. Ну, теперь вроде налаживается. Если не бросит. Он ведь такой: иногда упрется, и ни в какую — программа, скажет, неинтересно составлена, не хочу ради бумажки, Кулибин, скажет, диплома не имел. Как ребенок! Конечно, экс-чемпиону мира совсем пропасть не дадут, директором какого-нибудь стадиончика сделают. Но разве об этом она для него мечтала?!

Лена приехала с утра, но даже не подумала разыскивать Юру на базе, где жила команда: там на жен смотрят косо, по опыту знала. Пошла по магазинам да так завертелась, что едва успела к началу.

Для штангистов построили новый зал, трибуны на несколько тысяч. Перед входом билеты спрашивали. Скольким людям, оказывается, необходимо посмотреть, как будут железо над головой подымать. Значит, Юра все-таки нужным делом занят? Публика, правда, специфическая, от театральной толпы отличается: много широких плеч, толстых рук, больших животов. Женщины редки.

И другое есть отличие: какая-то особенная наэлектризованность в толпе. Ожидание. Перед началом спектакля такого не бывает. Наверное потому, что в театре все известно заранее: кто кого полюбит, кто над кем посмеется, — все автор расписал, а что в этом зале через час произойдет, никто не знает. Актер выйдет не в форме — все равно его герою пропасть не дадут, а сегодня здесь те, кто будет бороться за победу, выложат свое

вдохновение до конца, иначе провал. Вот и собираются тысячи людей — увидеть, на что способен человек на пределе вдохновения.

Лена почувствовала, что неожиданно для себя начинает волноваться.

Стараясь не наступать на ноги, она протиснулась на свое место, огляделась. Слева от нее оказалась парочка. Он очень серьезно втолковывал:

— Три разных упражнения, понимаешь?

— А в каком над головой поднимать?

— Во всех, но правила...

— Какая же разница, если всегда над головой?

Лена постаралась не слушать: не выносила этого капризного тона.

Сосед справа при появлении Лены оживился — он был один. Одет со вкусом, тонкое лицо, проседь. Какие-то неуловимые признаки выдавали в нем спортсмена; даже вид спорта можно было угадать: из тех, где приходится долгие километры терпеть, — лыжи, велосипед, длинный бег.

— Вы, девушка, пришли на Геркулесов посмотреть?

Лена чуть наклонилась к элегантному соседу и сказала очень тихо и раздельно:

— Я обойдусь без объяснений и комментариев. И я давно не девушка, а мой муж расправляется со всеми, кто ко мне пристаёт.

— О, извините, вы пришли одна, и я подумал...

— Муж занят там. — Она кивнула на не освещенный еще помост.

— Тогда еще раз буду нескромен: как его фамилия?

— Он тренер, — соврала Лена: не хотела, чтобы у соседа потом появился повод для сочувствий.

На ряд выше расположилась целая компания; молодые люди громко переговаривались. Слишком громко. Лене казалось, что они нарочно повышают голос, чтобы окружающие оценили их осведомленность.

— Рубашкину не светит: у него ноги слабые. Низко сел, и все.

— У кого слабые?! У него одна как три твоих!

— Я тебе говорю, слабые. И спина...

Включились разом прожекторы, загредел бравурный марш. Показались атлеты. Они шли друг за другом — в ярких трико, красных или синих, перетянутые широкими цветными поясами — они шли, отставляя руки, потому что неправдоподобные мускулы не давали рукам висеть свободно вдоль туловища.

Молодые люди сверху закричали:

— Володя, дави!

Парад раздражал Лену: ведь это не просто сильные ребята вышли — сильных на любом пляже полно, — нет, это шли влюбленные, влюбленные в свою силу. За каждым громадным бицепсом, за каждой мощной шеей годы и годы преданного служения Мускулу!

И только приглядевшись, видишь, как нелегко дается такое великолепие: у кого бинт на колене, кто эластический чулок на ногу натянул. Молодые ребята щеголяли обнаженными телами, те, кто поопытней, поддели фуфайки под трико.

Последним шагал Юра — меньше всех ростом в своем весе. У Лены нос защищало от нежности и жалости: оба колена замотаны, предплечье замотано. Под трико синяя фуфайка, как всегда: тепло сберегает. Сберегать тепло у Юры почти мания. Почему-то большие мускулы имеют свойство застуживаться, и Юра даже летом ходит в шерстяной рубашке, а спит всегда в теплом белье. Когда-то Лена любила гладить его удивительно шелковистую кожу, но давно уже во время объятий чувствует под ладонями только немецкое теплое белье.

Диктор, нет, не просто диктор, судья-информатор, знаменитый Аптекарь — он на всех чемпионатах объясняет зрителям происходящее своим характерным высоким голосом, — представил атлетов с полным перечисле-

нием титулов. Потом представил судейскую тройку и, наконец, дошел до апелляциянного жюри. Вот кто больше всех Лене нравился!

За длинным столом позади помоста сидели культурного вида люди, пожилые, с нормальными плечами, два профессора среди них, а в центре — знаменитый Громов, Герой Советского Союза (вот человек: когда-то был чемпионом по штанге, а потом прославился настоящей работой — Юре бы так!).

Снова зазвучал громкий марш, атлеты вернулись за кулисы, судьи уселись вокруг помоста, помигали красными и белыми лампочками — проверили аппаратуру, ассистенты развинтили новенькую штангу, сняли с нее лишние блины, и вот уже выходит первый участник.

Начинают всегда самые слабые. Эти Лену не интересовали. Она равнодушно смотрела, как первый с трудом взвалил штангу на грудь. Было видно, что ему тяжело: покраснел страшно, потом покрылся. Судья хлопнул в ладоши, атлет медленно, с натугой выжал штангу, дождался судейской отмашки и с облегчением бросил. Поднял-таки, молодец! Но зажглись почему-то три красные лампочки: не засчитали судьи, почему — Лена не поняла. Кто-то свистнул.

— Ногами поддал, — сказал знаток сверху.

— А кто не поддает? — возразил другой.

— Умеючи надо, чтоб судьи не видели.

Потом выходили другие — кто поднимал, кто бросал. Лена смотрела невнимательно, не различала лиц, так что даже не поняла, взял все-таки тот первый свой вес или остался с нулем, «забаранил», как Юра говорит.

Но вот Аптекарь объявил знакомую фамилию: «Шахматов», — Юра его упоминал. Значит, конкурент, значит, надо, чтобы не поднял. Вышел писанный красавец. Компания сверху закричала:

— Володя, дави всех!

Шахматов поднял легко и красиво — никакой нату- ги, никакого пота.

— Как палку,— сказали сверху.

Добавили маленькие диски и объявили еще одну знакомую фамилию: «Рубашкин». Тоже легко выжал, но куда до Шахматова — тот греческий бог, а этот ле- ший какой-то. И, наконец, вышел Юра, самый малень- кий сегодня. Но зато и плечи самые широкие!

Юра вышел медленно. Долго натирал ладони магни- зией, топтался в ящике с канифолью. Страшно, навер- ное, к такой громадине подходить!

Наконец над самой штангой остановился, постоял (о чем он думает? о своей Лене? о дочке? о медалях?), наклонился над штангой, присел — и рраз! — неулови- мым движением вздернул громадину на грудь. Но ведь он на корточках сидит! Просто так и то с корточек встать трудно, а тут десять пудов на груди! Посидел секунду и начал выпрямляться. Бугры вздулись на бед- рах — больно же! — и вот Юра уже стоит прямо. Штан- га чуть прогибается, и нагруженные концы ее ритмично покачиваются — вверх-вниз, вверх-вниз... Судья высоко поднял ладони, выдержал паузу и хлопнул. Юра откло- нился назад, и штанга полезла вверх. Вверх! Скорее бы! Есть!! Судья махнул, Юра аккуратно, без звона поста- вил штангу на место, слегка поклонился и пошел.

Лена вдруг почувствовала такую слабость и уста- лость, точно это она только что десять пудов подняла.

Зажглись две белые лампочки и одна красная. Поче- му? Раз две белые, все равно засчитали, но обидно: за что красная?

5

В большом разминочном зале стоял звон. Ребята ра- зогревались: подымали небольшие веса и небрежно бро- сали штанги с вытянутых рук — на соревнованиях пола-

гается опускать аккуратно, ну а здесь можно силы поберечь. Обычно разминочные штанги бывают старые, разбитые, со сборными блинами, но эти, новенькие, как и все во дворце, сияли красными необлупленными плоскостями. Согревшись, атлеты надевали теплые халаты или натягивали шерстяные костюмы, прогуливались между помостами в ожидании вызова. Среди синих костюмов выделялся Рубашкин — весь малиновый, с тройным золотым лампасом. Вдоль стены стояли раскладушки — некоторые между подходами любят полежать.

Кроме участников и тренеров, как всегда, масса лишней публики: знакомые, ветераны, вовсе неизвестные лица. Сквозь толпу уверенно двигался корреспондент «Советского спорта» Великин. Тренеры и ребята со стажем помнили его еще действующим мастером и звали попросту Пашкой. Великин был очень маленького роста, толстый, но не из тех быстрых маленьких толстяков, которые перекатываются, как шарики ртути. Он двигался солидно и, если бы его заснять в кино без масштаба, мог бы сойти за тяжеловеса.

Сизов отдыхал после подхода. Великин подсел.

— Ну что, старик, как сила?

— Да так себе.

Это означало, что сила есть. Редкий штангист скажет во время соревнований: «Силы много, чувствую себя отлично!» — суеверие не позволяет.

— Сделай ты их всех! Я за тебя болею. Я всегда за стариков. Молодые еще успеют.

— Жалеешь, что рано завязал?

— Чего мне жалеть. Все, что можно, я от штанги взял. Это ты для славы стараешься, а я от обиды на природу. Будь во мне сто семьдесят пять росту, близко бы к железке проклятой не подошел!..

(Великин с трудом натягивал сто пятьдесят один сантиметр, причем придавал большое значение последнему сантиметру: «Все-таки больше полутора метров!»)

— Вы своего счастья не понимаете. А силы мне теперь на всю жизнь хватит.

Неожиданно быстро он скинул пиджак, подбежал к штанге, схватил восемьдесят килограммов на грудь... и вдруг опустил руки, и штанга, балансируя, осталась лежать на выпяченной груди. Свободными руками Великин сам себе дал хлопок, подхватил штангу и выжал.

— Видал? Спартаковский жим!

Надел пиджак и снова стал степенным, даже чуть брюзгливым.

— Думаешь, это для цирка придумано? Тут все дело в хлопке. Я знал ребят, которые без хлопка вообще жать не могли. Никак им было без хлопка не собраться. А чуть хлопок, руки сами стреляют, помимо воли. Такому за обедом хлопни, он стол подымет. Тут и жизненная философия, правда? Иногда и на работе и везде хочется, чтобы тебе вовремя хлопок дали.

Сизов кивнул равнодушно. Он не хотел думать о постороннем. Он видел, что Шахматов встал с раскладушки и стягивает костюм: к подходу готовится. За Шахматовым сразу ему подходить. А большой вес не подыметь мимоходом, рассуждая о постороннем.

Перед подходом полезно шнуровку на штангетках проверить. По крайней мере у Сизова была такая привычка. Подтягивал шнурки, а сам смотрел на мизинец правой руки: последняя фаланга вся в мелких шрамах, раздвоенный ноготь растет — еще бы, одиннадцать швов наложили когда-то! В такси дверью прищемил. А ехал с девочкой, хорошая была девочка, медсестра. Вот когда собраться пришлось! Сизов всю жизнь крови боялся, вида шприца не переносил. Врачи всегда смеялись: «Такой здоровяк...» — а тут надо было марку держать, потому что жестокая была эта хорошая девочка: все прощала — то, что женат, то, что уедет скоро, но слабости бы не простила. Отвезла к себе в поликлинику и зашила сама. Без новокаина шила, сказала, кончился сте-

рильный, а он разглядывал палец, смеялся, анекдоты рассказывал. А она последний шов завязала, поцеловала палец и говорит: «Ну вот, на всю жизнь я на тебе расписалась». Только когда один остался, вспомнил иголки полукруглые — и в обморок.

Подошел Ионыч — он смотрел жим Шахматова:
— Как палку.

Великин сделал знак: мол, не надо при Юре, запугаешь, Ионыч отмахнулся:

— Юра не из таких. Злее будет.

Сизов встал, стянул тренировочную куртку. Хорошо Шахматову как палку жать: ему на пять кило меньше заказано. Нужно было обязательно оторваться от Шахматова в жиме: тот слишком силен в рывке. В динамике слышался голос Аптекаря:

«Юрий Сизов, второй подход».

Сизов прошелся вдоль раскладушек. Он еще не чувствовал того настроения, с каким надо идти на штангу.

Ему предстояло поднять вес, который он и не пытался одолеть на тренировке. Публика возбуждала его, на соревнованиях он каждый раз совершал невозможное.

«Сейчас они узнают,— повторял он про себя,— сейчас они узнают, как Сизова списывать! Сейчас узнают!»

Он повторял два слова как заклинание, и в нем поднималась злость, та злость, которая отодвигает слабость и усталость.

И почувствовал: пора!

У выхода Ионыч поднес склянку с нашатырем. Резкий запах был как удар.

Сизов быстро вышел на помост, взялся за гриф. Гриф новенький, злой; еще не стершийся узор впивался в ладони. Кожу жжет, зато хват крепкий.

На грудь взял хорошо. Старший судья развел ладони. Ждет. Ждет, гад!

Хлопок!

Гриф стальной, упругий, пять пудов с каждого конца прогибают его, и штанга дышит: вверх-вниз, вверх-вниз.

Сизов уловил момент, когда вверх, и, используя инерцию, включил руки: одновременно резко напряглись бедра — и штанга, поднятая совместным ударом рук и ног, оторвалась от груди и пошла вверх. Он выпрямлял руки, а сам откидывался назад, выгибаясь дугой, включая мощные мышцы спины и груди. Страшная тяжесть сдавливала позвоночник. И вдруг мгновенная кинжальная боль пронзила сверху вниз, задержалась в пояснице и рикошетом отлетела через ягодицу в бедро. Но штанга неудержимо шла вверх, и ликующее чувство победы заглушало боль. Руки выпрямились. Теперь стоять. Непременно стоять!

Судья дал отмашку.

Сизов аккуратно, как он всегда делал, опустил штангу. Поклонился зрителям. Взглянул на лампочки: все белые. Значит, чисто ногами сработал, не придерешься на этот раз.

Болевая точка в пояснице исчезла, зато при каждом шаге тянуло ягодицу. У Сизова был застарелый радикулит — болезнь, распространенная среди штангистов. Он то обострялся, то затихал, но никогда не проходил совсем. Последнее время спина Сизова не беспокоила, и он надеялся, что сегодня она не подведет,— и вот дала о себе знать в самый неподходящий момент! Это не катастрофа, ему и раньше приходилось выступать с болью, и все-таки плохо. Все равно как если бы еще один сильный противник прибавился.

Когда уходил за кулисы, навстречу попался Шахматов — на последний подход шел. Уверен, никаких сомнений на лице.

Сизов натянул костюм — главное, тепло сохранять! Послышался звон упавшей штанги и вздох зала. Значит, Шахматов подход испортил, пять кило в запасе уже есть. Да еще в третьем прибавится.

Сизов улегся на живот — для поясницы лучше! — и расслабился.

Ионыч уселся на край.

— Слушай, ты Шахматова сторожишь, а про Рубашкина забыл? Он прет!

— Рубашкина я уделаю, Ионыч, не суетись. Лучше спину потри.

— Опять? Может, обколоть?

— Подожду. На крайний случай оставлю.

Из зала послышались жидкие аплодисменты.

— Видишь, Рубашкин взял, и у него подход.

— Получит медальку за жим. Пусть на трусы повесит.

— Тебе идти. Спина-то как?

— Перебьюсь.

Но когда выходил, настоящего настроения не было. Хотел пожать осторожно, чтобы спину не очень растревожить, да и сознание, что оторвался от Шахматова, расколаживало. На грудь опять взял хорошо, но когда сорвал штангу вверх и прогнулся, снова стрельнуло в поясницу, да так резко, что, не успев осознать, что делает, Сизов бросил штангу.

6

Рубашкин был доволен: в жиме выиграл десять килограммов у Шахматова и теперь в победе не сомневался.

Как всегда, когда дела шли хорошо, Рубашкина одолевала говорливость. Он не улегся после жима на раскладушку, а подошел к Кораблеву, старшему тренеру сборной. Тот в углу разговаривал с Гриневичем.

— Ну что, Сергей Кириллович, чисто я пожал?

Кораблев резко повернулся:

— Не видишь, что занят я? Хоть бы воспитал тебя кто!

— А что? Я хочу знать. Вы как старший тренер...

Гриневич смотрел высокомерно, аж брови поднял и ноздрями задрожал — в кино так белые офицеры смотрят:

— Напрасно удивляешься, Сергей Кириллович. Парень всех обжал и радуется. Не понимает, что он кефир на час.

— Чего?

— Всего на час кефир, говорю. Кефирная палочка, молодой человек, очень быстро киснет, чуть прозеваешь, в простоквашу прокисает. Поэтому про тех, кто недолго в лидерах ходит, говорят: кефир на час. Пословица, так сказать. Идиома.

— Полегче!

— Извините, я не принял во внимание вашу начитанность... Но я тебя отвлек, Сергей Кириллович, ты хотел отрецензировать только что продемонстрированный молодым человеком жим.

— Ну слушай, если интересуешься: за границей тебя с твоими швунгами и показать совестно.

— Как все. Кто сейчас жмет? Все швунгуют. Один Пумпуриньш солдатским жимом жмет.

— Ты за всех не прячься,— и отвернулся к Гриневичу.

Сразу ясно, кого в сборную наметил: Гриневич с Кораблевым на «ты»,— как не взять! Вон как хохочут за спиной,— над ним, не иначе! А пусть хохочут, все равно от чемпиона спартакиады так просто не отделаешься!

Рубашкин отошел злой и обиженный. За что его Кораблев не любит? За что все над ним издеваются? Ничего, они еще узнают!

Рубашкин снял свой пояс и с гордостью прочитал на нем:

*Персей Рубашкин —
олимпийский чемпион!*

Это он написал еще в прошлом году. И сбудется! Вот тогда повернутся. А он, кому не захочет, руки не подаст.

Кавун сзади подкрался:

— Что ты, угорелый, носишься? Отдыхай!

Рубашкин отстранился:

— Не устал. Зря волнуется, Тарас Афанасьевич, дело сделано.

Пусть любимые разрядники его Батей зовут, а Рубашкин принципиально: «Тарас Афанасьевич!» Если подумать, уж Кавун-то обязан его любить! Ведь заслуженного с него получил.

— Ляг, говорю. Перегоришь.

— Ладно,— Рубашкин присел.— Лёсик!

Лёсик подбежал на полусогнутых.

— Дай-ка, что там в термосе!

— Ну вот, сиди,— одобрил Кавун.— Пойду вес закажу.

Прошла минута, чая не было.

— Долго ждать?

— Пробка глубоко сидит, Персей Григорьич, ноготь уже сломал.

— Связался с безруким. Дай!

— Ничего, я зубами... Вот... Со сколько начать собираетесь?

— С сорока.

— Я слышал, Батько...

— Сколько тебе говорить!

— ...Извиняюсь, Тарас Опанасыч с тридцати хочет.

— Завалить он меня хочет! Позови!

Кавун не подбежал, как надеялся Рубашкин. Подошел не спеша.

— За што шумишь?

— Утопить меня хотите! С тридцатью меня Шахматов проглотит!

— Перестраховываюсь, Персик. Баранки боюсь.

— Сколько я просил меня Персиком не называть? Не детский сад.

— Извини. И не будь такой нервный. Тридцать — прекрасный вес. Рванешь, и сразу десятку прибавишь. Устраивает?

— Нет! Пять лет у вас тренируюсь, а вы меня не знаете! Не понимаете меня! Я в кураже. В жиме ни подхода не испортил, понимать надо. Не психолог вы. Сразу видно, практик без диплома.

— Эх, Персик!..

— Я просил!

— Ладно. В том и дело, что знаю тебя. А с дипломом завтра поищешь, сегодня работать надо.

Подошел Реваз Кантеладзе:

— А я думаю, кто кричит? Интеллект с тренером ругается. Заводишься так? Хороший способ. Федя был Краснушкин, легковес, но флегма. Перед выходом вскочит, кричит: «Бейте меня табуреткой!» Раздразнят его, выскакивает на помост — рычит, штангу зубами рвет. Тигр!

— А чего ты суешься? Мы беседовали, а ты суешься.

— Извини, уже иду.

— Ладно, я не обидчивый, не то что некоторые. Чего гуляешь? Кончил?

— Выжидаю. Понимаешь, я в рывке хорош, смолоду спину не закачал. Маленькую медаль возьму.

— Золотую?

— Нет, подешевле. Золотую Шахматов берет.

— Чокнулись вы на нем! «Шахматов... Шахматов!..»

Почему он?!

— Интеллект, дорогой, ты не нервничай. Я о большой не говорю. За большую свалка. Может, и ты возьмешь. Или не ты. А уж в рывке Шахматова не достать. Корона. Извини, если расстроил. Пора разминаться: с тридцати семи начинаю.

Реваз отошел.

— Слышал? Грузин мне в деды годится, а с тридцати семи. Меньше не пойду. Позориться!

— Не гляди через плетень. Делай свое.

— Сказал, не пойду меньше!

Кавун встал, большой, толстый — полутяжем работал, — и пошел сутулясь. Рубашкин, гордый тем, что стоял на своем, побежал разминаться. Рвал легко, Лёсик только успевал блины навешивать. И с каждым рывком все сильнее презирал Кавуна за то, что не рубит в психологии.

Первым к весу вызвали Кантеладзе. Реваз вышел бодро — и недорвал, бросил.

И сразу настроение Рубашкина переломилось: «А вдруг я тоже?!» Предательская слабость разлилась по рукам, ладони вспотели. Он шел к штанге и думал: «Как бы сейчас хорошо рвать тридцать!»

На тренировках он и сорок рвал, но на соревнованиях всегда разлаживалась техника. Тысячи взглядов будто придавливали штангу к земле.

С чувством обреченности еще никто порядочного веса не поднял. Рубашкин донес до груди — и выронил.

Снова вызвали Кантеладзе. Рубашкин сел, стараясь успокоиться.

— Зажался ты, — гудел в ухо Кавун. — Расслабиться надо, а ты зажат.

«Впечатлительный я, — думал о себе Рубашкин с досадой и уважением. (Еще в Омске соседка-учительница говорила про своего хилого сына: «Он такой впечатлительный, ранимый!» — запомнилось.) — Грубее надо быть, а я впечатлительный, ранимый!»

Вышел — и опять выронил. По залу гул прошел: лидеру грозил ноль!

— Ну што ж ты! — тряс за плечо Кавун. — Ну проснись! Хоть ругайся, только проснись!

— Сейчас, Батя, сейчас, подожди, — с трудом выговорил Рубашкин.

Зубы стучали, тело выворачивал позорный медвежий страх.

После уборной стало легче. Вдохнул с ваты наша-тырь, еще раз. Ударило в виски.

Взялся за гриф и долго стоял в стойке, не мог решиться...

И вдруг неожиданно для себя рванул — как в воду бросаются.

Штанга взлетела! Встал! Миг торжества — и тут Рубашкин с ужасом почувствовал, что руки не разогнуты до конца! Старая ошибка, еще омская: дернул согнутыми руками. Не засчитают. Можно бросать. Баранка.

Машинально, ни на что не надеясь, дождал на вытянутые руки. Опустил по команде.

Посмотрел на судейские лампочки. Две белых!!

Рубашкин в восторге подпрыгнул и, подскакивая, побежал за кулисы.

А перед глазами плыло непроницаемое лицо Сиганова. Сидит перед помостом равнодушный, неприступный. Не выдал.

Неистовый свист неся в спину. Да плевать на свист!

— Ну что, Тарас Афанасьевич? А вы боялись.

Кавун грустно посмотрел:

— Поздравляю.

7

— Дожим! Грубый дожим!— всплескивал руками Ионыч.

— Не кипятись,— лениво говорил Сизов.— Ну, дождал парень. Баранка-то не ему одному идет, всей команде.

— Что ты говоришь, Юра! Надо же честно!

— Он честно и дождал.

— Шутишь ты.

— А что делать? Поясницу заговариваю.

— Болит?

— Сейчас не болит. Вот нагружу...

На разминке берегся — большой вес не прочувствовал, поэтому, когда вышел на помост, рванул слишком сильно, штанга пролетела высшую точку; чтобы поймать равновесие, плечами ушел вперед — и снова будто железной палкой ударило по пояснице. Все-таки удержал. Только опустил со звоном против обыкновения.

Ионыч все понял по выражению лица.

— Что, очень?

— Чувствуется.

Ионыч неестественно выпрямился — значительнее хотел казаться — и заговорил очень серьезно:

— Слушай меня внимательно, Юра: тебе нужно сняться. Погоди, дай договорить. Хорошей суммы с травмой не сделаешь, так? А чтоб в сборной остаться, тебе нужно под рекорд сумму делать. Снимешься сейчас, все будут знать: травма. Наберешь свои дежурные килограммы, никому до твоей спины дела не будет, скажут: «Не растет Сизов». Ты меня понял?

— А очки команде?

— Что твои очки! Шестое место и без тебя займем.

— Нет, Ионыч, так я себя уважать перестану. Да и конец мне тогда. Чемпион спартакиады — это звучит! А если вместо этого потом захолустный кубок выиграю, никто не удивится.

— Юра, о чем говоришь? Какой чемпион? С такой спиной у Рубашкина не выиграть, не то что у Шахматова!

— Пусть. Нужно делать все, что можно. До конца. Как лягушка в банке молока.

— Спину твою жалко. Совсем разворишишь.

— Уже разворотил. Обколюсь, и ладно. Сейчас не успеть, перед толчком придется.

Победа над минутной слабостью окрыляет, даже ес-

ли слабость не твоя, а тренера. Поэтому на второй подход Сизов вышел с хорошим настроением. И рванул отлично, прямо в точку попал... и в этот же миг поясница, спрессованная девятью пудами, стрельнула так, что пальцы сами разжалась. Судья не успел дать отмашку.

Обиднее всего такой подход испортить. Уж когда не поднял — не поднял, а тут взятый вес пропал. Потерял для суммы килограммы, которые уже были в кармане: те самые килограммы, которых обычно не хватает в конце. Тем более что из главной тройки он самый тяжелый. Рубашкин всего на сто граммов легче завесился, и, чтобы отыграть эти ничтожные граммы, нужно прибавить к сумме лишние два с половиной килограмма.

Ионыч старался казаться бодрим:

— Сейчас возьмешь.

— Без новокаина не пройдет. Скажи так: от подхода отказываюсь. Да и спину для толчка побереечь.

Налетел Великин:

— Старик, как же так! Не помню, чтобы ты с прямых рук бросал!

— Спина, Пашка.

— Так ты с травмой?!

Особый журналистский блеск появился в глазах Великина. Он потянулся за блокнотом.

— Не надо, не пиши, Пашка. Кому какое дело? Не люблю на жалость бить. Кто проиграл, тот проиграл. Без медицинских подробностей.

8

Из всех движений, составляющих троеборье, Шахматов больше всего любил рывок. Самое техничное, изящное даже движение. Люди, ничего в спорте не понимающие, вроде родной матушки или Стасика Кравчинского, думают, что штангисты одной силой работают: мол, сколько бицепсов накачал, столько и поднял. Но одной

силой разве что мешок на плечи взвалишь. «Сила есть — ума не надо» — этот глубокий афоризм Володя слышал раз сто. И не обижался, потому что те, кто так говорит, расписываются в собственной глупости. Одной грубой силой даже медведь килограммов сто двадцать наверх вытащит, не больше. Для настоящего результата силу надо направить тончайшей техникой, на один градус направлением ошибся, на одну десятую секунды включение мышц не согласовал — и летит вес на помост. В особенности рывок — по технике как прыжок с трамплина: там и там нужно в точку попасть.

В первом подходе сработал как часы. И сразу попал в объятия Кораблева.

— Красиво! Хоть на кино и в учебник.— Повернулся к Гриневичу:— Олимпийская надежда!

Приятно, когда тренер сборной так говорит. Если и шутка, то в ней девять десятых правды.

— По самочувствию-то как?

— Не жалуюсь, Сергей Кириллович. Сразу десятку сейчас добавлю.

— Рекорд повторишь?

— Какой смысл повторять?— ввернул Гриневич.— Попросим лишние полкило навесить.

— Не авантюра? Как-то даже не совсем прилично: мировой рекорд во втором подходе. Подумают, наши рекорды вроде бумажных тигров.

— Чего тянуть? Вася часто во втором подходе рекорды снимает.

Если вдуматься, удивительная вещь — мировой рекорд: три с половиной миллиарда на Земле, и никто такого сделать не может. А ты можешь.

В репродукторах гремел торжественный голос Аптекаря: «...на полкилограмма превышающий официальный мировой рекорд, принадлежащий японскому атлету Тагута...»

Медленно, чувствуя торжественность момента, Воло-

дя стянул тренировочный костюм, застегнул лямку трико, двинулся к выходу. За ним потянулись почти все, кто был в разминочном зале. Гриневич на ходу массировал спину.

Когда показался в проходе, загремели аплодисменты и разом смолкли, как срезанные. Тщательно натерся магнезией, вдохнул нашатырь и шагнул.

Пискнул таймер: минута осталась.

Володя навис над грифом, широко взялся, расслабил руки... Когда смотрел со стороны, ему всегда казалось, что штангист, приготовившийся к рывку, похож на ракету перед стартом — руки и спина, как три стабилизатора, и такая же спрессованная сила.

Спина распрямилась так мощно, что штанга взлетела, как выдернутая из грядки морковка. Слишком даже мощно, так что пролетела высшую точку и потянула назад, выворачивая руки. Пришлось бросить за голову. Зал вздохнул.

Володя выпрямился — злой, но по-прежнему уверенный. Даже не пошел за кулисы, стал быстро ходить по сцене. Подбежал Гриневич, хотел что-то сказать, Володя отмахнулся:

— Сейчас возьму. Силы — вагон.

Аптекарь голосом попроще объявил третий подход.

Не притрагиваясь к магнезии, без нашатыря, Володя бросился к штанге и с ходу, точно в кавалерийской атаке, тысячу раз повторенным движением выдернул штангу вверх. Попал в самую точку, штанга застыла как влитая.

Он стоял и улыбался, а зал восторженно ревел.

Судья махнул рукой: «опустить!», а он стоял. Наконец приземлил ее небрежно и подпрыгнул, торжествуя, ще подняв руки.

Подбежал Гриневич, оторвал от помоста, закрутил.

А ассистенты уже катили штангу на взвешивание.

Его окружили, хлопали по спине, пожимали руки.

Мелькали лица, Володя плохо сознавал, кто и что вокруг. Рекорд!!

«Штанга оказалась на шестьсот граммов тяжелее,— торжествовал голос Аптекаря.— Таким образом, рекорд Тагути побит сразу на килограмм!»

— Чего килограмм!— кричал Кораблев.— Да у него такой запас, хоть сразу пять добавляй!

Надо было отдохнуть перед толчком, но Володя не мог опомниться от счастья и ходил, ходил, сжигая нарастающую энергию.

«Почему пять? И десять можно добавить! И десять!»

Наконец сел. Гриневиц специально кресло откуда-то приволок: понял, что сейчас Володе не улежать. Расслабился, вдавился всеми своими килограммами в поролоновые подушки.

Володя ощущал свое тело. Сначала он почувствовал шею, толстую, переполненную силой, как мешок зерном. Сила текла из шеи по косым мышцам к плечам, он наслаждался их шириной и покатостью — не женской беззащитной покатостью, а покатостью мужской, могучей, закругляющейся шарами дельтовидных мышц, по которым, как горные цепи на глобусе, проходили три вертикальных гребня, разделенных долинами. С плеч сила разливалась по спине и груди, по двум мощным колоннам, стоящим вдоль позвоночника, по широким пластикам грудных мышц, а оттуда вниз по ступенчатому рельефу живота. Из шаров дельт сила наливалась руки. Когда говорят о руках, прежде всего думают о бицепсах, но Володя всегда главным чувствовал трицепс. Если бицепс — овалый монолит, похожий на спящего медведя, то трицепс — переплетение канатов. Канаты натягивались по очереди, и каждый, казалось, мог тащить чуть ли не тонну. Сила скатывалась со спины и живота в ягодицы и бедра, и каждое бедро было крепкое и упругое, как надутая шина тяжелого грузовика.

Володя сидел расслабившись, а сила перекатывалась

по огромным мускулам и гудела низким гудом. Он ничего не видел и не слышал вокруг, он чувствовал только себя. И казалось, что тело его растёт, тяжелеет, и вот уже руки стали толщиной с самолет «Антей», конус шеи как вулкан Фудзияма, беспредельные плечи тянутся горной цепью и сила внутри бурлит и рвется, точно неудержимая лава. Дышать стало трудно под собственной тяжестью. Хотелось кричать от счастья и полноты жизни, но его крик смел бы все вокруг, как атомный взрыв, а Володя любил все вокруг, поэтому он сдержался.



Рубашкин пал духом: отставать от Шахматова перед толчком на пять килограммов — положение безнадежное. Что толку быть вторым. В штанге все достается первому: чемпионаты мира, Европы, Олимпиады. Хорошо всяким там бегунам: у них в каждом виде трех человек на Олимпиаду выставляют... Вот тебе и переезд в Киев.

Лёсик массировал ноги. Старался, но не умел. Неловкие пальцы раздражали Рубашкина.

— Сколько учить! Снизу вверх!

— Так я ж...

— Ты по одному месту. Да не мнешь, а чешешь.

— Как показывали...

— Кто тебе показывал? Меня лучшая массажистка в городе трет, уж я-то разбираюсь.

— Разбираетесь, Персей Григорьич, все знают.— Лёсик угодливо захихикал.

— Кончай трепаться!

Лёсик опешил.

— Чего кричишь?— Кавун подошел.

— Да вот, Батя, пристаёт с трепотней. Отвлекает.

— Сам приучил.

— Массировать не умеет. Зачем тащили, если толку как с козла...

Рубашкин забыл, что Лёсик за свои деньги приехал, а тот не посмел напомнить.

— Ладно, давай я.— Кавун отстранил Лёсика.

— Что-то мы не так сделали, а, Батя?

— Не мы, а ты. Кому говорил, с тридцати начинать!

— Ты бы приказал. На то ты тренер, чтоб приказывать.

Кавун ничего не ответил.

— Чего ж теперь делать, а, Батя?

— Толкай, сколько можешь. Попробуешь Шахматова перетолкать.

— Скажешь. Он темповик.

— Захочешь — толкнешь. Выше головы прыгнуть надо.

— Сам завалил, а теперь выше головы прыгать заставляешь!

И снова Кавун промолчал.

— Очков мало дам команде, тебе в комитете втык сделают... Батя, надо какую-нибудь тактику придумать.

— Дурак ты! В квадрате дурак! Он на рекорд готов, сам слышал, Гриневич говорил. Толкни больше, вот и вся тактика.

— Чего ты запугиваешь! Зачем мне знать, что он на рекорд?!

Кавун наклонился к самому уху и шепнул почти нежно:

— Ну, кончи истерику. А то при народе оплеух надаю.

Рубашкин шмыгнул носом и замолчал.

10

После рывка Лена окончательно поняла, что чуда не произойдет: Юре не выиграть. Значит, снова сегодня ночью потянется старый разговор: пора бросать спорт,

думать о будущем. Или даже такой разговор не получится: последнее время Юра после соревнований выпивает — говорит, без этого напряжение мышц не снимается. Выпьет и заснет. Не шумит, слава богу.

Все вокруг уверены в победе Шахматова, волнуются только, будут ли еще рекорды. И так хочется, чтобы были! Ведь рекорд, установленный на твоих глазах, делается как бы чуть-чуть твоим, ты с гордостью скажешь: «Я это видел», но подумаешь: «Я помог совершить!» После того как Шахматов отобрал рекорд у Тагути, всех охватило легкое опьянение; мужчинам казалось, что они стали сильнее и что новые рекорды сами идут к ним в руки. Знатоки из верхнего ряда присудили:

— Запросто затолкает.

— И сумму сделает.

— Гриневиц еще вчера сказал: «В такой форме сам Власов никогда не был».

На других почти не смотрели, ждали одного Шахматова. Только Лена подалась вперед, слабея от волнения, когда вышел Юра. Она готовилась его жалеть, и удивилась: веселый! Уже по походке видно. И магнизией натерся весело, и на штангу пошел легко. Лена слишком хорошо знала мужа, чтобы поверить, что он смирился. Не из той он породы, чтобы кого-то легко вперед пустить.

...Такое же выражение решимости и безнадежности было у него, когда он пришел требовать себе Лену. Накануне она сказала ему, что при первых словах о замужестве у мамы сделался сердечный приступ и что рисковать маминой жизнью она не может.

Неотложка делала укол, а мама кричала под шприцем: «Кого ты нашла?! Вокруг тебя столько студентов! Холостые ассистенты попадают!»

— Знаете, что я сделаю?— сказал Юра с порога.— Спрячу Ленку в рояль и вынесу.

— Почему в рояль?— растерялась мама.

— Чтобы вы видели, какая у меня тяга к культуре.— Сел и вдруг заиграл польку-бабочку.

И что-то в маме переменялось. Она весело посмотрела на Юру, полезла в буфет и достала банку тертой смородины в сахаре.

— Ешьте, Юра, здесь чистые витамины. Спортсменам нужно много витаминов.

Когда-то давно тетка Мария рассказывала, что в молодости мама многим кружила головы. Тогда Лена не поверила, а тут поняла, что так и было.

Потом мама пошла мыть посуду. Пол у них в коридоре был ужасно скрипучий, Лена, еще когда в школе училась, заметила: когда мама выйдет, можно безопасно целоваться — шаги за двадцать метров слышны. Поэтому Лена тотчас пересела к нему на колени.

— Почему ты никогда не говорил, что играешь?

— Какая игра. Последствия кружка баянистов в ДПШ.

— Все-таки. Мог бы на вечеринках бренчать.

— Именно бренчать. А я не люблю второй сорт.

Она погладила его по голове:

— Ты сегодня очень хороший. Я не забуду. Когда-нибудь ты ко мне привыкнешь, будешь изменять.— Она сделала паузу, но он не возразил, промолчал.— Так вот, за сегодня я тебе одну измену прощу.

— Две. Вторую — за смородину в сахаре,— сказал он невозмутимо.

11

Сизову в медпункте обкололи поясницу, и боль отошла. Не прекратилась совсем, но больше не мешала.

У Шахматова можно выиграть только с рекордом. Сизов это понимал. Установить рекорд в дополнительном подходе ради одной славы Сизов сейчас не мог, но

в пылу борьбы — как знать. Наконец пришел тот кураж, который кружил ему голову в победные годы. Кураж — он вроде легкого хмеля, только возникает без всякой химии, от одной веры в себя и страсти к победе. Выйдет сейчас Сизов и подымет, сколько нужно; не может не поднять, потому что он здесь сильнее всех!

Ионыч сидел с озабоченным видом. Сизова это расшемило:

— Ну, чего кисло смотришь? Сейчас всех побью!

— Говорил с председателем совета. ЦС в Ереване намечают. Условий там нет: помню, разминку во дворе устроили, чтобы пол не проломился, питание...

— Брось, Ионыч. Чемпионы мира на ЦС не ездят.

— Куражишься. Не забаранил бы.

Верно, многие в кураже баранят: море-то по колено. Но Сизов был слишком опытен, чтобы в кураже совсем потерять голову.

— Все нормально, Ионыч, начну спокойно, чтоб команде очки обеспечить. А уж потом!

И с веселой мыслью о том, что будет потом, как все удивятся, какое лицо сделает Кораблев, он вышел и легко толкнул начальные сто восемьдесят.

Обыкновенный мужчина штангу в одиннадцать с гаком пудов разве что по помосту покатает, но такому парню, как Сизов, ничего не стоит вытолкнуть ее над головой.

12

Толчок затянулся: то и дело перезаказывали веса — за места в десятке тоже шла борьба. Вот бросились поздравлять смешного длинного Ваню Гапченко: он юниорский рекорд побил. Шахматов почувствовал, что остывает.

— Давай-ка чуть-чуть слонцем.

Гриневиц выдавил из тубика четверть грамма на ла-

доть и стал осторожно втирать в плечи. Запахло мускусом. По телу разлилось приятное тепло.

— И где ты, дорогой, растирки достаешь?— послышался голос Реваза.

— Из Финляндии ребята привезли.

— Замечательная вещь! Но есть вещи еще замечательнее. Раз захожу в зал и чуть не сел. Что такое?! Точно слон в бане. Вид сзади. А рядом Спартак Мчелидзе зеленым веником машет. Подхожу: крапива! Спартак Женю Носова крапивой жарит. Тяжа! Тот хочет: против крапивы, говорит, любая жгучка — что святая вода. И что ты думаешь! Носов в тот день Медведева обыграл, единственный такой случай с ним был, а? Потом с него кожа слезла. Может, за крапивой сбегать?

— Он и без крапивы постарается.

— Слушай, а хорошо дома выиграть! Раз Союз в Тбилиси сделали. Ползала — родственники. Колхоз автобусами возил. Тетушка Кэтеван там живет, куда кроме самолета дороги нет, и вдруг погода нелетная. Тетушка к летчикам: лучше разобьюсь, чем не увижу, как племянник чемпионом будет! Двадцать семь часов уговаривала. Без обеденного перерыва. Прилетела! В первом ряду сидит! А я проиграл. Понимаешь, четвертое место. Ни раньше, ни позже выше шестого не поднимался, а тут четвертое. Но проиграл. Хоть бы какую медаль, а то никакой. Отец топиться пошел. Счастье, что в вине... Тебе хорошо: на глазах всей родни победишь.

Действительно, отец с матерью пришли. Может, поймут наконец красоту штанги... В удачный день пришли: все как по маслу идет.

— Ну что, юноша, банкет заказал?— за спиной стоял маленький толстый Великин из «Совспорта».

— Вы что, сговорились?!— разозлился Гриневич.— Сглазите! А ну плюньте!

Великин и Реваз плюнули через плечо.

— Ему банкет ни к чему,— уже мирно сказал Гриневич,— у него режим железный: за всю жизнь ни капли в рот не взял. Даже вкуса не знает.

— Ну? Точно как Ионыч, Юрки Сизова тренер. Я при нем что-то сказал насчет водки: запах, мол, не нравится, нос затыкаю, а он: «Значит, водка плохо пахнет?» Мы все легли!— Великин так живо вспомнил эту сцену, что засмеялся, будто только что слышал вопрос Ионыча.— Я ему: «Тише, не позорься!» А он: «Нет, ты мне объясни, зачем ее пьют, если она противная?»— У Великина брызнули слезы, он полез за платком.— Идеал ходячий, а не человек, ему бы в «Пионерской зорьке» выступать.

— Вот кто должен твоего Володю тренировать: идеальная пара получится,— сказал Реваз.

Эта шутка Гриневичу не понравилась, он заторопился.

— Давай, Вова, разминаться пора.

— Успею. Первый вес, считай, разминочный закали.

Зал встретил Володю аплодисментами, это было настолько естественно, что даже не польстило: большинство ведь «шахматисты» на трибунах — слово пустил Гриневич для обозначения Володиных болельщиков. Гриневич выписывал «Литгазету» и не прочь был иногда поиграть словами.

Легко взял на грудь, напружинил ноги — ну!..

...Черт! Вперед дал. Штанга была наверху, но тащила за собой. Володя шагнул за ней, еще чуть-чуть, теперь назад. Штанга не хотела замереть, билась над головой, как громадная рыбина на суше.

Полшага вперед... шаг назад... еще назад...

Застыл!

Давит! Отмашку скорей!!

Ждет, гад!

Снова повела. Шаг вперед... еще вперед... назад... вперед...

Володя перебирал ногами все быстрее, а громадная рыбина билась над головой, давила страшной тяжестью к земле.

Остановить! Только бы остановить!!

Казалось, он уже многие часы держит на вытянутых руках чудовище. Сознание мутилось, он не мог сообразить, что нужно просто бросить штангу — всего лишь разжать пальцы, и сразу станет легко! Он давил из последних сил, давил вверх, как давил бы обвалившийся на голову потолок, чтобы безнадежными усилиями продлить жизнь на лишний миг.

Но даже его мощные руки не выдержали, потолок обрушился, и все исчезло...

13

Когда Шахматов сделал под штангой первый шаг, публика не увидела в этом ничего особенного. Часто приходится шагнуть раз или два для корректировки. Штанга наверху — это главное. Но Шахматов сделал и третий шаг, и четвертый. Стало тихо-тихо.

Вот замер...

— Отмашку давай!— Крик с галерки.

Штанга снова заходила. Шахматов шагнул за ней. Быстрее. Казалось, он выбивает под штангой мелкую чечетку.

— Бросай!— Не приказ, отчаяние!

Еще несколько мелких шагов, вдруг крупный шаг вперед — и Шахматов упал навзничь во весь рост, не выпуская штанги. Глухой стук упавшего тела был так страшен, что — хотя и негромкий — заглушил звон металла. Пальцы наконец разжались, штанга покатилась, упала с помоста, и сидевший сзади судья притормозил ее ногами.

Крик ужаса вырвался у всех одновременно.

Судьи невозмутимо зажгли три красные лампы. Это показалось кощунством.

Свист, тысячепалый свист рвал воздух.

— На мыло!

— Долой!

Ребята сзади закричали:

— Была фиксация! Была фиксация!

Подхватили:

— Была фиксация. Засчитать!

— ЗА-СЧИ-ТАТЬ! ЗА-СЧИ-ТАТЬ!

Лена вскочила, схватила за руку соседа справа, и, размахивая в такт сцепленными руками, они скандировали вместе со всеми:

— ЗА-СЧИ-ТАТЬ!

Она забыла, что Шахматов — противник Юры, она ни секунды не думала, что без него Юре легче выиграть.

— ЗА-СЧИ-ТАТЬ!

Что-то говорил судья-информатор, но свист и крики заглушили его. Тогда на столе жюри зажглась белая лампочка. Зал стих, и все услышали голос Аптекаря:

«Апелляционное жюри вес Шахматову засчитало».

Взорвались благодарные аплодисменты, а потом в тишине элегантный сосед Лены закричал неожиданно громко и пронзительно:

— Убрать судей!

Зал подхватил:

— Долой!.. Убрать!

И Лена, не опуская руки соседа, кричала:

— Уберите судью!

Солидные члены жюри пошептались, наклонившись друг к другу, и снова раздался голос Аптекаря:

«Апелляционное жюри приняло решение отстранить судей у помоста».

Судьи встали и гуськом пошли за кулисы, провожаемые торжествующим свистом, улюлюканьем, мяуканьем. Толпа участников и тренеров, сгрудившаяся в глубине сцены, расступилась, как перед прокаженными.

— Мы победили!— кричал в ухо Лене сосед.

— Победили!— кричала Лена.

Они по-товарищески пожали друг другу руки.

Сосед вдруг хлопнул себя по лбу:

— Все ясно: вы жена Гриневича! Как я сразу не догадался. Он же еще молодой парень.

14

Когда раздались крики, свист, Рубашкин сначала не понял, в чем дело. Он как раз настраивался перед выходом. Вдруг все побежали на сцену, там началась какая-то возня, через минуту Гриневич с Кораблевым проволокли бессильно повисшего у них на руках Шахматова. Пробежал врач.

— Он упал!— закричал Лёсик.— Травма! Ты чемпион!!

Чтобы не подпрыгнуть от радости, Рубашкин начал крутить замок. Все-таки чемпион!

Подошел Кавун:

— Сволочь Сиганов: видит, что плывет парень, надо отмашку давать.

— Чего ж давать, если фиксации нет?

— Почти была. Может, доли секунды не хватило. На городе у нас такие считают.

— А на спартакиаде мировой стандарт подай!— Рубашкин искренне забыл, что сам рвал не очень чисто.— Да чего плакать: чужой же лег! Ноль у них. А мне еще за международника надбавка. Кучу очков принесу.

— Чистые очки нужны, не такие.

— Лишь бы очки, Тарас Афанасьевич. Все в сумму годятся.

— Тебе не объяснишь, раз природа такая.

Кавун махнул рукой, отвернулся и пошел.

— Чего он? Совсем спятил?— Рубашкин даже присел.— Я победил, а он дуется. Ладно, отсюда прямо в Киев, не заезжая домой.

— Идеальный!— угодливо поддакнул Лёсик.

Вдруг зрители стихли, и раздался голос Аптекаря. Рубашкин отчетливо слышал в нем плохо скрытое торжество.

Засчитали, значит, вес! Конечно, Гриневич в федерации свой человек!

Пока усаживали новую тройку, Рубашкин совсем остыл, да и настрой прошел, поэтому первый подход он испортил. Встретили и проводили его со свистом. Рубашкин разозлился и во втором подходе толкнул легко. Правда, ему все равно свистели, но внимания не обращал — свист в протоколе не пишут — и даже показал (правда, отвернувшись) язык публике.

15

Сизов, конечно, не злорадствовал, что выбили Шахматова. Но и не жалел его. Отнесся как к обычной травме — кто-то плечо потянул или спину, остальные продолжают выступать. В конце концов, в каждой травме виноват сам спортсмен, и случай с Шахматовым не исключение.

Сизов понимал, что теперь для него путь в чемпионы расчистился. Понимал и не смущался: на то и спорт, чтобы в любую минуту все с ног на голову перевернулось. Ну, засудили Шахматова, так что ж, надеть траур и отказаться бороться? Смешно. Ну, а раз так, нужно делать свое дело. Жалости он не понимал — ни к себе, ни к другим.

— Что, Ионыч, теперь Рубашкина затолкать?

— Погоди, не все так просто.

— У меня два подхода, у него один.

— Если он не дурак, он будет пропускать, пока ты не кончишь. И пойдет на тот же вес. Он же легче.

— Я такое толкну, что ему не повторить!

— Про спину не забывай. А он вон какой амбал. Нужно заставить его истратить подход. И потом толкнуть минимум для победы. Минимум!

— Как же заставить! Он дурак, но не такой уж. И тренер подскажет.

— Ты не понимаешь. Давай считать: после рывка Рубашкин Шахматову пять килограмм проигрывает, да Шахматов легче — выходит семь. Значит, семь кило он так и так прибавит, есть ты на свете или нет. Пусть, но чтоб ни грамма больше! Ясно теперь?

— Чего ясно?

— А то, что Рубашкин должен точно знать: с тобой покончено. Спалишь один подход, он и успокоится. Тягу сделаешь и бросишь. Понял?

16

Рубашкин сам вышел посмотреть, как Сизов будет толкать. Конечно, тот уже старик, спортивный покойник, но все-таки. Два подхода у старика осталось, а после рывка у них суммы одинаковые.

— Ничего он не сделает!—Лёсик для убедительности руки на груди сложил.— Он спину порвал. Я же сам видел: дугой согнулся и в медпункт. Дверь закрыли, а я тыркнулся будто случайно, дурачка разыграл. Влетаю, он лежит, и ему врачаха шприцем в спину колет.

— Может, ниже?

— Колет! Точно тебе говорю. Он давно рассыпается, ребята рассказывали.

— Как же он первый подход толкнул?

— На уколе.

— Ладно, увидим.

Сизов и правда выглядел жалко. Долго топтался, подошел, вернулся к ящику с магnezией, опять подошел. Полминуты осталось. Наконец за гриф взялся. Взялся и крутит. Еще двадцать секунд. Ему кричат: «Время!»

Дернул наконец штангу, чуть выше колен поднял и бросил. За поясницу схватился.

— Видал?— торжествовал Лёсик.

Подошел Кавун:

— Семь с полтиной накинem?

— Конечно, Тарас Афанасьевич. Надо же Шахматова обыграть!— И посмотрел с вызовом: что тот скажет.

— Обыграть не обыграешь, но первое место займешь. Пойду закажу, пока я еще твой тренер.

Рубашкин вес выхватил легко, зафиксировал четко, чтобы новая тройка не придралась. Опустил.

Победа!

Его окружили. Даже Кораблев подошел. Рубашкин спросил прямо:

— Ну что, Сергей Кириллович, на мировой с вами поедem?

— Поедем на сборы. Прикидки будут. Сильнейший поедет.

— Чемпион и есть сильнейший.

— Сейчас. А что будет через два месяца, неизвестно.

Вот гад. Даже победу должен испортить. А что, если к нему в ученики попроситься? Небось лучшим другом станет!

Тренеры после победы целоваться лезут, но Кавун только руку пожал:

— Што ж, поздравляю. Хоть и ругались, все-таки вместе работали.

Сиганов не подошел, помахал рукой издали — поздравил. Что ж, собой человек за команду пожертвовал: свалил Шахматова. Судейской категории как бы не лишили — ничего, дома ему возместят потерю.

Вдруг гул разговоров покрыл голос Аптекаря:

«Юрий Сизов, третий подход».

— Спятил он, что ли?— испугался Лёсик.

— С отчаяния. Грудью на пулеметы,— сплюнул Рубашкин.

Но ему стало страшно.

Мимо прошел Сизов. Прямо прошел, не гнулся, не хромал. Все потянулись за ним.

17

После второго подхода Сизов вернулся, держась за поясницу, и лег на раскладушку.

— Слишком хромаешь,— сказал Ионыч,— переигрываешь.

— Ничего, проглотит. От радости даже умный глупеет.

Запыхавшись, подбежал Великин.

— Что, старик, совсем плохо? А я за тебя болел.— И без перехода:— Какой гад, ты подумай! Под корень парня срубил. Я этого замазать не дам! Я напишу!

— А он скажет, что не видел фиксации,— усомнился Ионыч.

— Пусть! Все равно надо было командовать, а потом пусть бы красный свет зажег. Чтобы не упал Шахматов. Я сам за строгость, но без жестокости!

— Такого правила нет, чтоб без фиксации отмашку давать.

— Нет, но многие дают — по-человечески поступают. А он формалист проклятый.

Со свитой тренеров торжественно проходил Кораблев. Остановился над Сизовым, посмотрел, махнул рукой:

— Этот труп.

Вовремя сказал! Именно такой удар по лицу был нужен Юре, чтоб как следует завестись.

Великин заторопился:

— Ладно, старик, все равно ты славно на своем веку поработал. Твои победы все помнят. Ну давай. Надо пару сплетен добыть,— пожал наскоро руку и устремился за Кораблевым.

Рубашкин, сияя, пошел толкать свое.

Тихо в разминочном зале. Железо не гремит: все закончили.

— Ну давай, Ионыч, чуть он опустит, сразу набавляй. Мне бы поскорей.

— Spина не разморозилась?

— Нормально. Слушай, а ты лиса. Вот тебе и трезвенник.

— Тактика, Юра, обычная тактика.

Рубашкин уже на сцене, притворяться больше незачем. Сизов вскочил, сделал несколько приседаний, прошелся колесом.

Послышались жидкие аплодисменты. Ну сейчас!

Зал встретил хорошо: после Шахматова за него болели. Да и обманул он не только Рубашкина — все думают, что он идет через боль.

Сизов затянул пояс, почувствовал, как жесткая кожа плотно держит поясницу. Тихо. Все смотрят на него. Тренеры и ребята, тысячи зрителей в зале, миллионы, которые сейчас гуляют по улицам, но через два часа сядут к телевизорам,— все смотрят на него.

Сейчас, на глазах у всей страны, он победит.

Победит, потому что уже поднимал такой вес.

Победит, потому что если кому и можно проиграть, то не Рубашкину.

Победит, потому что должен доказать Кораблеву и всем, что он еще жив.

Победит, потому что цель и страсть его жизни — побеждать.

Победит.

Вот он наклоняется над грифом, крутит его по привычке, берет в замок — и сразу без раздумий отрывает от помоста. Мощно сработали ноги и спина — и штанга уже лежит на ключицах, он даже не почувствовал тяжести!

Зал выдохнул и снова замер.

До победы всего полметра вверх!

Сгибаются колени и сразу резко выпрямляются, штанга срывается с ключиц и летит вверх, словно выстреленная.

Есть!

Секунда неподвижности, когда все тело каменно напряжено.

Опустить, машет судья. Зал ревет.

Сизов еще секунду держит штангу над головой. Секунда кажется зрителям бесконечной. Он стоит со строгим лицом, как солдат на посту.

Едва штанга коснулась помоста, кто-то схватил его сзади — и он уже в воздухе. Его кидали очень высоко, но страшно не было, потому что он знал: у этих ребят крепкие руки. Потом ему чуть не сломал ребра Великин.

— Старик,— повторял беспомощно Пашка,— это же сенсация,— больше у него ничего не выговаривалось.

— Ну, Юра, значит на вас мы тоже можем надеяться,— приятно улыбаясь, пожал руку Кораблев.

«Тоже» — без ложки дегтя Кораблеву не обойтись.

Маленький Ионыч стоял рядом и держался за руку, как мальчик за отца.

Заиграли фанфары, и они вышли втроем. Шахматов уже оправился. Другой бы на его месте прихрамывал, чтобы лишний раз сыграть на жалость, но он шел ровно,— значит, настоящий парень. Сизов легко вскочил на верхнюю ступеньку пьедестала — давно не приходилось, но он не забыл, как одним движением взлетать наверх. Встал — как на родину вернулся. Руки вверх вскинул.

И настал момент, который Сизов пережил на двух первенствах мира, но которого еще не удостоивался на Олимпийских играх,— через год обязательно, для того и живет!— в его честь заиграли гимн.

Сизов стоял выше всех, слушал гимн, и на секунду ему показалось, что он уже победил на Олимпиаде, и это была секунда безмерного и удивительного счастья.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ КРИЧАТЬ

(Записная книжка Сергея Сеньшина)



* * *

Я становлюсь все разборчивее, все определеннее в своих вкусах, и все чаще появляется у меня неприятие, все чаще режет ощущение фальши. Вот выступает по телевизору очень прославленный режиссер, руководитель очень прославленного театра, в который, говорят, чтобы купить билеты, нужно занимать очередь с вечера. Но как режиссер величествен, как значителен в каждом жесте, в каждой паузе! Самое простое слово он произносит так веско, точно оно обречено немедленно начертаться на мраморе и граните... Зачем это *неутомимое величие*, это актерство, эта печать гения на челе? *

Кричащие актеры, кричащие поэты демонстрируют чуткость и ранимость своей души. Обнаженные нервы, крик — в этом бесстыдство, кричать нельзя, обнаженных нервов нужно стыдиться, как болезни. Читать стихи, как Блок: монотонным глухим голосом, не выделяя слов и не разделяя строк. Вот высшая поэзия и высшее *достоинство*.

И чем дальше, тем чаще. Раздражает малейшее пре-

* Спешу напомнить очевидную, но часто забываемую истину: автор вовсе не обязан разделять вкусы и мнения своего героя. «Но и Дидло мне надоел», — думает Онегин. А Пушкин тут же делает примечание: «Черта охлажденного чувства, достойная Чайльд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной...» (М. Ч.)

увеличение, малейший намек на риторическую фигуру, малейшая поза. Только полная простота — Пушкина, Чехова, Блока (позднего).

Но в то же время я завидую. Ведь почему можно кричать, почему можно носить печать гения на челе? Потому что эти кричащие и носящие естественны: естественны, как тянущийся к груди младенец. *Актерство — естественно*, вот в чем парадокс, естественно для человека, который уверенно ставит себя в центр мироздания. Начальник мой Игнатий Платонович — полная пустота как ученый, но печать гения носит с бóльшим достоинством, чем все режиссеры, вместе взятые. И так же естественно, как стрелка компаса к северу, И. П. всегда направлен к самоутверждению; без запинки произносит слова: «Моя неустанная творческая работа... Моя многолетняя деятельность, направленная на укрепление здоровья советских людей...»

В результате — доктор наук, старший научный. Все знают ему цену, все над ним смеются — и уступают дорогу, по которой он без тени сомнения движется к почестям. Наверное, это очень удобное душевное устройство: ни разу в себе не усомниться, ни разу над собой не посмеяться — и такие люди просто обречены на успех...

Я изливаю желчь на бумагу, и это самое грустное в моей жизни. Изливаю на бумагу, потому что некому излить вслух.

Я не умею спорить. И не люблю. Споры ночи напролет, воспетые в песнях и прославленные беллетристами как символы молодости и беспокойства мысли («споры до хрипоты» — кто из книжных романтиков их избежал?), кажутся мне занятием никчемным. Да и не слышал я никогда толковых споров. Обычно каждый произносит свой монолог, не слушая окружающих. Говорящих тьма — слушающих нет. Я тоже хочу произносить свой монолог. Внимательному, сочувствующему слуша-

телю. Или, честнее сказать, восторженному слушателю. А совсем честно: восторженной слушательнице.

* * *

Узнал, что громко храплю ночью.

Не очень приятно узнавать о себе такое. Храп — неиссякаемый источник юмора для передач «С добрым утром», ярлык человека пошловатого, недалекого. И вдруг я, полный высоких раздумий и тонких чувств,— храплю!

* * *

Интересное дело: я довольно равнодушен к одежде, могу ходить черт знает в чем, и меня при этом не гложет мысль, что я немоден, неэффектен, некрасив, наконец,— совершенно искренне. Но если все же какая-нибудь модная вещь нечаянно заводится, я начинаю ею гордиться, стараюсь в ней показываться, хуже того, становлюсь озабочен тем, чтобы и остальное в костюме ей соответствовало — и так пока она естественным ходом времени не превратится в заношенную и устарелую. Тут я успокаиваюсь и снова хожу черт знает в чем.

* * *

Надя обещала вчера вечером позвонить. То есть уже позавчера. И, по обыкновению, не позвонила.

Я надеялся, даже почти верил, что она позвонит на другой день и скажет: «Извини, я вчера не смогла».

А я скажу: «Если бы ты вчера позвонила, я бы в тебе немного разочаровался». Она, естественно, удивится: «Почему бы разочаровался?»

И тут я торжествующе объясню: «Потому что женщину украшает постоянство. А ты постоянна в том, что никогда не звонишь, когда обещаешь».

И ирония, и упрек — но без занудства.

Но когда она сегодня действительно позвонила и действительно вскользь извинилась, я сказал только: «Даладно». Хотя вовсе не ладно.

Не могу я произносить заранее заготовленные фразы: в этом тоже риторика, тоже фальшь. Если бы я сымпровизировал во время разговора — другое дело. Но я плохой импровизатор.

* * *

Мама постоянно путает слова:

— Ела сегодня голубцы. (На самом деле кабачки.)

— Дай, пожалуйста, ножницы. (Нужны нитки.)

Вместо стакана — бутылка, вместо Толстого — Гоголь. («Я с таким удовольствием перечитываю Гоголя. Особенно «Анну Каренину».)

Самое удивительное, что я всегда понимаю правильно: подаю нитки, звоню Витьке, хотя мама сообщает, что просил позвонить неизвестный Коля.

Модный склероз тут ни при чем — она так же путала слова и двадцать лет назад. И Толстого от Гоголя она прекрасно отличает. Небрежность — вот в чем суть. Ее не волнуют такие пустяки: отличие ниток от ножниц, голубцов от кабачков, классика от классика.

Меня раздражает не то, что она путает, — я же все равно всегда понимаю правильно. Меня раздражает, что она не хочет сделать усилие, сосредоточиться. Меня раздражает, что если ей сказать, что нитки отличаются от ножниц, она добродушно согласится:

— Да-да, я вечно путаю.

Вознегодовала бы на себя! Но нет.

* * *

Тридцать три года. Возраст Христа и Ильи Муромца. (Про возрасты Добролюбова, Лермонтова лучше не вспоминать.) Оба знаменитых сверстника подают надежду: сидел же Илья до моих лет сиднем на печи, а

потом встал. А моя жизнь не многим интереснее сидения сиднем.

Может быть, из-за мизерности пережитых событий совершенно не чувствую возраста, не чувствую взрослости. словно по-прежнему восемнадцать. Раньше считал тридцать три полной зрелостью, расцветом. Интересно, я один так задержался в развитии, или это общее чувство, о котором просто не часто говорят? Ну конечно, острее должны чувствовать прожитые годы те, у кого семья.

* * *

Жизнь дается человеку только один раз, но эта банальная истина еще словно не дошла до меня. В глубине души не исчезает смутное ощущение, что пока еще живу начерно, а настоящая жизнь только предстоит.

* * *

Почему-то в детстве считалось, что у меня *огромные способности*. Почему? Знает один бог. Но мама всех оповещала:

— У Сереженьки огромные способности! Особенно к физике и математике.

Ну, правда, учился я бойко. Умел отвечать, то есть связно и толково изложить то, что знал. Много читал, ну потому и речь была развита. Я бы это назвал *комплексом культурности*. Иногда такой комплекс принимают за способности, даже талант, и делают большую ошибку. Обычная иллюзия интеллигентных родителей: благодаря среде дети нахватывают кучу сведений, могут болтать хоть о Бальзаке, хоть об устройстве Солнечной системы — и пошли ахи!

Память у меня до удивления слабая. Восемь лет занимался английским, нанимали мне учителей — и все равно не могу читать без словаря: слова не держатся в голове. Один раз послали на районную математическую

олимпиаду — провалился самым позорным образом, чем и развеял миф о математических способностях. А в институте уже и не блистал, бойкость и та пропала.

Торжествовать способности по случаю триумфов в школьной программе смешно. Школьную программу можно вдолбить и медведю.

Но если бы я мог начать снова, лучше бы я гулял во дворе: собственный опыт в десять раз ценнее книжного. Будь я уличным мальчишкой, я бы с детства знал, чего хочу в жизни, не страдал бы от безнадежных влюбленностей, легко сходился с людьми, умел бы не мечтать, а добиваться. Жить надо уметь — в хорошем смысле тоже, и умение добывается опытом, а не только чтением.

Правда, Уайльд в свое время сказал, что умный человек учится на ошибках ближнего.

* * *

Наша участковая докторша, женщина лет сорока, говорит вместо сфинксов — *свинсы*. Всерьез.

А однажды рассказала про фильм «Марыся и Наполеон»:

— Это про любовь Наполеона и одной польской киноактрисы.

Рассказываю — не верят. Думают, раз врач, то неизбежно должны наблюдаться начатки культурности. Престиж высшего образования.

Правда, лечить себя я ее не допускаю. Использую исключительно для получения бюллетеня.

* * *

С Надей познакомился примерно год назад в какой-то высокоинтеллектуальной компании. Все вокруг говорили чрезвычайно умные вещи. А мы переглядывались. Кто-нибудь скажет очередную умность, а мы переглядываемся:

«Слышала, оценила?» — «Да уж оценила. А ты?»
Счастливей минут, минут более полного понимания у нас и не было. А ведь не сказали ни единого слова.

* * *

Есть же счастливицы, с которыми что-то случается. По образцу Общества охраны природы нужно бы организовать Общество охраны приключений.

* * *

Когда-то в «Крокодиле», кажется, была статья, высеивавшая и клеймившая мещанами тех, кто очень беспокоится о сохранении Байкала, хотя сами никогда не ездят дальше Рицы. На самом же деле мещанин тот, кто писал, ибо это прекрасная черта, черта, необходимая современному человеку: заботиться не только о сохранении личного уголка, не только места собственного отдыха, но всей земли. Без такого массового беспокойства земля погибнет в нечистотах.

* * *

У нашего Игнатия Платоновича внешность — хоть сейчас играть опереточного академика: менделеевская борода, на лысине черная ермолка, как у Фаворского. Я с подозрением отношусь к поэтам со слишком поэтической внешностью, к морякам — со слишком морсковолоквой. Достойнее всего, когда человек просто похож на самого себя, и нельзя догадаться, поэт он или фининспектор. Но уж если заводить типичную внешность, то обманчивую: симпатичны физики, похожие на пиратов, и пираты — вылитые студенты-филологи.

* * *

Надя попросила помочь сдать бутылки. Загрузили две сумки и рюкзак для меня, две сетки для нее. И еще остались бутылки, у которых пробки вдавлены внутрь,—

Надя сказала, что умеет их вытаскивать, но сейчас некогда. (Я не умею, а она умеет.) У меня руки неслабые, но еле донес — разжимались пальцы.

Сдали на двадцать рублей! В подвале, где приемка, на нас смотрели с почтением. Приемщица спросила:

— Кто же больше пьет — муж или жена?

— Поровну,— сказала Надя.

— Не имеет права больше мужа,— сказал я.

Счастливым миг, когда нас приняли за мужа и жену!

Очередь сзади негодовала. Какая-то баба все повторяла:

— Молодые, а ходят бутылки собирают!

Я ей сказал:

— Бабушка, надо верить людям. Мы же целый месяц не сдавали!

На самом деле накопились за пять месяцев, с тех пор как Надя переехала в эту комнату. Правда, почти сплошь бутылки из-под сухого. Но и водки достаточно. Я из сданных бутылок не выпил ни одной — тоже обидно. Не выпил потому, что сам, если захожу, то без бутылки (не понимаю этого обычая, теперь почти обязательного), а когда у Нади свои художественные гости, она меня не зовет.

* * *

Позвал Надю съездить в воскресенье в Кавголово. Сказала, что поедет, если будет в состоянии: в субботу ей предстоит идти в гости, так что неизвестно, окажется ли после этого в форме. Все стало ясно заранее. И точно, в воскресенье она говорила умирающим голосом, и ни о каком Кавголово не могло быть речи.

Тут многое обидно и противно. То, что ей важнее быть в дурацкой компании, чем со мной. То, что она не может нормально выпить вина, а должна хлестать водку. И знает же, что на другой день будет валяться чуть жива.

Интересно, ей это на самом деле нравится или она считает себя обязанной вести богемную жизнь? Часами по-дурацки спорить, гений Илья Глазунов или бездарность, по ночам не спать, потом утром принимать димедрол и отсыпаться за полдень. Всклокоченные коллеги считают нормальным заявиться часа в четыре — не то ночи, не то вечера, по их понятиям. И хоть бы с любовными намерениями — мне было бы больно, но понятно, — нет, просто пить и ругать очередную знаменитость.

Ей нельзя жить одной. Потому что друзья изнывают под гнетом родителей, жен — а тут свобода! И Надя от бесхарактерности сопьется. Потом ей объявят, что приехал гениальный мальчик из провинции, нужно срочно фиктивно жениться прописки ради: «А, кроме как на тебе, не на ком, поддержи, старуха, искусство!» — гениальный мальчик пропишется, потом отсудит половину комнаты.

После того как она мне отказала, я не могу ей все это объяснить: будет выглядеть банальной ревностью. Да если б и объяснил — ничего бы не изменило. Не может меня — полюбила бы хоть кого-нибудь! Для своего блага: авось бы счастливец навел порядок. Я же не только люблю, мне ее и жалко.

* * *

Но Надя вызывает уважение тем, что в живописи не гонится за модой. Ее работы сразу можно узнать по манере.

Что ж, может быть, для нее важнее противостоять моде в живописи, а на противостояние в жизни уже не хватает сил.

* * *

Будь моя воля, я бы отменил чины в искусстве: «заслуженный», «народный». Кого зрители любят, тот сегодня и народный. От чинов только лишние интриги,

растравленные самолюбия. То же и с диссертациями. На ерунду уходят лучшие годы. Надо просто делать науку без средневекового ритуала защиты. Еще д'Артаньян сказал: «Долой диссертации! Я требую отмены диссертаций!»

А если наши корифеи будут себя чувствовать на международных конгрессах неполноценными без приставки д-р, пусть докторские степени присуждаются по совокупности работ, без защиты. Как выражались в те же средние века: *honoris causa*. То есть из чистого к ним уважения. А настоящее уважение, в отличие от диссертации, не возникает на пустом месте.

* * *

За последние пять лет я повзрослел на три года.

* * *

Кто-то сказал: у человека должен обязательно звонить телефон. У меня звонит редко. Значит, плохо живу. Я не о Надиных звонках. Вообще.

* * *

Но ведь я живу на свете. Я! Хочется крикнуть, чтобы весь мир услышал. В чем-то я понимаю Герострата. Нет, я бы ничего не смог поджечь и не хочу, но самое это желание, чтобы все знали обо мне, так понятно. Хорошо талантливому композитору, поэту, а что делать мне? Мне — без особых талантов? Что мне делать, если чувствую в себе целый мир? Как выразить? Как донести? Со стороны посмотреть — обычный человек, непримечательный, и никто не догадается, что какой-то особенный мир носит в себе. Но вокруг такие же — значит, и в них?! Ну не во всех, многие заняты только внешними, сиюминутными делами — не во всех, но во многих, во многих! Так что же нам делать, бесталанным гениям многочисленным? Вот слово найдено: *бесталанный ге-*

ний. Что *бесталанный* — понятно, но *гений* откуда? Так ведь внутренний мир никто измерять не научился — и термометра нет, и неизвестно, в каких градусах мерить. И никто не может сказать, у кого острее переживание: у Чайковского, у меня или у чудака Хейфеца из тридцать второй квартиры. Ересь, сам понимаю, что ересь: Чайковский — и старик Хейфец! *

Но что мы знаем о душе Чайковского — судим только косвенно: по трио, по Шестой симфонии. Теперь представим: отнялся бы у него мелодический дар или просто оглох бы в детстве, скарлатина бы осложнилась — значит, и не было бы Чайковского? Да, для нас бы не было. А для него самого? Душа-то в нем осталась та же — та же, что породила трио и Шестую. Только вся внутри, без выхода вовне. Вот и был бы бесталанный гений. А сколько таких! Сразу просится вопрос, вопрос-возражение: ну и пусть себе живет, радуется своей полной душе — трагедия-то в чем? А ведь есть трагедия! Трагедия собаки, которая благороднее некоторых людей, но языка не дано — и остается существом низшим. Самовыражение, оно как голод и жажда: требует утоления. И коли не утолишь — беда. Вот я и спрашиваю снова, не спрашиваю — вопрошаю: *так что же нам делать, бесталанным гениям многочисленным?!*

* * *

Гадкие утята обнадежены Андерсеном и надеются

* Этот Хейфец дальше в записной книжке нигде не упоминается, а он личность примечательная. Он всегда абсолютно спокоен. Скандалит жена, ссорятся, чего-то требуют взрослые дети, плачут внуки, пожар у него случился — он ни разу не ускорил шаг и не повысил голос. Ему говорят:

— Абрам Исакович, как вы так можете? На пожаре забегал бы и философ.

Ответ всегда один:

— Что может взволновать еврея, который пережил минское гетто?

стать лебедями. Ну а как быть тем, кто вопреки сказочной очевидности вымахал в обыкновенных селезней?

* * *

У мамы любимые выражения:

— Чудеса в решете!— когда исчезает вещь (поминутно!), только что бывшая под рукой.

— Э-э, душа моя Тряпичкин!— когда ползет один из неистребимых у нас клопов.

Да много. И все неизменны, как былинные эпитеты.

* * *

На целый день отключили воду, и жить в квартире сразу стало невозможно: ни сварить, ни помыться, ни в уборную. Проявился пугающий меня террор города: зависимость от множества коммуникаций — электричества, воды, теплоцентрали. Долгий перерыв — катастрофа.

Я родился, когда блокаду уже прорвали, помню город только послевоенным, но где-то в генах, видать, засел блокадный ужас, и потому я особенно болезненно воспринимаю перерыв в электричестве или в подаче воды. В деревне должно быть чувство независимости, уверенности в себе: сплошное самоснабжение — колодец, огород, дровяная печь. Блокадный идеал у послевоенного, в сущности, ребенка. Или на самом деле существует генная память?

В маме есть черточки смешные, есть досадные, но уж героического нет точно. А она пережила всю блокаду. Кто бы догадался? И где предел того, что может вынести обычный человек — в чем-то смешной, в чем-то жалкий? В чем-то великий.

* * *

Еще пример моей дырявой памяти: несколько раз смотрел, кто архитектор Академии художеств,— так и не запомнил.

А ведь люблю город.
Слабо сказано — люблю.

* * *

Следующее поколение — кричащее. Сколько раз слышал на улице отчаянный крик, словно убивают среди бела дня при всем честном народе. Нет, просто возьмется два многообещающих юноши лет по шестнадцать. Орут от полноты чувств, и нет им дела ни до кого. Вообще-то меня шокирует: окружающим ведь вовсе не приятно слушать вопли. Но в то же время и завидую: я так не мог никогда. Я бы постеснялся громко кричать, даже если бы меня убивали всерьез. В воспитании ли дело или уж не знаю в чем, но внутренняя скованность всегда перехватит горло и не выпустит крика.

Ну хорошо, пусть я вообще скованный, но и сверстники мои, когда мы были школьниками, беспричинно не орала, как это принято сейчас.

* * *

Снова Надя не позвонила в обещанный вечер. Действительно постоянство. Объявилась через три дня. Сказала между прочим:

— Да, я, кажется, обещала звонить в среду?

На этот раз я нашелся довольно удачно. Сказал голосом лениво-равнодушным:

— Да вроде бы.

Она явственно растерялась: как это я настолько пренебрегаю ее звонком, что даже не помню, обещала она или нет.

Редкий случай, когда очко в мою пользу.

* * *

Валечка, наша библиотекарьша, разыскала для меня Воннегута в старых журналах. Самое трогательное, что я ее не умолял, не обаял — просто упомянул, что давно

хочу прочесть Воннегута. Я даже растерялся — не при-
вык, чтобы для меня делали что-нибудь особенное.

* * *

Работа как работа, вот что плохо. То есть я видел таких и у нас, для которых работа — все, ждут результата каждого опыта с такой страстью, с какой принято ждать решительного ответа любимой. Ну а я отношусь спокойно. Не могу же я насильно заставить себя волноваться. Уморю за день сколько-нибудь несчастных мышей и крыс во славу фармакологии и иду домой. Научная работа, ставшая в наше время для сотен тысяч обычным ремеслом, не более волнующим, чем сапожное.

И хочется мне знать: просто ли я ошибся, не за то взялся, и существует дело, мне неизвестное, за которое я бы болел, не спал бы по ночам, обдумывая идею, — ну, в общем, как это делают образцовые герои в биографиях серии ЖЗЛ? Или на любом месте я бы оставался холодным ремесленником?

В детстве я мечтал стать летчиком. Над детскими мечтами принято смеяться, но мне моя мечта и сейчас не кажется смешной. Ни одного реального шага я не сделал. Здоровье у меня обычное, явных дефектов нет; так что, может быть, и приняли бы. Но как-то само разумелось, что нужно идти в институт, заниматься наукой.

* * *

Фармакология издавна сокращается студентами как фарма, отсюда созвучно: ферма. Естественно, что наш институт так в просторечии и обозначается: «У нас на ферме...», «Сбежал с фермы...» Такое просторечие немного примиряет с нашим институтом: чего с него взять, если всего лишь ферма?

Фарме созвучна и фирма, но так никто не называет. Видно, не один я чувствую, что у нас не фирма.

* * *

Славка * уже в десятом классе. Им задали сочинение на тему: «Кем я хочу быть». Он написал: «Буду гроссмейстером!» Вот, пожалуйста:

«Не хочу, а буду! Гроссмейстеры — элита, и нечего этого слова стыдиться. Люди завистливые поймут по-своему: только и делать, что переезжать из Гастингса в Лас-Пальмас — жизнь! Также приятно, но я имел в виду другое: элитность в глубине понимания. Для меня классная партия — как детектив: читаю запоем. Скрытые возможности, варианты, нападения, защиты — под каждым ходом подтекст на десяток Хемингуэев. Нудный моралист осудит: недемократично! Но правда: любитель видит десятую часть того, что открыто мастеру. Чего ж стыдиться? Разве математик стыдится понимать свою абракадабру? Я уверен, каждый стремится хоть в чем-нибудь стать выше толпы, да редко кто признается. Скромность считается добродетелью. А я скажу: всеобщая скромность привела бы к застою!»

Вот так — коротко и решительно. Ну, Славка никогда не скрывал своих мнений. (Нудным моралистом оказался и учитель литературы: поставил Славке двойку за «толпу».) Конечно, он без пяти минут мастер. Но все равно я бы никогда не решился на такую откровенность. А ведь правда: мечтаешь всегда о чем-то исключительном; не верю, что кто-то мечтает быть таким, как все. Во всяком случае не я.

Но между мной и Славкой глубокая разница: он — кто-то, он имеет право громко сказать о себе. А кто я?

* Слава, Ростислав Сеньшин — двоюродный брат Сергея. То, что Слава добрался до десятого класса, большое достижение, ибо еще в первом он решил, что в жизни нужны вовсе не школьные предметы, и с тех пор вел себя соответственно.

У нас на ферме скандал. Бесценный Игнатий Платонович обнаружил, что его недостаточно ценят. Хуже того — травят. Обнаружил из того, что его не выдвинули в членкоры. (Я, каюсь, не сомневался, что его и выдвигнут и выберут.) По случаю такого афронта И. П. закатил сцену ученому секретарю. Хоть бы закрылся в кабинете, а то у всех нас на глазах:

— Здесь заговор, настоящий заговор! Создаются невыносимые условия! Для творческой работы нужно душевное спокойствие, а я его совершенно лишен! Я перестал творить! Для меня, прожившего творческую жизнь, это трагедия!

Бедный секретарь попытался что-то возразить. И вызвал громы на свою голову:

— Ага! Я так и знал! От вас все идет, от вас! Я хотел вас уважать, я не верил, но теперь вижу! Сначала создать такие условия, что я лишен возможности творчески работать, а потом меня же обвинить в бесплодии! Остроумнейший план! Чувствуется рука, закаленная в научных битвах!

В этот момент И. П. выглядел почти торжествующим: восторг разоблачений. Не надо в цирк ходить.

Представляю шекспировскую сцену: И. П. дома! Пифос, страсть, фарс! А жена сочувствует. Она верит, бедняжка, что ее муж — талант. Ныне — гонимый талант. Не спит, плачет, сочувствует. И невольно позавидуешь: благо тому, кто сумел внушить к себе нерассуждающую восторженную любовь.

Любовь и должна быть слепа. Этим и прекрасна.

Когда мне было лет восемь или девять, был у нас знакомый часовщик — Вакулка. Один раз отец пошел отдать ему часы и взял меня. Я вошел — и сразу как

бы опьянел от роскоши: множество часов на стенах, малахит, чугун, бронза, мрамор.

Вакулка преувеличенно обрадовался, увидев меня:

— А для Сереги у меня есть немного, но кое-что!

Из шкафа была извлечена на свет железная дорога. Шпалы деревянные, рельсы крепятся настоящими костылями — миллиметровыми, старинные вагоны в мельчайших подробностях: открываются двери, опускаются окна. Но главное искушение — паровоз!

Электрические железные дороги тогда были еще редки, но все равно особого восторга у меня не вызывали: электробритва на колесах. Но паровоз! Вакулка залил воду, натолкал в топку щепочек, разжег, поднялись пары — пых-пых, пых-пых — и поезд поехал! Шатуны ходят, медные части блестят, гудок гудит.

(Позже я узнал, что дорога эта досталась Вакулке из дворца в Ливадии, когда там после революции распродавали игрушки наследника.)

Вакулка меня подначивал:

— Серега, скажи папке, пусть купит!

Боже, как мне хотелось этот паровоз!

Но я чувствовал, что отец смущен и раздосадован атакой Вакулки. Царская игрушка стояла, наверное, не меньше хорошего костюма (слово «костюм» тогда звучало совсем не так, как сейчас). Я уже знал, что такое дорого.

Я чувствовал, что если очень просить, реветь, отец, может быть, и купит. Но ему не хотелось.

— Ну, Серега, скажи папке!

Я насупился и сказал неохотно:

— Вовсе я не хочу.

Самое время умилиться: какой чуткий мальчик, какой неэгоист!

А мне и сейчас жалко, что я не поиграл с тем паровозом. Что вообще недоиграл в детстве. Отец должен

был почувствовать, как мне хочется! Не должен был поверить моему фальшивому отречению!

Если бы я тогда умел вымалывать игрушки, я бы сейчас был другим.

* * *

Есть вещи предопределенные и обязательные. Ну, например, когда едешь на поезде, то все шлагбаумы, мимо которых проезжаешь, оказываются опущенными. Иначе не может быть, на то шлагбаумы и придуманы. И все-таки я всегда жду с надеждой: вдруг увижу из вагона гостеприимно поднятый шлагбаум? И хотя мне совершенно ясно, зачем и почему опущен шлагбаум, я каждый раз чувствую какое-то внутреннее беспокойство и готов спросить: почему же он всегда-всегда опущен? Почему?

Но шлагбаум — это так. Неудачная аналогия. Главное ПОЧЕМУ, на которое я не могу найти ответа: почему я — это я?! Мысль такая запутанная, что ее и выразить-то трудно, скорее чувство, а не мысль, чувство беспокоящее, прямо-таки сводящее с ума. Почему я — это Я?! Когда признавали вечную и бессмертную душу, с этим вопросом было легче: казалось ясным, что Я каждого — явление не случайное, не зависящее от минутных обстоятельств. Но сейчас, когда все вмещается в несколько десятков лет от рождения до смерти: почему я — это Я?!

Вот самый простой вопрос: если бы мои родители не встретились, у каждого были бы свои дети — существовал бы я?! Тот я, который сейчас думает, пишет? И если существовал бы, то кто был бы я — сын теперешнего отца или теперешней матери?

А если бы я родился на год раньше, на год позже? Был бы это я? Чувствовал бы и думал бы так же? Хочется верить, что я существовал бы и с иной датой рождения, потому что иначе придется признать, что тот са-

мый я, который, хочешь не хочешь, для меня мерило всех вещей, этот я — просто случайность.

Мы слишком много значим для самих себя. Это не имеет никакого отношения к эгоизму, просто у нас нет другого выхода, каждый — центр собственного мира. Но если все миры равноправны и случайны, возникает совсем уж сумасшедший вопрос: почему я в центре мира, обозначаемого как Сергей Сеньшин, а не в центре другого мира, ну пусть в центре мира, обозначаемого как Виктор Китаев? А ведь можно было и в центре женского мира оказаться! Маленькая случайность — и я родился бы женщиной. Я? Вопрос неразрешимый. Наше Я прочнее всего связано с полом. Могу себя представить в любой мужской роли, но женщиной...

И хватит, а то и правда свихнешься. Я — это я, и точка!

* * *

У нас на ферме сенсационное разоблачение: Мишка Капульский во время отпуска ездил к знахарке куда-то под Воронеж. Для молодого ученого, окруженного новейшими препаратами, как-то несолидно.

У Мишки — Рейно. Особенно он удручен тем, что руки всегда холодные и влажные. Убежден, что из-за этого противен женщинам. Где он только не лежал!

Спор медицины со знахарством закончился вничью: не помогло ни там, ни там. Впрочем, в резерве у медицины остается симпатэктомия. Рейно не исчезнет, но руки будут сухие и горячие — с гарантией*.

Крайняя точка зрения на ферме: просить о лишении

* При болезни Рево (такая транскрипция встречается чаще) сужены периферические сосуды, а также частично сосуды сердца и мозга из-за повышенного тонуса симпатических нервов. И если пересечь симпатическую иннервацию руки, то сосуды немедленно расширяются под влиянием антагонистической системы — парасимпатической.

Мишки степени. За ненаучное мировоззрение. Ну ради женщин рискуют не степенью — головой.

* * *

У меня замедленная реакция. Сегодня ехал в троллейбусе, стоял сзади, смотрел в окно. Вдруг спрашивают:

— Молодой человек, вы не скажете, где сойти к «Асторин»?

(Всегда окликают молодым человеком — пустячок, а приятно!)

Я начал объяснять: сойти у Казанского, пойти назад... И вдруг соображаю: что же я несу?! Я их посылаю к «Европейской»! В центре с детства знаю каждый дом, но все равно, если неожиданно спросят, мне нужно три-четыре секунды посоображать.

Значит, правильно, что не пытался в летчики.

Кстати, примечательно, что я высматривал в окне: считал встречные троллейбусы, каких больше — старых или новых, трехдверных? Меня близко интересуют новые троллейбусы, автобусы, дома, мосты и все такое. И доволен, словно они мои личные. Так что могу себя поздравить: у меня развито чувство хозяина города.

* * *

По телевизору передавали дурацкий опереточный дуэт. Личности у обоих — вульгарнее не бывает, ужимки, прыжки; слова на уровне:

Если вновь любовь
Нам волнует кровь...

Посмеешься, а потом выругаешься и устыдишься, что сам подвержен чувству, послужившему как-никак формальным поводом для создания подобных экскрементов искусства.

Но когда я ругался и негодовал, как мне хотелось,

чтобы рядом была Надя, чтобы смеяться и ругаться вместе с нею. Это постоянное стремление: чтобы она была рядом, когда говорю с интересным человеком, встречаю смешное место в книге, вижу красивую панораму с холма. Очень хочется показать ей любимые места: Теберду, Чусовую, Кивач.

Ее рядом нет, а я воображаю, что есть, и говорю про себя то, что сказал бы ей, и словно слышу ответы. Получается, я весь мир воспринимаю иначе — объемнее, полнее — уже потому только, что она существует.

* * *

Не могу избавиться от воспоминания: мое объяснение в любви. В таких случаях лучший способ — записать, становится легче. Ужасно это трудное дело — объяснение, когда не выносишь пафоса и всяческой риторики.

Мы сидели в Кавголове. Там очень удобно: почти что лес, но попадаются скамейки. Солнце просвечивало сквозь ели, пахло смолой и землей. Когда вокруг такая благодать, невольно удивляешься: и зачем мы коптимся в городе? Бродили мысли о рае в шалаше — над озером, в котором гнездятся дикие утки и отражаются облака. Бывают же минуты полного счастья! Вокруг никого. Надя положила голову мне на плечо.

Молчали. Объяснение сгущалось в воздухе как гроза, оно уже чувствовалось физически.

— Знаешь, — сказал я наконец, — выходи за меня замуж. Я ведь тебя правда люблю.

Надя молчала, будто ждала продолжения. Но я же все сказал.

Все-таки продолжил:

— У меня сразу появилось такое чувство, что ты родная. Едва познакомились. Еще и по имени не знали, просто смотрели друг на друга — помнишь?

Целовались мы попойтельно. Все было ясно: она ме-

ня тоже любит! Господи, да как могло быть иначе? Я с самого начала знал! Она, моя Она, и не могла быть другой!

Но потом Надя оторвалась и сказала:

— Нет, я не могу. Ты меня совсем не знаешь. За мной тянется старая-старая любовь. И от нее никуда не деться. Странная-странная любовь. Мы с ним даже не любовники, да он и человек-то пропащий: талантливый ужасно, но, знаешь, спился, выгнали из одного театра, из другого. Он знает, что есть на свете я, что я всегда его жду. И если узнает, что я его бросила, он просто не вынесет, он сделает что-нибудь ужасное. Безнадежный случай. Я про себя говорю, не про него.

Мне стало даже не столько обидно, сколько неприятно: Надина история представлялась уродливой, отталкивающей.

— Какая же это любовь? Это жалость.

— Называй как хочешь. Но он не вынесет.

— А я вынесу?

— Ты вынесешь. Ты сильный.

— Значит, нужно быть слабым, жалким! Нужно зайти, уйти с нашей фермы в грузчики при магазине — тогда ты всполошишься: «Надо спасать, он гибнет!» — и полюбишь ради спасения. Гуманизм.

— Ты же знаешь, что не уйдешь в грузчики.

— И этим виноват. Такой толстокожий, что даже не спиваюсь, да?

— Не надо так говорить. Все логично, но тут не можешь логикой. Я сердцем чувствую, что его нельзя бросать.

— Но ты меня любишь или его? Честно?

Она посмотрела с упреком, словно я сделал больно жестоком вопросом. Наконец сказала тихо:

— Его.

— Раз любишь, тогда не о чем и говорить.

— Не сердись.

Она притянула меня и сама поцеловала. Об этих вторых поцелуях вспоминать неприятно — фальшь, ложь.

Надя тоже почувствовала, оттолкнула:

— Не надо, нехорошо. Все равно у нас ничего не выйдет. Я там связана накрепко.

Как легко живется истерикам, пропащим пьяницам. Над ними трясутся, благородные женские натуры устремляются их спасать. Женщин пленяют слова. И они не понимают дешевизны этих слов. Если бы я ударился в жестокую мелодраму — как знать... Но я ценю слова слишком высоко. Я сказал, что люблю. Надя слышала. Если бы и она любила, этих слов было бы достаточно.

Да и врет она. Что же, так и загубит жизнь ради своего истерика? Придет кто-то другой, не я, и она пойдет с ним. Может быть, тот будущий счастливец расстреляет всю обойму пошлых красивых слов, но не в словах дело. Просто она его полюбит. А пока очень удобно и гуманно отговариваться такой вот старой и странной любовью. Похоже на то, как в четырнадцатилетнем возрасте многие девочки клянутся, что никогда никогда не выйдут замуж.

Но все же что-то между нами изменилось после объяснения. Словно она отказала не категорически, словно я неофициально занял в иерархии ее подданных место № 2.

* * *

Интересно, что мне искренне наплевать, на самом ли деле они не были любовниками или все-таки были. Но прихожу в бешенство, как представлю его тирады:

«Как, ты можешь сомневаться в моей любви?! Да для меня весь мир существует только потому, что есть ты! Ты излучаешь свет, как солнце, без тебя моя жизнь погибнет в пучине холода и одиночества!»

«Так, все понятно, я тебе больше не нужен. И ты можешь спокойно уходить, зная, что, как только закроется за тобой дверь, моя жизнь прекратится, угаснет, как одинокая свеча? Что ж, тогда уходи! И в самом деле, кому нужен жалкий неудачник?! Иди к процветающим бездарностям, иди, я тебя отпускаю, я тебя прощаю, но простит ли тебе собственная совесть?!»

* * *

Существует твердое мнение: кто грозит самоубийством, реально никогда с собой не кончает. Наверное, так. Но если бы кто-то грозил и действительно покончил, я бы не испытывал угрызений совести: такие угрозы — настолько дурной тон, выказывают натуру настолько пошлую и подлую, что забыть и простить нельзя ни при каких обстоятельствах. Такие люди позорят землю и недостойны жить.

* * *

Моя беда в том, что я очень аккуратен, пунктуален, никогда не опаздываю и всегда держу слово. Наверное, со мной удобно иметь дело. Но очень точного и аккуратного человека окружающие просто не замечают, как не ощущает палец воду в ванне, если она точно температуры тела. На гостя, пришедшего вовремя, не обращают внимания, зато какую сенсацию вызывает тот, кто опоздал часа на четыре. Все к нему бросаются, все восхищены: пришел все-таки!

Так же спокойно принимают возвращенные в срок деньги, но если должник после многих напоминаний приносит деньги на год позже, займодавец ликует: он-то уже не чаял, поставил на своих деньгах крест, но вот все-таки получил! Такое чувство, будто не вернул свое, а удостоился подарка.

Счастье в непосредственности чувств, в неомраченности, так какое может быть счастье, если внутри слов-

но будильник отстукивает, если каждую минуту знаю, сколько на часах и сколько у меня осталось. Это ужемания точности. Характерный случай вчера.

Неожиданно встретил Надю, она была хорошо настроена, да тут же кстатиредкаянепринужденность у меня. Потом Витька Китаев с Людкой — и вдруг выяснилось, что у Витьки день рождения, нужно ехать к нему. Пока собирались, пока по магазинам, приехали — уже девять. А во мне стучит будильник: в одиннадцать нужно быть дома, будут звонить по поводу одной книги, обещали достать. Что бы сделал всякий нормальный человек? Плюнул бы на свое обещание и веселился бы как мог. Но не я. Меня уже грызет: скоро уходить, скоро уходить — какое уж веселье. Пол-одиннадцатого встаю. Надя уходить, естественно, не хочет.

И не так уж мне нужна эта книга, и не для себя достаю, а для Сашки Вергунова, и не такой уж мне Сашка друг, и пообещал-то я ему мимоходом. Но будильник стучит, ничего не могу с собой поделать. Я ушел. Надя осталась. Сказал, что заеду ненадолго домой и вернусь ее проводить. Про такую глупость, как доставание книги, и признаться не мог, соврал: важный звонок из Москвы насчет лекарства для умирающей тети.

Самое смешное, что никто не позвонил. Ничего удивительного. Пора уже знать, что такого рода обещания сдерживаются процентов на двадцать. А я каждый раз, когда кто-то что-то пообещает, хожу и думаю, что так и будет. Злюсь, когда обманывают, но завидую обманщикам: свободные люди!

* * *

Валечка мне оставила журналы с Распутиным, и я стоял и вслух колебался, брать или не брать. За мной стояла женщина из отдела антибиотиков — я ее знаю только в лицо. Она быстро среагировала:

— Дайте тогда мне.

Но Валечка отчеканила непередаваемо вежливым тоном:

— Эти журналы взяты.

Очень приятно, когда для меня один тон, один голос, а для всех остальных — другой.

* * *

Почему-то ко мне часто подходят на улице с просьбой о пяти, десяти, тридцати копейках. Рожа, что ли, располагает? Если иду мимо винного магазина, окликают почти всегда:

— Эй, парень!..

Что дальше, известно заранее.

Раньше я давал. Стесняясь, не глядя в глаза просителю, но давал. А потом спросил себя: что это — щедрость? Вовсе нет. Просто дурацкая стыдливость, боязнь показаться скупым, некомпанейским. Ну и, разобравшись, давать перестал. Теперь, когда подходят с таинственным видом:

— Слушай, можно тебя на минуту?— я отмахиваюсь и иду дальше.

И цыганкам давать перестал. Они нахальнее, не просят — требуют, но я тверд. Чувствую, перестану себя уважать, если поддамся.

Бывает, у меня не оказывается ни копейки, а нужно ехать с другого конца города. Если на автобусе, еду зайцем, если на метро — приходится пешком, но подойти попросить пятак я не способен. Не знаю, гордиться ли этим, скорее просто излишняя стеснительность. Если у меня просят пятак в метро, я продолжаю давать.

* * *

Множество людей жаждут меня учить. Одни советуют бегать по утрам, другие — есть или не есть масло и яйца, третьи — читать или не читать такие-то книги,

четвертые... пятые... Советы различаются по степени агрессивности: от данных вскользь до проповедей, когда проповедник ждет, что вы немедленно за ним последуете, и негодует, когда вы медлите. Советы вскользь бывают иногда даже ценны, но агрессивных советчиков я буквально ненавижу! Они так самодовольны, так уверены в своей мудрости, в праве распоряжаться мною. А если они, к несчастью, окажутся правы — ну тогда они заслуживают самой мучительной казни. Нет ничего несноснее человека, с торжеством объявляющего: «А что я говорил!» Если воспитанный человек что-то мимоходом посоветует, и после окажется, что его советом совершенно напрасно пренебрегли, он первый смутится и постарается не напоминать о своей чрезмерной прозорливости (и пусть его в это время распирает гордость за сбывшееся пророчество, никто не должен об этом догадываться).

Особенно осаждают мелочными советами женщины:

«Убери волосы, они тебе падают на глаза».

«Не валяйся в этих брюках».

«Надень шапку — напечет голову»...

Черт побери! Мои глаза, мои брюки (я их и глажу сам), моя голова — так оставьте меня в покое, не заботьтесь о моем благе! Нет ничего невыносимее заботы со взломом!

* * *

Мне осточертело быть вежливым и услужливым, выполнять бесчисленные мелкие поручения и провожать из гостей пожилых дам — ведь нельзя их отпустить одних, а все знают, что Сереженька Сеньшин не откажет, он такой добрый и воспитанный. Соседи с неиссякаемыми просьбами: вернуть под потолком лампочку, переставить выключатель, донести из магазина телевизор, поднять на шкаф тяжелый чемодан. И без конца, без конца. Каждая просьба — мелочь, каждую выполнить

нетрудно: и даму проводить, и чемодан взгромоздить — но когда это каждый день, когда по нескольку раз в день, когда в самом интересном месте по телевизору вдруг в дверь нетерпеливо стучат и приходится все бросать и идти взгромозждать чемодан — просители становятся совершенно несносными. И не могу отказать именно из-за незначительности каждой просьбы: «Подумайте, он не смог помочь взгромоздить чемодан!» Вот и слышу добряком, хотя не решаюсь отказывать всего лишь из-за вялости и слабости характера. Если бы у меня была машина, она превратилась бы в круглосуточное такси для соседей и знакомых.

Зато не помню случая, чтобы кто-нибудь помогал мне. Наверное, помогли бы, если бы попросил, но мне несносно просить. Я мечтаю, что кто-нибудь когда-нибудь сам догадается, когда и в чем мне надо помочь, но почему-то такого не происходит. Ну есть, конечно, двое-трое друзей, которым я помогаю от всей души и рад бы сделать больше того, что делаю, но только двое-трое.

* * *

Был случайно на кладбище. То есть не на обычном, а на Литераторских мостках. Знаменитые могилы не тронули: не могу я полированный мрамор и прочие атрибуты уважаемой могилы связать, скажем, с Блоком, с его стихами. Полузабытая замшелая могилка сказала бы мне больше.

Но поразила случайная сцена. Две старушки. Одна красила черной краской декоративные цепи, другая сидела на скамеечке в огражденном цепями пространстве. Эта другая сидела совершенно неподвижно, в лице ее не было горя, вообще не было никаких чувств, воплощенная неподвижность. Вдруг стало ясно, что это вдова знаменитого человека, что она сейчас внутренне готовится к недалекому будущему, когда ее уложат здесь

же, и возможно, она даже испытывает тихое удовлетворение оттого, что будет лежать под красивым камнем в таком прекрасном месте. А подруга или компаньонка все красила и красила черные цепи, и казалось, ей нравится работа вблизи смерти.

Старушка уже сдалась, уже примирилась — вот что поразило!

А что, если в этом все дело — в том, что человек сдается и примиряется?!

Что, если старость наступает потому, что человек заранее знает, что после пятидесяти пора начинать понемногу стареть — и покорно стареет?!

Но если так, *значит, можно дерзнуть не покориться?!* Значит, можно дерзнуть поверить в то, что старость не неизбежна?!

Тут принципиальный вопрос: хозяин Я в своем теле, или Я — только жалкий островок сознания, запертый на чердаке живущего по своим темным законам тела?!

Для человека, уважающего себя, ответ только один: да, хозяин! Ибо унижительно быть жильцом, снимающим угол на чердаке. Но если я хозяин в своем теле, я могу и приказывать! Я же фармаколог, я же знаю, что никакого гормона старения нет.

Раз я могу приказывать, что мне мешает воспользоваться своей властью и приказать телу не стареть?!

Только вековое убеждение в неизбежности старости и смерти, *вековой предрассудок!*

Да, еще никто не избежал этой доли, но это не доказательство! То, что у всех только пять чувств, не есть доказательство невозможности шестого и седьмого.

Напрашивается решающее, казалось бы, возражение: стареют растения и животные, которым ничего заранее не известно о неизбежности старости. Но то, что обязательно для животных, не должно быть обязательным и для человека: у животных нет самосознания в человеческом смысле, они не могут приказывать самим себе.

Скорее всего старость — накопление ошибок при передаче клетками генетической информации; но если Я — хозяин в своем доме, я должен исправлять такие ошибки!

* * *

Вспомнил заметку в газете. Где-то в южных морях наш матрос случайно упал за борт. Сразу не заметили, корабль ушел, но парень не сдавался, плыл.

Его окружила стая акул. Естественно было бы испугаться, прекратить сопротивление, но он плыл! И акулы его не тронули. Он плыл среди акул несколько часов, потом его подобрала.

Почти любого парализовал бы вид подплывающих акул, и испугавшийся был бы тотчас растерзан*.

Не так ли парализует волю надвигающаяся старость? И не есть ли это путь к бессмертию: спокойно плыть среди акул — предрассудков старости и обреченности?

* * *

До чего же ослепительное состояние: увлечься мыслью! Теперь я верю, что можно не замечать, что ешь, можно выйти на улицу в одних носках.

* * *

Нужно безоговорочно поверить в свои силы. Груз векового предрассудка — страшный груз. «Никому не удавалось — как же удастся мне?!» — вот подлая мысль, готовая зашевелиться в любую минуту и все испортить. Но нужно повторять себе снова и снова: люди сдаются — и гибнут в океане, люди сдаются — и стареют. Если невероятное логично, нужно иметь мужество пове-

* Сам герой описанного в газете происшествия Валерий Косяк считает, что акул отпугнули оранжевые полосы на его плавках: акулы якобы испытывают недоверие к оранжевым предметам.

рять в невероятное, в этом единственная возможность быть ученым. Да просто быть человеком.

Если можно сколько угодно не стареть, значит, можно сколько угодно жить. Практическое бессмертие. Конечно, в конце концов интерес к жизни будет исчерпан. Но когда наступит этот конец концов? Через сколько десятилетий, столетий, тысячелетий? Жить сколько отпущено или жить сколько захочется — состояния непримиримо противоположные.

Блестящий пример — Гёте: закончил в глубокой старости «Фауста» и через некоторое время умер, ничем серьезным не болея. Умер, потому что счел свою жизненную задачу выполненной: жил, пока оставалась цель. Конечно, и он жертва предрассудка: если бы Гёте знал то, что сейчас знаю я, он бы, закончив «Фауста», сразу взялся бы за новую работу, столь же грандиозную.

Так, значит, недостаточно приказать себе не стариться. Столь невероятный приказ может быть выполнен только в том случае, если будет для чего не стариться, если найдется настоящая цель, которая подчинит себе все существование и оправдывает нескончаемую молодость. Столетний полный сил человек, захваченный важной и увлекательной работой — желательно, такой работой, которую никто другой не сделает так, как он, — такой человек прекрасен. Но столетний юноша, который как начал в двадцать лет веселиться, да так и не перестает, — должен являть собой зрелище удручающее.

В конце концов все решает цель.

* * *

С удивлением заметил, что уже несколько дней ни разу не вспомнил про Надю. Поглощен своей идеей.

Может быть, и она обо мне забывает потому, что захвачена своей работой? Не люблю слово «вдохновение», но все же рискну употребить: если она постоянно охвачена вдохновением, то ей не до меня? И ни до кого?

Что, если постоянная, ноющая как зубная боль любовь, с вечными обидами, с бесконечным пережевыванием, кто что сказал, кто как посмотрел,— что, если это всего лишь признак незанятости мыслей, праздности? Душа имеет потребность в сильных чувствах, и если нет цели, нет идеи, захватившей все существо,— всегда к услугам любовь, которая предоставит цель и даст развиваться чувствам. А если чувства взбудоражены другим (чуть не написал: «если чувства возбуждены естественным путем»), то любовь не нужна. Что, если она как протез, необходимый калеке, но лишний человеку здоровому?

Недаром же изобретатели по традиции изображаются анахоретами. У них своя неиссякаемая страсть, и им не нужно ничего больше.

* * *

Я не могу никому рассказать свою идею: больно уж ни на что не похоже. Не примут всерьез.

А такого близкого, кому можно рассказать все и быть уверенным, что поймет, у меня нет.

* * *

Главное — одушевляющая цель. А у меня?

* * *

Предположим, я прав, и бессмертие в моих руках. Зачем бесконечно жить тому, кто живет скудно?

* * *

Я помню, когда полетел Гагарин, а потом Армстронг на Луну, была совершенно отчетливая уверенность, что это не столько технические достижения, но огромный нравственный скачок человечества. Казалось, после *такого*, посмотрев на себя с гордостью и невольно очистившись, человечество должно стать другим. Сразу!

Что невозможно продолжать старые глупости, старые дразги, старую злобу. Отчетливое ощущение новой жизни.

Старая глупость не исчезла, как и старые дразги. И все же... Что-то изменилось, я уверен. Скачка не произошло, но маленький шаг сделан. Шаг, который будет полностью осознан только когда-нибудь в будущем. Потому что нельзя стать расой космической, таща на себе коросту глупостей и дразг. Что-то меняется! Как в феврале: еще зима, морозы вроде еще лютее, а уже что-то в воздухе неуловимо весеннее.

Счастье переломной эпохи.

Но обидно быть всего лишь свидетелем. Надо — участником.

* * *

Видно, все-таки есть телепатия. По крайней мере женщины ею обладают. Когда я не звонил Наде из упрямства, не звонил и сам мучился, она спокойно и уверенно ждала, когда я не выдержу и приползу на брюхе. А вот сейчас не звонил, потому что было не до нее, голова занята другим,— и Надя тотчас объявилась:

— Куда-то пропал. Даже и не позвонит.

— Ты тоже не звонила. Так что стоим друг друга.

— Но я же позвонила. А он сидит как мрачный эгоист.

Думает, заговорила игривым тоном, и я сразу должен растаять.

В результате сходили вместе в театр. На пьесу под названием «Настоящий мужчина». Настоящий мужчина оказался прохвостом, но боюсь, это не рассеяло иллюзий женской части зала: все женщины, кроме самых умных, мечтают о подчеркнуто *настоящих мужчинах*, настолько настоящих, что уже смахивают на пародию. *Настоящий мужчина* не бывает наивным восторженным влюбленным, он суров и воспринимает женское покло-

нение как должное. Вот и со мной — стоило убавиться наивности и восторженности, как Надя на глазах становится нежнее. Как бы она меня осчастливила, если бы отнеслась нежно раньше, когда я был наивен и восторжен! А теперь — теперь, когда я учусь принимать поклонение как должное (за что поклонение? — а ни за что; ведь принимают его как должное патентованные *настоящие мужчины*, а уж они-то как на подбор ничтожества), — выясняется, что и удовольствия особенного не испытываешь.

* * *

Часто говорят, будто по-настоящему ценишь только то, что трудно досталось, выводят из этого целую мораль. Может быть, если кому все достается легко, он и не ценит. А я всего добивался долго и нудно — и диплома, и отдельной комнаты, и диссертации вот теперь постепенно добиваюсь, и любви — так что уже и не радовалось, когда достигал. Выдыхался во время погони. А как бы я ценил, как был бы счастлив, если бы что-нибудь досталось мне легко, сразу, вдруг!

* * *

Не марки же собирать. Да и собирательство марок приходит невольно и властно, как любовь, — его не выбирают, но приемлют.

* * *

Все-таки источник наших настроений вне нас. С утра был скорее мрачен, но вышел на улицу — ах!

Иней обрисовал и выделил каждую мельчайшую веточку, каждый завиток чугуна на решетке. А солнце проникает внутрь крупинки инея, разбивается гранями кристаллов на цветные брызги и светит оттуда. Воздух входит в грудь игристый, как шампанское. И такое ощущение счастья!

* * *

Сегодня мама расхваливала мне сына одной своей знакомой: какой он талантливый, какое его ждет будущее — и каждое слово я воспринимал как пощечину. Хотя мама по простоте ничего такого в виду не имела. Она и сейчас думает, что я способный молодой ученый.

* * *

Опасно то, что мне начинает нравиться записывать свои настроения. Раньше мрачность или хандра были просто противными чувствами, от которых нужно стараться поскорей избавиться, а в записанном виде они как бы укрупняются, приобретают значительность. Глупо.

* * *

Рассказывал Сашка Вергунов, будто у его отца в сорок лет обнаружили рак. Полагалось бы впасть в панику, забросить все дела, писать завещание, переселиться в больницу, а Сашкин отец сказал:

— Моя работа рассчитана не меньше чем на десять лет. Я должен ее закончить.

Может быть, слова придуманы после, больно уж красивы, просятся в парадную биографию, но факт, что он продолжал работать как раньше. Только что злее. И ничего. А когда его обследовали через пять лет, рака не обнаружили. Само собой, объяснили тем, что первый раз ошиблись. Я думаю, он победил рак своей волей. Известны же такие случаи, их даже в монографиях описывают, стыдливо именуя *самоизлечениями*. То же со знаменитым Чичестером, первым проплывшим в одиночку вокруг света. Человек хозяин самого себя; если он не впадает в панику, но твердо приказывает себе жить — он живет. На ту же тему случай с девяностолетней старухой, которая совсем собралась умирать, но тут ей под-

кинули малютку, оставшегося без родителей; она встала, сказала:

— Я должна его вырастить!— И жила еще лет пятнадцать.

Все те же три слагаемых: *воля, бесстрашие, цель.*

* * *

Втянули меня в спор, хотя и не люблю. Больше всех выступал Витька Китаев, но не в Витьке дело — повторяли модную теорию, ее всякий как выскажет, чувствует себя крайне умудренным: дескать, человек ничуть не меняется, не становится лучше, существует только технический прогресс. Доводы лежат на самой поверхности: кровавее XX века в истории, пожалуй, и не было.

Но все же эта теория для меня неприемлема. Дешевая потому что. «Ах, мы не стали лучше!» Отрицать легко; еще Пушкин сказал, что глупость осуждения не так заметна, как глупая похвала: в осудителе охотно видят ум, глубину... А достаточно вспомнить историю наказаний: рубить руки и рвать ноздри считалось нормальным. Или перелом в отношении к природе, к животным, совершающийся на глазах: верю, что через 20—30 лет охотник-спортсмен, развлекающийся убийством, будет таким же варварским воспоминанием, как для нас римская публика, смаковавшая гладиаторские бои.

Привел как довод мысль о космосе: технические достижения несут прямой нравственный заряд. Человечество медленно, но неотвратимо осознает свое могущество, а с ним ответственность, сильный человек добр, сильное человечество тоже должно стать добрым.

* * *

У меня ретроградные вкусы, в чем не стыжусь признаться: не переносу кричащую и стучащую музыку, всех этих битлов и роллингов, равным образом абстракционистов и просто мазню, когда изображают чурбан с

обрубками и подписывают: *женщина*. Это торжествует крикливая наглая бездарность. Многие думают то же, но стесняются признаться, особенно среди тех, кто считает себя людьми культурными: демонстрируют широту вкусов. «Смотреть Репина, Шишкина, Айвазовского?! Фу! Хотим Модильяни!» (Это самые академичные, другие потребуют не меньше Поллока.) Видел я знаменитую «Шоколадницу»*. Отдам таких сотню за любой репинский этюд.

Да ладно бы Модильяни, сейчас для многих уже и Модильяни — устаревший академист.

Валят туда же в кучу фотографию, и не понимают, что таких волн, как у Айвазовского, нет и не было — это высший синтез, абстракция, фантастика моря!

Самое смешное и жалкое зрелище: *культурная* толпа, в которой каждый претендует на индивидуальность и все, бедняги, словно близнецы: в одинаковых бородах и одинаковых мнениях.

* * *

В автобусе: тощий с редкими волосами, язвенного вида *молодой человек лет сорока пяти*. И всегда останется молодым человеком, ибо это категория не возрастная: молодой человек предполагает незавершенность в облике, мечтательность в лице, когда в прошлом ничего, а в будущем надежды. К двадцатилетним комбригам гражданской войны никто бы не подумал так обратиться: *молодой человек*.

Комплимент ли, что так обращаются ко мне?

* Сергей явно имеет в виду «Шоколадницу» Модильяни, которую привозили к нам с выставкой картин из американских музеев. Ради справедливости замечу, что это совсем не самая знаменитая работа.

Знаменита другая «Шоколадница» — Лиотара, и она тоже приезжала к нам в Эрмитаж, но из Дрезденской галереи.

На ферме научный конфликт по всем правилам: И. П. намекнул, что я затягиваю испытания Р-86 и что кривые у меня получаются не очень показательные, не на такие надеялись, когда синтезировали. И все с эканьем, механизмом, прокашливаниями, вводными оборотами: «Не сочтите, что я хочу повлиять...» Намекнул, что показательные кривые могли бы войти в мою пресловутую диссертацию. (Говоря о диссертации, я всегда краснею, так как с детства приучен, что выказывать прямую пользу неприлично, а моя диссертация — это откровенная декларация: «Хочу прибавки жалованья!»)

Отвечал, что измерения делаю со всей тщательностью, суспензии приготавливаю сам, не передоверяя лаборанткам, что стремлюсь совершенно объективно оценить препарат и т. д., и т. д. Все крайне благородно. И. П. ушел, качая головой, говоря о сроках, о плане, о своих надеждах... Как хочется ему скорее сдать, отрапортовать, присвоить дурацкое коммерческое название вроде *ангиохлормезопунктин!* И речи нет о грубой фальсификации, упаси бог — так, нюансы.

Но вот вопрос: может сказаться на форме кризис то, что мне этот Р-86 не более интересен, чем оренбургский мой дядюшка, постоянно пишущий маме о ценах на оренбургском рынке? *

Такого рода научные конфликты — самое неинтересное, что только может быть. Интерес жизни не в них. А ведь они в большем масштабе доводят ученых мужей до инфарктов.

* Оренбургский дядюшка Сергея, Либерий Васильевич, имеет страшное увлечение: он платонически «спекулирует». Всегда в курсе всех цен, он занят выкладками: «Если взять 100 кг помидоров в Молдавии, где они по рублю, да привезти в Оренбург, где они по четыре, да вычесть расходы на дорогу...» При этом честнейший человек, живет исключительно на зарплату. И по специальности отнюдь не экономист — преподает биологию в школе.

* * *

У нас на ферме не соскучишься: Леночка Пименова купила путевку на пароходное путешествие по Дунаю (все ей завидовали, потому что мнс* может себе такое позволить только при финансовой поддержке родителей), но нужно проходить обследование, а поскольку, как теперь знает весь институт, она была не очень уверена в своем пищеварении, то послала на анализы Галку из вивария, лучшую подругу; Галка благоразумно проглотила какой-то фаг, но не помогло: высеялась дизентерия; Леночку повлекли в Боткинскую, она уверяет, что ни при чем, ей не верят... Два дня только и обсуждаются подробности анализов.

Анекдот еще смешнее оттого, что Леночка только что выступала на семинаре с докладом: «Этика ученого»... Впрочем, к науке ее анализы отношения не имеют.

* * *

Мне поручили вывесить объявление о мартовском вечере — я же вечный активист, как это ни странно. В своем тщеславии решил сделать красиво и позвонил Наде. Она сказала, что вообще-то завалена работой, но все же постарается, позвонит завтра, как у нее складывается. И конечно, не позвонила.

Надо бы уже привыкнуть, но я все же обиделся на такое явное пренебрежение: если не можешь сделать, позвони и скажи! Да что значит не мочь? Работы на полчаса. На питье и болтовню со своей богемной публикой тратит каждый день больше. Мыслимо ли представить, чтобы я отказал ей в такой мелкой просьбе?

Но я и невольно беспокоился: вдруг она заболела, хуже — попала под машину? Все бывает. Я на нее злюсь,

* Младший научный сотрудник. Сотрудник до того младший, что кто-то из вечных младших научных расшифровал эту аббревиатуру так: Мне-Не-Светит.

а она в это время в больнице! Так себя растравил, что почти уверился, что что-то случилось: ну не может же быть, чтобы она настолько мною пренебрегла! В конце концов, если отбросить более теплые чувства, существует элементарная благодарность: я ей сколько раз доставал лекарства. Конечно, никогда ей об этом не напоминаю, но было же.

Позвонил. Подошла сразу. Жива, ходит — уже хорошо.

Умения устраивать сцены мне не дано — поневоле приходится быть ироничным.

— А, привет. Рад, что ты все-таки жива и, может быть, даже здорова.

— Здравствуй. Нет, не здорова.

Да и голос не тот! Ирония с меня сразу слетела.

— А что такое?!

— Да всякие неприятности.

Если захочет, сама расскажет, а мне выпрашивать невозможно: я же всем своим поведением подчеркиваю, что она независима, и я не похож на традиционного ревнивца.

— Семейные или художественные?

У нее сложности с родителями.

— Да всякие. Потом расскажу. Не по телефону.

— Так, может, сейчас приехать?!

— Нет, потом. Я засыпаю: заглотнула три порошка димедрола. Завтра позвоню.

Услышав про димедрол, я почти успокоился. Все ясно: опять богема, опять всю ночь не спала, поддала — вот и неприятности. С похмелья она все видит в черном цвете. И точно, на другой день говорила здоровым голосом:

— Все уже в порядке.

— Что же было?

— Так, ерунда.

Вежливо поговорили обо всем понемногу. Сказала, что сейчас очень занята, а на той неделе обязательно зайдет, или я к ней, или куда-нибудь пойдем. Все. Ни слова о моей просьбе.

Самое было время устроить объяснение. Высказать все. Что не могу больше выносить вечное пренебрежение. Что не имеет значения, люблю ли ее до сих пор или нет, но подаю в отставку. Что, если она даже согласится когда-нибудь за меня замуж, то не нужно мне такого рассудочного согласия (может же она после долгих колебаний решить, что я буду холить и лелеять ее бережнее всех, и потому следует вручить мне себя, как вручают ценный приз), что самое жалкое положение, в котором может оказаться мужчина: стать влюбленным мужем вежливо-равнодушной жены...

Многое можно было бы сказать. И что-то произошло бы! Либо мы бы порвали окончательно, либо она бы в слезах прибежала ко мне... (Ну уж вообразил: в слезах!) Во всяком случае, прервалось бы теперешнее мучительное положение. Но не могу. Все должно пониматься без слов. Мне нужна женщина, которая бы меня любила и, следовательно, имела бы достаточно воображения, чтобы понять мое состояние. Наперекор всему я не теряю надежды, что ею станет Надя. Но для этого она должна все понять. Самостоятельно. Если я ей объясню, я убью надежду, потому что, стань она после объяснения нежна и чутка, я не поверю, я подумаю, что просто научил ее, как себя вести, чтобы выглядеть любящей. Нет ничего жалче вымоленной любви, и умолять о ней — самое нелепое занятие.

А ведь совсем недавно самому казалось, что излечился. И вот опять. Любовь одолевает, как малярия, — приступами.

Конечно, Надя не поймет и не переменится. И лучше всего тихо отдалиться — без объяснений. Звонить и встречаться все реже и наконец исчезнуть совсем.

* * *

Я не звоню, жду, когда Надя сделает первый шаг, считаю себя обиженным. А что, если и она ждет и считает себя обиженной? Как представлю, что она подбегает к каждому звонку, а потом разочарованно вздыхает, делается мучительно жалко ее...

Но нет, на самом деле это я подбегаю к каждому звонку.

* * *

А может, мне приятно быть обиженным, лелеять свои обиды?! Вот что было бы противно!

* * *

Из заключения следователя (вычитал в юридическом юморе типа «нарочно не придумаешь»):

«При осмотре установлено: на лице у потерпевшей видны следы побоев, но, принимая во внимание то, что на шее имеется пятно, сходное с отпечатком поцелуя, в возбуждении уголовного дела отказать».

Вот и мне одновременно хочется и ударить, и поцеловать. Кто может нас судить?

* * *

Я не могу спокойно выносить, если меня кто-нибудь ждет: долго разговаривать по телефону, когда стоят около будки; зайти по делу или в магазин, если иду не один, с той же Надей; тщательно мыться в душе, если ждут очереди. Глупо: Надя, когда мы идем вместе, заходит по пути чуть ли не во все магазины; в душе многие начинают тереться еще усерднее, когда видят, что я жду.

* * *

Все мы любим детективы. Ради ощущения полноты жизни. Нет, не полноты — *неожиданности жизни*. Вне-

запный поворот, взрыв — и рутина разрушена! Готов позавидовать даже жертве. А уж оперативник из угрозыска! (Подходишь, небрежно достаешь удостоверение: «Я из МУРа». А наш, стало быть ЛУР? Что-то он не так прославлен.) Вот у кого каждый день не похож на предыдущий, сколько бы сами пресыщенные детективы ни стремились убедить нас в обратном.

О, поэзия разрушения рутины!

Но вообще-то подобного рода чтение — вроде наркомании: попытка убежать от скуки собственной жизни. Читаем, отождествляем себя с суперменом-сыщиком, переживаем приключения — и при этом не рискуем ни волоском.

Кстати, у отца была странность: он не любил ни детективы, ни фантастику. Всему предпочитал пудовые романы вроде «Семьи Тибо». Мне за такой взяться и думать страшно.

* * *

Интересно, как смотрел на себя мой папочка, всю жизнь оформляя витрины? Или в этом тоже есть свое честолюбие, вершины, падения?

Даже если бы он был жив, я бы не решился его спросить: «Папа, ты удовлетворен собой? Ты не считаешь, что жил зря?» Есть вещи, которые невозможно спрашивать у родителей.

* * *

Все-таки позвонил Наде. Прекрасный предлог: Лосский привез коробку голландской пастели и предлагает купить. Мне часто предлагают художественные принадлежности: знают про Надю. А я принимаю с гордой молчаливой многозначительностью.

И все равно не хотел звонить. Дал себе слово не звонить. Еще за минуту был уверен, что не позвоню, и вдруг неожиданно для себя встал, подошел к телефо-

ну, набрал номер. Со мной бывает: долго-долго обдумываю и вдруг сделаю наоборот. Редко, но бывает.

Застал дома.

И что-то случилось. Мы говорили про постель, но это не имело никакого значения. Мы ласкали друг друга голосами.

Нужно было встретиться сразу! Может быть, сохранился бы порыв. Но Надя была занята, мы договорились на завтра.

А назавтра все не то. Обычная встреча, обычные разговоры.

* * *

Я вот довольно длинно пишу здесь иногда, а длинно говорить не умею. Все, что хочу сказать, всегда умещается в одной-двух фразах. В Спарте меня бы оценили. Но мой лаконизм свидетельствует не о деловитости, а о неуверенности, что меня станут слушать долго. И завидую тем, кто может говорить о пустяках полчаса.

* * *

У Нади неприятная черта: держит себя с какой-нибудь девицей как с лучшей подружкой, целуется-обнимается, болтает часами, а потом, когда девица уходит, общает:

— Дура страшная. Все мысли о тряпках и мужиках.

Или:

— Мила-мила, а стань поперек дороги — разорвет и затопчет.

Мне если кто не нравится или только неинтересен, не могу и находиться рядом. Если приходится, разговариваю вежливо, но только два-три необходимых слова.

* * *

Я все время негодую на Надю за то, что она меня не любит. А за что вообще меня любить? Что я собой пред-

ставляю? Заурядный научный сотрудник с заурядной внешностью, в компаниях скорее скучен.

И вообще, что я о ней знаю? Что я знаю о внутреннем состоянии человека творческого, человека, который возмущается, что сон и еда отрывают его от работы, для которого счастье только перед мольбертом? Если Надя в самом деле испытывает такое, я должен быть удивлен и благодарен, что она вспоминает обо мне хоть иногда.

Да что мы знаем о других, даже близких? А судим, судим...

* * *

Что я не выношу истериков, думающих только о себе, это я знаю давно. Но теперь заметил, что у меня вызывают подозрение, даже неприязнь люди, со слишком горячим радушием встречающие любого постороннего, готовые на все ради своих знакомых, источающие пылкую радость по поводу общения со случайными встречными — в поезде, на даче. Часто они сухи и даже злы с близкими: видимо, запасы радушия все же не беспредельны, и если слишком много тратить на чужих, то своим не хватает. И к тому же это плохое воспитание: подразумевается, что близких можно терроризировать плохими настроениями, срывать на них злость, с чужими же всегда необходимо быть милым. Куда приятнее люди, держащиеся с посторонними вежливо и приветливо, но все же чуть отчужденно.

* * *

Подобные рассуждения всегда держу про себя, и если кто-нибудь поступает не в моем вкусе, не сообщая своего мнения, хотя иногда очень хочется. Если бы высказывал все, что думаю о других, слыл бы ужасным занудой, прославился бы тяжелым характером, а так вроде слыу человеком легким и терпимым.

Еще одна идея, совсем уж трудновыразимая. Ну, словом, так. Для меня по-настоящему реален только современный мир, сегодняшний день. Есть будущее, о котором можно мечтать по-разному, и есть прошлое, которое благодаря истории представляем примерно одинаково, хотя тоже у каждого свои детали и оттенки.

Но для прошлых поколений их мир был так же современен и реален, как для меня нынешний. И так же каждый из предков был в центре своего мира, и так же каждое Я было результатом стечения многих случайностей. Ну и отсюда прямой вывод, что я уже много раз существовал раньше. Без всякой мистики, без переселения душ. Личность каждый раз со смертью исчезает, и невозможно вспомнить переживания прошлой жизни. Но в чем сущность существования моего и любого другого — не в деталях биографии, а в самом ощущении жизни, в нахождении в центре своего Я. Главное, просто жить! И тогда я смело могу представить всю историю как цепь собственных существований. Я сидел у первых костров, я же строил пирамиды, я же переселялся из Азии в Америку и Полинезию — исчезал и рождался, исчезал и рождался. Я видел все: Древнюю Индию и Грецию; государство Ашанти и разбойничьи гнезда викингов, Францию Генриха IV и Русь Ивана Грозного. Потому что всегда для тех людей их мир был единственным современным и реальным, а это и есть мой единственный признак: ощущение реальности мира. А значит, так будет продолжаться и впредь. Я увижу будущее — не Сергей Сеньшин, Сеньшин исчезнет и забудется, но родится некто, кто будет жить, кто будет думать о себе: Я — и для того будущего Я оно будет единственным реальным настоящим. Что потеряется, что исчезнет? Имя, переживания — да черт с ними, не такая уж ценность! Будет главное: ощущение жизни и реальности мира.

Что же предпочтительнее: неопределенно долгое существование моей теперешней личности (если предположить, что я в самом деле могу приказать себе не стареть) или бесконечный ряд исчезающих и рождающихся Я? Тут все дело в моей личности: стоит ли она того, чтобы ее продлевать? Не будем требовать гениальности, но если бы я как минимум был собой доволен — тогда, конечно, хорошо бы продлить. Но я же не очень собой доволен, и как знать: может быть, впереди более удачные варианты.

* * *

Все-таки нужно очень не любить себя, чтобы придумать такую теорию.

* * *

Так меня увлекла моя новая идея, что я сделал большую ошибку: рассказал Наде. Конечно, нужно сделать скидку на то, что эту мысль вообще трудно выразить (хотя сам я ее понимаю, или, вернее сказать, чувствую очень четко), а я к тому же плохой рассказчик, но все равно можно было отнестись сочувственнее. А Надя высмеяла. Приплела индийское переселение душ, хотя я все время твердил, что никакого переселения, что вся суть как раз в том, что нет никакой бессмертной души, что наше Я — результирующая миллиона случайностей, что единственное неизменное и постоянное само ощущение бытия! Она не слушала. Приписала мне то, чего я не говорил и не думал, и высмеяла.

Да как высмеяла. Если бы Надя меня любила, она могла бы не согласиться с моей идеей, но все равно бы заинтересовалась, как-то поддержала. Перед любимыми мы открываемся и потому беззащитны — и она словно обрадовалась, что есть возможность нанести удар.

Она говорила:

— Я никогда не думала, что ты так себя любишь!

(Вот до чего можно не понять: я же готов послать к черту все свои мелкие переживания, все, что составляет биографию.)

Она говорила:

— Если бы ты со своим вопросом: «Почему я — это я?» — обратился к психиатру, тот бы очень заинтересовался — тобой, а не идеей.

Она говорила:

— По-моему, ты это нарочно придумал, чтобы рассуждать в компаниях и казаться умным и интересным перед наивными девочками.

(Я, который мог рассказать это только ей, дурак!)

Я не пытался спорить, объяснять. Не поняла сразу, не захотела понять — тут уж не помогут никакие объяснения и уточнения. Только я не знал раньше, что в ней столько злости.

Но и хорошо. Теперь, пожалуй, все кончилось. Но неужели для того, чтобы это понять, нужно было получить столько оплеух?

* * *

Счастье — это когда тебя понимают.

* * *

У мамы смешная манера. Читают по радио Лермонтова, какие-нибудь самые известные стихи. Хороший чтец. И когда доходит до последней строки, мама присоединяется к чтецу и говорит в унисон, несколько со вздохом:

Мне грустно потому, что весело тебе.

Или:

Как будто в бурях есть покой.

Только у нее получается несколько хуже, чем у чтеца.

Кстати, даже самые хрестоматийные стихи мама ино-

гда забавно искажает. Из «Пророка»: «И горных ангелов полет...» По-видимому, она считает, что существует особая порода горных ангелов по аналогии с горными козлами.

* * *

После войны мама была одержима идеей делать запасы. Мне было лет пять, но помню. Существовал специальный сундучок для запасов, состоявших из круп и макарон. По случаю безденежья вряд ли удавалось запасти больше чем килограммов двадцать, но важно стремление. Память о блокаде слишком болела.

Сейчас о запасах нет и помышления, они одинаково бессмысленны и при разрядке и во время атомной войны.

* * *

Домовитые женщины, заботящиеся о семье, обидно много времени тратят в очередях. А могли бы использовать с толком: элементарно — читать. Предпраздничная очередь за тортом — не меньше чем на «Иосифа и его братьев», выбросили английские туфли — успеешь томик Гегеля, бананы дают — прочесть на радостях что-нибудь светлое, вроде «Сандро из Чегема»!

И домохозяйки стали бы энциклопедистками. Развращенные послеобеденными диванами и телевизорами мужья не смели бы при них рта раскрыть.

Не понимают своего счастья.

* * *

У мастеров особенная походка. И особенный взгляд. У тех, кто что-нибудь делает лучше всех. Все равно что. Гранят алмазы и прыгают в высоту. Женщины смотрят на них восторженно, а министры предупредительно. Такие люди могли бы основать Клуб незаменимых.

* * *

Гончаров сидел всю жизнь сиднем на одном месте,

а под старость наконец не выдержал и поехал вокруг света на своей Фрегат-Палладе*.

* * *

Ну вот, мне довольно твердо обещано *приключение*. Сашка Вергунов взялся учить на туриста-водника. Месяца три потренируюсь, и возьмут в поход. Два раза в неделю езжу в Лосево. Там и в самом деле что-то вроде Общества охраны приключений. Дело волнующее само по себе, но особенно привлекает тон: все очень просто и весело, но подспудно чувствуется взаимное уважение смелых людей — те прошли «пятерку» на Памире, эти собираются в верховья Катуня.

* * *

Все это, конечно, у меня интересные мысли: о человеческом Я и все такое прочее, но об этом можно думать только изредка, и они не определяют поступков. Нужно просто жить, вот и все.

* * *

Надя сама позвонила. Очень вежливо с нею разговаривал, очень мило — и никуда не пригласил против обыкновения. (Сколько сделано в свое время приглашений! Почти все отвергнуты — шикарная коллекция.)

Все-таки трудно было выдержать характер. Я по утрам себе твержу: «Я больше не имею с Надей ничего общего!» Но уже то, что приходится себя в этом уверять, свидетельствует об обратном.

Ничего, постепенно пройдет.

* * *

Фамилия: *Мужики*. Надо же заполучить такую! Множественное число и не склоняется. Николай Егорович

* И. А. Гончаров отправился в кругосветное путешествие на сорок первом году своей почти восьмидесятилетней жизни, еще до опубликования и «Обломова» и «Обрыва».

Мужики и Алла Ивановна Мужики. Они какие-то родственники Витьки Китаева. Витька попросил достать им лекарство.

А мне нравится именно это множественное число: оно как бы спаивает их неразделимо, невозможно о каждом из них говорить отдельно, всегда получится, что вспомнят обоих: «Мужики просили... Мужики сказали...» Вот и с лекарством — вряд ли они разом заболели одной и той же болезнью, но звучит так: «Мужикам нужно!» (А вот уже и склоняются — никуда не деться.)

* * *

Нас заставляют раз в месяц ходить в рейды от институтской дружины. Обычно довольно скучно: идем целой шеренгой с повязками, так что если и есть какой-нибудь хулиган, он заранее разбегается. А сегодня встретили забавного мальчишку (не хочется про него говорить «поймали»).

Капитолина Матвеевна, основа и опора нашей дружины, обладает чрезвычайным зрением, прямо-таки женщина-бинокль. Так вдруг она как вскинется, как вскрикнет:

— Смотрите, грабеж!

Мы предприняли некоторые маневры, разделились, зашли с двух сторон и в результате захватили мальчишку лет двенадцати, выпиливавшего кусок из двери, ведущей в какой-то склад. Захваченный держался с достоинством:

— Ничего я такого не делаю! Такие большие, лучше бы помогли!

Капитолина вся всплеснулась от возмущения: никогда она не слышала, чтобы грабитель, хотя бы и юный, приглашал дружинников на помощь.

Ну, в общем, мальчишка объявил, что склад сейчас пустует, что там заперли кошку и нужно ее выпустить, иначе она умрет с голоду.

Тут наши голоса разделились. Одни во главе с Капитолиной утверждали, что из-за какой-то кошки дверь ломать все равно нельзя. (Что такое кошка? У нас в фармакологии их морят десятками!) Другие все же гуманно возражали, что нельзя морить голодом живое существо. Почтение перед запертой дверью победило бы, но Мишка Савин, один из гуманистов, предпринял обходной маневр:

— Может, там нет никакой кошки? Может, это он так выкручивается?

Не в интересах кошки, но в интересах истины отверстие расширили. Долго звали. У Валечки нашлась колбаса — никакого эффекта. Наконец за дело взялся мальчишка, велел нам отойти, отобрал у Валечки колбасу — и явилась-таки тощая серая кошка, съела колбасу и ушла обратно в склад.

— Она и не хочет выходить!— торжествующе сказала Капитолина, точно это доказывало вину странного нарушителя.

— Она ночью будет выходить, когда никого. Теперь есть лаз, у нее жизнь!— объяснил мальчишка.

Дырявить двери складов все же нельзя, и мне было поручено доставить взломщика-гуманиста в детскую комнату. Валечка хотела пойти со мной, но не решилась: у нее муж, а Капитолина моральна как бетонная стена.

— Только держи крепче,— напутствовала Капитолина.— Убежит. Он такой.

Когда наша славная дружина скрылась из виду, я отпустил мальчишкину руку, и мы пошли рядом по-приятельски.

— Ну чего, дядя, так и потащишь меня в милицию?

— Так ведь нельзя же...

— Брось ты! Я уж сколько подвалов так взломал. А то забьют, так что же, кошкам подышать внутри?

Я тоже считаю, что морить кошек голодом нехорошо, но и согласиться с мальчишкой выходило как-то непедagogично. Я промышчал неопределенно.

— Честно, дядя, брось. Кому польза от детской комнаты? Вон ты какой взрослый, ты бы лучше со мной делом занялся. У нас завтра Генка Живодер Нюрнбергский суд устраивает.

— Какой еще Нюрнбергский?

— Придумал. Объявил кошек фашистами, будет их судить и вешать. Они уже сидят пойманые.

— А что же другие ваши ребята?

— Он давно мучает, кого поймают. Потому и Живодер. Выдумал суд, дуракам стало интересно. Придут смотреть.

— Ты бы взрослым сказал.

— А им всем некогда. Или говорят, что от кошек одна грязь. Или как ты: поди да скажи доброму дяде. Самому надо!

Самому надо, это он сказал точно.

— Ему уже пятнадцать, мне с ним не справиться. А ты взрослый. Завтра в шесть в подвале котельной. Приходи, будь хоть ты один человеком!

После таких бесед о милиции речи быть не могло. Он сказал адрес, будет ждать на углу.

— Ну так придешь?

Вроде я пообещал. Но неопределенно.

Я таким в детстве не был. К сожалению.

Звать его Андреем.

* * *

Колоссальное достижение: устроил небольшой скандал, когда одна наглая баба попыталась как ни в чем не бывало пристроиться передо мной в очереди! До сих пор в подобных случаях я начинал терзаться сомнениями: а вдруг она занимала, просто я не заметил?

А я пришел на угол без четверти шесть, как ни странно. Пригнало чувство, что от меня зависит чья-то жизнь. Пусть кошачья. Андрей встретил как благосклонный начальник усердного подчиненного.

— Ты, дядя Сережа, сразу на Живодера. Остальные разбегутся, их и держать не надо. А он один с тобой драться не станет.

— А почему у него нет этой, как ее, кодлы?

— Потому что он сявка.

Не скажу, чтобы я понял. Но успокоился.

Андрей оказался крупным стратегом. У подвала был только один выход, и деваться Живодеру было некуда. Я как бы от неловкости посторонился, и мальчишки, ровесники Андрея, благополучно сбежали. Сбежал бы и Живодер — ростом он, кстати, с меня, только еще тонковат, но Андрей подставил ему ножку.

А суд свой Живодер организовал всерьез. Уже и виселица была приготовлена: петли приделаны к спинке старой кровати. Кошки сидели в ящике. Андрей сбросил крышку — они вылетели ракетами.

Упав, Живодер сник и не сопротивлялся. Я толком не знал, что с ним делать.

— Ну и зачем ты этим занимаешься?

— Все равно от них одна зараза.— Живодер меня боялся, и только. Правым считал себя. Был упрям и мрачен.

Я умел действовать только логикой:

— Изведешь кошек, разведутся крысы. От них заразы больше: туляремия, лептоспирозная желтуха — слышал о таких?

— Откуда вы знаете?

— Я сам лекарства изобретаю.

Кажется, первый раз я сказал с гордостью о своей работе.

Живодер думал.

— А от крыс посыпать химией,— наконец придумал он.

— Они твою химию разнесут везде, люди отравятся. Сами крысы подохнут под полом — тут вообще сплошная зараза. Нет, лучше биологической регуляции ничего не придумано.

Он, может быть, и понял.

Но и я себя понимал. И удовлетворения от понимания не испытывал. Передо мной сидел пятнадцатилетний садист, который развлекается тем, что вешает беззащитных зверьков, и у меня нет на него возмущения, нет настоящих слов — я только и могу толковать ему о биологической регуляции. Андрей молчал у меня за спиной. Наверное, презирал. Уж у него-то, конечно, были настоящие слова!

И хоть бы у этого Живодера внешность дегенерата. Нет, нормальное лицо. При желании можно назвать и красивым. Ну правда, длинные волосы и не очень мытые — инстинктом не люблю я таких,— но ради справедливости должен признать, что большинство среди длинноволосых — нормальные ребята. Ну мода, что делаешь.

— Ну так зачем ты все это делаешь?— не понимал я его.

— Зачем-зачем? Интересно! А чего делать?

Вот пожалуйста, еще один скучающий. Ему тоже подавай приключения.

— А тебя бы так?

— Я человек. Людей нельзя.

Человек.

— Ну, в общем, так,— я постарался придать голосу твердость,— теперь я тебя знаю. Еще станешь живодерствовать, не в милицию отправлю, а к психиатру как садиста. Понял?

Пожалуй, угроза психиатром его озадачила.

Так и расстались. Андрей меня на прощание утешил:

— Ладно, мы ему во дворе сделаем темную.

— Ты его не боишься? Что отомстит?

— Шестерки его разбежались, а его одного не боюсь.

Я пожал ему руку с уважением.

* * *

А учителя нужнее врачей. Настоящие учителя. Если бы все настоящие, невозможны стали бы Живодеры, да просто хамы, просто невежи.

* * *

Страшное дело: сосуществование разных уровней нравственности, что ли. И не вообще на земле — в одном городе, в одном доме. Живет человек, занятый сложными мыслями, поисками истины, и невольно начинает казаться, что все заняты этим, все на таком уровне — и вдруг, словно замечтавшись, споткнулся и лицом в грязь, липкую и зловонную. Живодер. В психологию такого и проникнуть невозможно. Что им движет? Какие атавистические инстинкты? Но он рядом, мы с ним сосуществуем во времени и пространстве — это куда более странно, чем то, что с Байконура стартуют космические корабли, а в бассейне Амазонки продолжается каменный век. Умственное и нравственное расслоение.

* * *

Хорошо солнечным утром смотреть из-за деревьев на освещенную поляну. Солнце просвечивает сквозь листья, и нигде больше не увидишь такого праздничного зеленого цвета. Над поляной воздух колышется, струится, а деревья на противоположной теневой стороне стоят голубоватые.

Счастливые люди художники.

Покупал в полуфабрикатном магазине кабачки. Продащица начала взвешивать жареных цыплят. Когда я сказал, что вовсе не просил цыплят, она объяснила:

— Мне слышалось «табачки». Могли же вы так сказать, правда?

Меня передернуло при одном предположении, что я мог сказать «табачки». Не переносу уменьшительных, если их употребляют не в прямом смысле — о маленьком предмете. Галантерейный стиль, идущий от трактирных половых: «Балычка-с? Икорки? Блинков?» Мещанское и холуйское одновременно.

Вообще я крайне нетерпим к неправильной речи. Я бы не мог влюбиться в женщину, которая говорит «ложить», вместо «класть», будь она хоть Венерой Милосской.

Валечка сообщила под величайшим секретом, что у Лены Пименовой есть ребенок, воспитывается у бабушки в Саратове. Я честно хранил тайну, но вскоре обнаружил, что об этом знает вся ферма. Скорее всего, сама Лена и разболтала. Большинство людей не умеют хранить тайны: крепятся-крепятся, но наступает миг — и поток откровенности сметает все плотины осторожности и благоразумия (как сказал бы любитель безвкусных метафор). Я-то храню тайны — свои и чужие — с надежностью бронированного сейфа; где-нибудь на секретной работе мне бы цены не было. Раньше я с легким презрением относился к болтунам, которые жить не могут без откровенных излияний, но теперь... Это из той же серии, что моя неспособность опаздывать, неспособность менять планы: если собрался в одно место, не могу в последний момент передумать и пойти в другое. Словом, я весь жестко запрограммирован: «хранить тайну»,

«быть в час X в пункте Н»... Будто хорошая электронная машина. И как знать, может быть, моя научная ординарность имеет те же корни: жесткая запрограммированность, внутренняя невозможность сойти с проторенных путей.

И не потому ли в истории столько беспутных гениев?

* * *

Сдал наконец отчет по Р-86. Диссертацию кривые не украсят — ну, что есть, то есть. Теперь пойдет в клинические испытания. По идее, нужно испытывать удовлетворение, тем более остался абсолютно добросовестен, не захотел понять намеки И. П. Кстати, он не унывает — отчет все же сдан, план выполняется, можно протрубить при случае: «Сделан новый шаг на пути победы над коллагенозами!» Но я удовлетворения не испытываю. И потому, что шаг мелкий: еще один симптоматический препарат*. И потому, что не очень верю в лекарственное лечение: слишком много всегда побочных действий, слишком много новых проблем. Классический пример: стероидные гормоны. Да и антибиотики не без греха.

А главное, больной остается пассивным, он считает, что достаточно проглотить таблетку, остальное делается помимо него. А я считаю, что вылечиться можно, когда страстно этого желаешь, когда напряжена воля. Поэтому предпочитаю те методы, которые мобилизуют силы самого организма: массаж, физкультура, иглотерапия, физиотерапия.

* То есть препарат для симптоматического лечения — лечения, воздействующего не на причину заболевания, а лишь на внешние проявления. Например, когда при гриппе дают жаропонижающие, то не воздействуют на причину — вирус, а снимают тягостную для больного, а иногда и опасную высокую температуру. Так что симптоматическое лечение, хотя и не радикальное, все же часто большое благо.

Спрашивается: зачем я здесь? Пусть работают те, кто верит в фармакологию. (Есть же у нее успехи, никуда не денешься.)

Занесло случайно, разочаровывался постепенно, сломать жизнь не так просто.

Но это не оправдания.

Так, да не совсем. Не увлечен потому, что нет собственных идей, остаюсь слепым исполнителем, мельчайшим научным сотрудником. Или нет идей, потому что не увлечен? Где причина, где следствие?

Вот у Мишки Савина появилась грандиозная идея. Нобелевская. Если не полная чушь. Причина старения — в полимеризации, а как следствие — в снижении обмена. Что-то есть: у старых особей молекулярные цепи длиннее, это точно. Отсюда борьба: введение веществ, препятствующих полимеризации. Получится, нет ли, но предстоит захватывающая работа, научный детектив. (Да всякая настоящая научная работа — детектив.) А меня грандиозные фармакологические идеи не посещают.

Интересно: мысли носятся в воздухе — о предотвращении старения. Но разница в подходе: я делаю ставку на волю, Мишка — на препарат. Мой подход нравственнее, его — практичнее: доступен для массового применения.

* * *

Мне свойственна абстрактная жестокость. (Деликатный синоним *максимализм*.) Например, я считаю, что 0,9 сердечных больных — все эти инфаркты, стенокардии, склерозы — сами виноваты в своих болезнях: неподвижная жизнь, переедание, курение, алкоголь. (Это мнение большинства современных исследователей, к которому я охотно примкнул.) И я делаю вывод: раз сами виноваты, то недостойны сочувствия; если хотят, пусть помогут себе сами: физкультура, голодание, бросить пить и курить.

Но когда дело доходит до конкретных людей — московской тетушки *, например, — у меня не хватает смелости сказать им это в лицо. И достаю тетушке лекарства, и хлопочу о месте в хорошей клинике. Кажется, такая двойственность называется дуализмом?

* * *

Интересная статья по психологии спорта: пишут, что побеждает не тот, кто физически сильнее, а тот, кто больше хочет победить. И не где-нибудь в борьбе или боксе, а в самых точно измеряемых видах: прыжках, штанге. Прочитал и сразу свято поверил. Действительно, так и должно быть: побеждает тот, кто ни секунды не сомневается в своих силах!

* * *

Оказывается, эти Мужики и работают вместе. Собственно, у них и нет другого выхода при их нераздельности. Оба занимаются контролем чистоты воздуха в Ленинграде — есть, оказывается, такая специальная лаборатория. Судя по панораме, которая открывается в ясную погоду из Зеленогорска через залив, работы этой лаборатории хватит надолго. Зато и цель в идеале: чтобы на Невском дышалось, как в лесу.

* * *

Ну вот и пережил *приключение*.

Взяли меня на сплав по Ухте — река в Карелии, но не уступит Памиру — «пятерка». При этом твердили, какое это необычайное везение и честь, что новичка взя-

* Московская тетушка Сергея, Зоя Николаевна, удивительно милая женщина. Сохранила женственность, обаяние до семидесяти лет, не хуже Марлен Дитрих; кружит головы пятидесятилетним мужчинам. Но сердце себе и правда испортила сама: бесконечные гастроли третьестепенной певицы, 2—3 пачки папирос в день, кофе на ночь, увлечения, разрывы, простуды, перенесенные на ногах.

ли сразу на Ухту. Я в Лосеве поднатаскался и начал воображать, но тут сразу понял свое место. Вся Ухта — пятерка, но главное: Киверовский порог. Слив — семь метров! Водопад, а не слив.

Подошли и стали думать: проходить или обнести?! Всего нас — три байдарки-двойки. Две сразу решили обнести, а мы думали. Вернее, думал Сашка Вергунов, мой капитан, потому что у меня голоса не было. А я смотрел вниз, в котел. Страшно. И мыслишка: если Сашка решит обнести, я отступлю как бы нехотя, как бы не по своей воле. Не я струшу, а он.

Мне и правда хотелось проходить, хотя и очень страшно. Иначе все теряло смысл. Что толку в маршруте, если перед главным препятствием оробели?

Сашка изрек приговор:

— Ладно, испытаем свое счастье.

Это точно: кроме умения, на Киверовском еще и счастье нужно. Тут не раз и умелые гробились.

Под водопадом вода всегда вспенена, байдарку не держит, значит, сразу провалимся. А выход под углом в девяносто градусов, и нужно обязательно успеть сделать поворот под водой: иначе такой прижим, что костей не соберешь.

Спустили байдарку. Весело! Лихорадочное веселье. Ребята все внизу: вылавливать в случае чего. Толкнулись, попали в струю — и понесло. Мы не гребли: сразу установили весла в положение для гребка на поворот — и как судорогой свело. Мысль одна: как провалимся, сразу гребок, и вложить в этот гребок все, если хотим жить.

Перед сливом вода гладкая, как стекло, несется, а на поверхности ни рябинки. Вылетели — и зависли на миг. Нос всегда зависает над крутым сливом. Миг, а казалось долго. Все обострено, все чувства: каждую мельчайшую черточку видел, каждый натек смолы на коре, каждую сосновую иголку, камешки, корни подмы-

тые. Краски — ярчайшие! Внизу адский котел. И тоже каждый пузырек различаешь отдельно, каждый завиток воды. Ни раньше, ни потом такой яркости и четкости! До боли, как галлюцинация. Это не объяснить, это надо пережить — как с женщиной.

Миг — и ухнули. Тоже удивительно, только по-другому. Невесомость! Всю жизнь гириями к земле прикован, а тут сбросил. Ухнули, а мысль одна: гребок! Темнота, вода выкручивает руки, голову рвет назад. Гребок! Тоже надо почувствовать: как все силы, силы, которых и не подозревал в себе, — в один гребок! С хрипом, с болью, с отчаянием — а счастье. Потому что счастье всегда на пределе страсти.

Гребок — и чувствую: повернули!! Удивительно: в самой толще воды, а повернули, словно мы подводная лодка.

Выскочили наверх, дышим. Снова краски, но не напряженные, как перед сливом, а веселые, лубочные. А мы не останавливаясь летим вниз по каньону. Вокруг кипит, прыгаем между камней, но после Кивера — детская игра. Летим, орем песни. И самое смешное: на выходе из каньона пропоролись. Там дальше озеро, мы вылетели — и медленно, торжественно пошли ко дну.

Безрассудно, могли гробануться, обидно так рано — все логично. Но не пошел бы, не было бы у меня этого мига, и не орал бы потом песни, торжествуя победу.

* * *

Уверенности после Кивера я преисполнился: как же, прошелся рядом со смертью — и ничего. Ну что ж, гордиться имею полное право: испытал себя, не струсил.

Но все-таки... Но все-таки что-то в этом ненастоящее. Потому что двигала нами не необходимость. Настоящее приключение, когда нет выбора. Гнались бы мы за кем-нибудь, проходили изыскательский маршрут — словом, делали бы дело. А так — увлекательная игра.

Когда мы с Андреем ловили Живодера — это было настоящее, хотя без внешних эффектов, а тут ненастоящее, прыгни мы хоть с водопадов Виктории.

Ничего не скажу плохого про водный туризм. Буду сплавляться и дальше. И красиво, и волнует, и силы свои познаешь. Но не утишить им внутреннее смятение, не наполнить пустую жизнь. Нужно *настоящее*.

* * *

Все-таки в результате моих рассуждений о личности инстинкт самосохранения у меня притупился. Вчера неожиданно нащупал у себя узел под мышкой — опухоль?! Обычно люди в таких случаях покрываются холодным потом и, не замечая ничего вокруг, мчатся к врачу. А я решил: будь что будет. То есть была минута растерянности и страха, но именно минута, ну пусть пять. Потом взял себя в руки, сказал себе: глупо поднимать панику, скорее всего ерунда какая-нибудь, а если настоящий рак, то это уже метастазы, и что тогда за жизнь: бесконечные лечения, постепенно все равно попадешь в инвалиды. Но главное — не что я решил, а как отнесся: практически спокойно. Через полчаса уже думал о другом. Вряд ли мне бы поверили, если бы рассказал.

Постановил: больше под мышкой не щупать — забыть, и точка!

* * *

Ужасно любят на всяких сборищах говорить о здоровье. Каждый о своем. С упоением и интимными подробностями.

Как нужно себя любить, чтобы в деталях повествовать о своей отрыжке, своей изжоге, своих камнях, своих почках, своем мочевом пузыре.

* * *

Вечером нечего было делать, не с кем пойти даже в кино. Наде не звоню, больше никого нет. Вдруг вспом-

нил об Андрее, о его дворе, о Живовере. Сразу решил: пойду, узнаю, как там. Андрей встретил очень деловито:

— Слушай, дядя Сережа, возьми себе собаку!

— Зачем мне?

— Не тебе: ей нужно. Хорошая собака, овчарка почти чистая. У нее хозяин умер, одинокий, куда ей деваться? Соседи из квартиры выгнали.

— Чего же ты не взял?

— Мне вторую папа не разрешает: у нас боксерша.

— Чего же ты свою боксершу на Живовера не напустил?

— Скажешь! Лучше пусть меня режут, чем ее спускать: потом не распугаешься! Папа рассказывал: вор залез в магазин, там сторожевая овчарка, — порвала, конечно. Так вор подал иск за травму. Понял ситуацию, дядя Сережа?

Я подивился рассудительности двенадцатилетнего мальчишки.

— Я тебе объясню, дядя Сережа, чтобы ты свою не спускал. Звать Музой. Возьмешь, значит? Сейчас приведу.

Надо было отказаться сразу. Но я растерялся, что-то промямлил — и явилась Муза.

— Васькины предки три дня держать согласились. Завтра бы выгнали.

Муза посмотрела мне в глаза. И я уже не мог ее не взять. Потому что она мне поверила.

Ну что ж, мне сейчас и нужно собаку. Совсем по Бунину:

Затоплю я камин, буду пить.

Хорошо бы собаку купить...

Только что не пью всерьез.

* * *

Все-таки настырные эти любители животных. Вот и юный Андрей. Помог ему в одном, сделал, так сказать,

доброе дело, и он уже сразу требует от меня и второго, и третьего. Именно требует — не просит.

* * *

Муза читает мои мысли. Часто возьмет досада: вставать из-за нее приходится раньше, гулять, кормить — невольно подумаешь: «На кой черт? Зачем связался? Отдам куда-нибудь!» Она сразу подходит, кладет голову на колено и смотрит умоляюще. Жест явно означает: «Не отдавай, пожалуйста!» — потому что когда у меня нет таких мыслей, она голову на колено не кладет.

* * *

У нас с Валечкой симпатия: разговаривая, мы оба непроизвольно улыбаемся, делаем друг другу мелкие одолжения — вроде того что занимаем очередь в столовой. Когда я заикнулся, что у меня теперь собака и что не представляю, куда ее деть на время отпуска — еще не скоро, но все равно нужно думать: на маму рассчитывать нельзя, мама отмежевалась сразу, Валечка тотчас предложила подержать у себя. Так во всем. Кажется, чего бы лучше? Ухаживать всерьез, отбить от мужа! Но нет, не могу.

Она не занимает мои мысли, я не мучаюсь, не вижу ее. (Ведь все еще твержу себе: «У нас с Надей больше ничего общего!» — и не могу затвердить.) Смотрю на Валечку, нравится она мне, хочется в нее влюбиться — и так обидно, что не получается. Как назвать такое чувство? Дружба? — слишком горячо. Любовь? — слишком прохладно. Иначе не скажешь: симпатия. За маленький рост я ее называю Пони. И цитирую почти из Пушкина:

А в сем Понé какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый Понь,
И где опустишь ты копыта?

* * *

Но я все же внутренне уверен, вопреки всем самоуничижениям, что могу сделать что-то сильное, интересное. Но только не в своей фармакологии. То есть в том-то и дело, что она не моя. Занесло течением, а когда оглянулся, уже тридцать три...

* * *

Никогда не поздно...

* * *

Многие с тревожной мнительностью прислушиваются к своему телу, а я — к своей душе. Что хуже?

* * *

Киплинг:

И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все потерять и все начать сначала,
Не пожалев о том, что приобрел...

* * *

Идет какой-то месячник или смотр, и нас от дружины послали в рейд вместе с охраной природы. Из института двоих. Капитолина посылала меня с некоторым злорадством: на байдарке плавал, собаку завел — ну так и охраняй, тащись за сто километров, когда все отдыхают. Правда, оказалось, не за сто километров пришлось тащиться, а всего за сорок.

Никогда еще я не был в лесу с охранительной целью. И первое ощущение: зачем? Неужели кто-то способен покуситься? Древний зодчий, я уверен, впервые построивший храм с колоннами, вдохновлялся колоннами вековых деревьев. Даже и в исхоженном пригородном лесу сохраняется ощущение храмовности, святости

места. Но святотатцев во все времена бывало немного, они покрывали себя геростратовским позором. Здесь же... Скоро начинаешь замечать, что впору поставить егеря под каждой елкой: срубленное дерево, разоренный муравейник, изуродованный черничник. Такого черничника никогда раньше не видел: торчат ости с редкими случайными листочками. Мне охотно объяснили, что изобретена специальная ягодосборочная машинка: идешь, толкаешь перед собой, стриг-стриг-стриг — и все ягоды в кузове, правда, вместе с листьями. Удобно: не надо наклоняться.

Удручает отсутствие зверья. Птицы есть, хотя не очень много — четвероногих на воле я в жизни никогда не видел. Говорят, есть: и зайцы, и кабаны, и лоси, но они благоразумно стараются не попадаться на глаза. Удивительное дело: охотников — меньшинство, но это наглое меньшинство терроризировало зверей везде, кроме ограниченных заповедников, лишив всех нас, мирное большинство населения, радости общения с непугаными зверями. Человека животные не боятся — тому примером многочисленные дикие поселенцы в самых крупных городах: они боятся человека с ружьем. Естественно было бы устроить наоборот: отвести для охоты ограниченные территории, в остальном же лесу (степи, горах) охоту запретить.

(И это компромисс. Непонятно, зачем нужна охота вообще. Что за странная забава: убивать живое? Особенно несовременно охота выглядит сейчас, когда мы каждый день узнаем удивительные вещи о разуме животных, и представления о четвероногих автоматах, наделенных ограниченным набором рефлексов, безнадежно устарели. Ведь как-то неудобно убивать разумные существа, а?.. Но пусть бы сначала хоть ограничить охотников, пусть хоть компромисс!)

Долго ходили впустую. Осквернители леса куда-то попрятались. Но все же наконец засекли браконьера.

Печально, что существуют браконьеры, но все равно, когда засекали, было такое чувство: повезло! Потому что очень обидно слоняться впустую. И началась погоня. По болоту. Мы бежим изо всех сил, он от нас изо всех сил, а дистанция не меняется ни на метр. Ноги уходят почти по колено, после каждого шага боишься, что оставишь в трясине сапог, так что скорость — километра четыре в час. Но бежим. Вот когда я пожалел, что не взял Музу!

(А почему не взял? Лежащая на поверхности причина: боялся спугнуть каких-нибудь зверей и птиц. Но со стыдом подозреваю, что истина в том, что постеснялся ее нечистокровности, побоялся, что скажут: «Привел дворняжку, куда она?»)

Без цели я бы не пробежал по такой топи и ста метров, а тут гнались не меньше часа. И одна цель, одна страсть: догнать! Весь свет заслонила спина браконьера впереди. И расстояние-то между нами метров тридцать, но не сократить никак!

У него ружье, у нас моральное превосходство. Гнался бы за ним один человек — как знать, мог бы и выстрелить. Я ожидаю от браконьеров худшего. А так страх один: выберется на сухое место и уйдет!

В конце концов он ружье бросил. Но скорости это ему не прибавило. А мужик здоровый. Я всерьез подозреваю, что наше моральное превосходство увеличивало наши силы и сокращало его. Нет, серьезно! Должно же добро когда-нибудь победить окончательно? Должно! А каким образом? Именно таким, что моральное превосходство придает сил. Наконец загнали — он встал. Грязный, мокрый — и не поймешь, пот его заливает или болотная жижа. Но и мы не лучше.

Протокол и все такое. А я смотрел — и ненавидел. Есть такая порода людей — саранча. Дать волю — все сожрет, а что в утробу не лезет — разорит, испоганит и оставит после себя пустыню, свалку.

На этот раз и внешность соответствовала, не то что с Живодером: жадность и тупость в каждой черте — в маленьких глазках, в низком лбе, в чрезмерных челюстях. Увидел бы в кино, сказал бы, что режиссер перестарался, окарикатурил.

И как же мало мы против него можем! Ну протокол. Хорошо, если оштрафуют, а то так и останется пустой бумажкой. Аномалия закона: поймают карманника, укравшего трешку, и карманник сядет, а этот обворовывает всех, крадет у настоящего и будущего — так еще нужно добиваться, чтоб оштрафовали. Кодекс еще отражает устаревшее представление, что природа ничья. А она собственность! Общая наша собственность. И нужно привлекать соответственно.

Может быть, это и есть дело, которым я должен заниматься: не давать расплодиться саранче?

* * *

Еще из репертуара нашей докторши. Мама вызвала ее по поводу сердца (святая наивность: хотела посоветоваться о лечении; ведь бюллетень маме не нужен по случаю пенсии).

Мама рассказывала о приступе, я поправил — мама перепутала и время, и принятые лекарства — мы слегка заспорили. Докторша послушала и сказала с недоумением:

— Вы говорите одно, ваш сын другое — *резонанс получается!*

Вот ей-богу!

* * *

Мой многообещающий двоюродный братец затащил на шахматный турнир. Карпов, Таль, Смыслов! Понимаю я мало, предвижу только самые явные ходы, но все равно понравилось. Если бы и не знал, все равно по внешности бы догадался, что Карпов — чемпион: он

самый элегантный. А некоторые, хотя и сидят на сцене, выглядят словно вышли пить чай на дачной веранде.

Сзади мальчишки разговаривали про автографы: Таль выигрывает сегодня, потому даст охотно; нужно попытаться поймать Карпова, только трудно. И взрослые охотятся тоже. Вот чего не понимаю! Если бы я был с Талем знаком и он бы надписал на память свою книгу или фотографию именно мне, я бы гордился. Но механическая роспись незнакомцу — тут нечто униженное, род милостыни, которую Слава подает Безвестности. Вообще, роковое разделение: одни на сцене, другие обречены вечно быть в зале. Элита знаменитостей. На «Огоньке» сидят рядом тот же Карпов, Нади Павлова, Плятт, космонавты, Сенкевич, а миллионы в Новый год за столами не разговаривают, не веселятся сами, а смотрят на знаменитостей. (Интересно, а знаменитости в Новый год веселятся или смотрят на себя?) На другой день только и разговоров (на работе очень удобно), как выглядела Зыкина и как был одет Магомаев.

Обидно быть зрителем.

* * *

Удручающе убогая фантазия на прозвища: сократят фамилию — и готово. Карпова турнирная публика зовёт Карпом. Вот уж кто не карп — рыба толстая и сонная! Карпова я бы сравнил с небольшим быстрым элегантным зверем: соболем, колонком, куницей.

* * *

Вынырнул из безвестности Пуля.

Лет пять назад он бывал в нашей компании и отличался патологической скромностью. Я тоже не бог весть как развязан, но рядом с Пулей казался нахальным, как Ноздрев. Пулю роковым образом никто не слушал. Не в смысле «не слушался» — это уж само со-

бэй,— но элементарно не выслушивал: стоило ему раскрыть рот и начать что-нибудь рассказывать, тотчас кто-нибудь перебивал — и не со злости: его просто-напросто не слышали, хотя говорил он вполне внятно и достаточно громко. Вообще-то его даже любили — как раз за скромность и особенно за то, что он отличался редкой ныне способностью краснеть по самым неожиданным и невинным поводам. Витька Китаев называл его не очень оригинально Барышней, но не привилось, он остался Пулей, потому что родители имели неосторожность наградить его именем Ипполит. (Что они, Ильфа и Петрова не читали?)

Я перебивал Пулю так же бесцеремонно, как и остальные (мне к тому же нравилось, что есть некто еще скованнее меня), но как-то раз мы остались вдвоем, и Пуля разговорился. Я узнал, что у него есть оригинальные идеи, что он что-то изобретает. Он подвизался в новейшей отрасли науки под названием *голография*; произнося это слово, Пуля краснел: слово явно казалось ему не совсем приличным.

В довершение несчастный Пуля был влюблен, и, конечно, самым неудачным образом. Его любовь была девицей необычайно красивой, и это, как водится, компенсировало весьма средние умственные способности; звали ее Эллой Точилкиной, а поскольку она училась в медицинском, Витька Китаев весьма удачно переименовал ее в Лушку Лечилкину. Он же за ней и ухаживал более успешно. А Пуля вел себя так, как и подобает классическому робкому влюбленному: таскал без конца цветы, был у нее на побегушках — вплоть до записок тому же Витьке. Жалкая картина. Но, может быть, он так создан, что в любви ему и нужно унижение? Может быть, нормальная роль победительного влюбленного его бы не удовлетворила? Эту теорию тоже проповедовал Витька, она служила моральной базой для его шашней с Лушкой Лечилкиной.

Потом Пуля исчез. Говорили, уехал не то в Новосибирск, не то во Владивосток. И Лушка исчезла, тем более что Витька женился, но не на ней.

И вдруг пожалуйста: явился Пуля! Торжествующий, уверенный в себе. Кандидат, пишет докторскую, сделалтаки свое открытие, получил премию, хотя пока и не Ленинскую. Если судить по званиям и регалиям, он всех в нашей компании обогнал.

Привез свое детище: трехминутный голографический фильм. Первый в мире. Зрелище удивительное: абсолютная реальность. В комнате возникает сад, входит девушка, рвет цветы. Можно обойти, заглянуть сбоку, сверху.

С нами Пуля разговаривает снисходительно. Витьку похлопал по плечу:

— Ну как, старик, девочки еще любят?

Я спросил, не слышал ли он про Эллу. (Лушкой при Пуле мы ее никогда не называли.)

— Лушка-то? А ты не знал? Я же на ней сдуру женился. Недавно кое-как избавился. Сказал: уфф!

Наверное, Пуля ничего не забыл, ни одного своего унижения. Хуже того, еще тогда он, должно быть, твердил ночью в подушку: «Погодите, вы еще ахнете! Я еще вам покажу, кто такой Ипполит!» Значит, чтобы уважать себя, ему недостаточно было быть самим собой, ему нужно было свидетельство с печатью, удостоверяющее его значительность и самобытность: открытие, премия, степень. Что ж, такие характеры для общества полезны: открытие-то он сделал нужное!

Пуля сделал открытие, а открытие сделало Пулю. Как принято теперь выражаться: обратная связь.

* * *

Ну а кто не меняется от успеха? Я бы не изменился? Надеюсь, хватило бы вкуса не держаться снисходительно с теми, кем раньше восхищался, но изменился

бы, никуда не денешься. И вообще мы хоть немного знаем только самих себя. А начинаем судить — сразу выходит шарж. Только не дружеский.

И что же я совсем не завидую Пуле? Если отбросить регалии — хотя бы за то, что он занят своим делом. *Человек на своем месте.*

* * *

Я мечтаю о счастливой, захватывающей работе, как юноша мечтает об идеальной любви. Безответный производственный роман.

* * *

А вот у Мужики (все-таки стараюсь не склонять) производственный роман счастливый. Был у них в лаборатории. Завидно.

* * *

Позвонила Надя, позвала на выставку. Шестеро художников, в том числе она. Гораздо лучше остальных пяти, это можно утверждать беспристрастно. Свое лицо! Но я и раньше знал, что она молодец. Ну не судьба ей любить меня — что поделаешь. Наверное, она для этого слишком занята. Не в смысле времени, а в смысле душевного содержания. Если бы я очень старался, надеюсь, она бы в конце концов позволила бы мне любить себя — ей тоже нужно тепло в жизни. Но я хотел быть любимым — на это она не способна: душевные силы тратятся на другое. Согреть не способна.

Во мне уже перегорело. Было грустно, но элегически.

* * *

Все-таки я должен быть Наде благодарен: за честность. Она мною пренебрегала — и делала это открыто. А ведь стоило чуть притвориться — немного внимания,

капля нежности,— и я так и остался бы верным псом. Жалкое состояние.

* * *

Муза потерялась. Спустил ее как обычно около Инженерного замка, потом вышли на Садовую, тут бы сразу взять на поводок, но я почему-то не торопился, подошли к трамвайной остановке — и вдруг она вскочила в стоящий трамвай, тотчас закрылись двери, и она укатила. Привыкла с первым хозяином, что ли? Я бросился к памятнику Суворову, где следующая остановка — выскочит, станет меня искать! — нет. На трамвайном кольце — нет. Дома — нет.

Страшно за нее: попадет под машину?! Поймают отловщики для вивария?! И угрызения совести: ведь в какой-то момент почувствовал облегчение — свобода от ранних вставаний, от прогулок три раза в день. Неужели я способен предать ради своего комфорта?!

* * *

У Музы была манера что-нибудь самое вкусное, по ее мнению, кость из супа, например,— принести и положить мне к ногам. Добрая душа! Была манера...

* * *

Не люблю никаких символических и ритуальных действий: бросания монетки в море, присаживания перед дорогой. Когда все же оказываюсь вовлечен — смешно стоять, если все многозначительно сели,— чувствую себя неловко.

И если бы ограничивалось монетками и присаживаниями! Вокруг настоящий ренессанс суеверий! Поминутно слышишь о гороскопах, почти каждый нынче знает, кто он — Рыба, Телец или Скорпион, и с кем союз для него благоприятен, а с кем нет. При встрече Нового года авторитетно объявляется, какой год наступает: Дра-

кона, или Змеи, или Тигра, и какого, следовательно, цвета платье рекомендуется носить. Говорится не только в шутку, многие верят всерьез, пытаются следовать гороскопическим рекомендациям. Ужасно хочется волшебства, мистики, мифологии — слабым душам иначе скучно и холодно в мире.

Но что смешно: когда-то гороскопы были хотя бы индивидуальны, момент рождения учитывался до минут, равно как и место. В наш век массового производства астрологи тоже перешли на выпуск ширпотреба: всех родившихся на протяжении месяца верстают в одну судьбу. Год значения не имеет, так что на все человечество отпущено двенадцать вариантов судеб. Но проглатывают и это — значит, устраивает.

* * *

В романах предчувствия, сны, видения и прочее всегда так или иначе сбываются, в том числе и у советских авторов, стопроцентных атеистов.

* * *

Муза нашлась. Подобрали хорошие люди, нашли меня по номеру на ошейнике. Всего обпрыгала, всего обслюнила!

Я был рад вдвойне: и по-человечески, и назло своей подлости. Интересно, это только у меня на задворках сознания мелькают такие подлые мысли: предать собаку, потому что устал от прогулок, или могут быть у всех, а порядочные люди отличаются тем, что вовремя свою подлость подавляют?

Вслух-то и я ничего не скажу...

* * *

Может быть, со временем деятельность человечества беспредельно разовьется, приобретет межзвездные масштабы, и придется беспокоиться о сохранности Галак-

тики так же, как сейчас начинаем беспокоиться о сохранности Земли.

* * *

Слишком много шума из-за любви. Литература наполнена ею процентов на девяносто. Потому что литература веками создавалась представителями праздных классов: кроме как любовью, им нечем было заполнить жизнь. И в конце концов поколения писателей убедили всех, что любовь — главное содержание жизни. (Еще бы, столько веков непрерывной рекламы!) Плохо, что убедили в этом нас — ведь современная жизнь требует столько душевных сил, что не можем мы тратить их на одну любовь. И это нормально. Но мы-то по-прежнему верим, что любовь всемогуща, всепроникающа! И когда собственная наша любовь гораздо скромнее, считаем, что нам не повезло, только нам, обвиняем наших возлюбленных. Нет, про любовь не скажешь ничего плохого — если только она знает свое место*.

* * *

Когда-то я читал рассказ, в котором одна девочка все время спрашивала: «Почему не сейчас?» Рассказ фантастический, и девочка рассуждала так: если в будущем непременно изобретут разные технические чудеса, почему нельзя их изобрести уже сейчас? И не только спрашивала, но сама же и изобретала все что попало. Ею двигала уверенность, что изобретут непременно — вся суть в этом непременно!

Я тоже постоянно задаю себе этот вопрос: почему не сейчас?! Но не о технических чудесах. Об образе жиз-

* Грустно это читать. Со многим я не согласен у Сергея, но с этим — в особенности. Но откуда такой нигилизм в человеке молодом и способном любить? Если до нигилизма доводят жестокие возлюбленные, тогда они социально опасны!

ни, что ли. Ну невозможно же, чтобы будущий Человек, достигнув моральных высот (а если не достигнет, так о чем мечтать?), развлекался убийством беззащитных животных — так почему не сейчас? Невозможно, чтобы Он же одурманивался алкоголем — так почему не сейчас? Раз человечество непременно должно покончить с этими гнусностями — почему не сейчас?!

Говорят о пережитках, о постепенном воспитании, но в какой-то момент нужна революция — так кому совершать ее, как не нам, нации революционной?! Будущего нельзя пассивно ждать, его нужно приближать — так почему не сейчас? Вот взять и изъять все охотничьи ружья — ну кто-то поскучает год или три, а потом ружье просто выйдет из обихода! Или с водкой. Когда приводят в пример крах американского сухого закона, забывают, что у нас невозможны, к счастью, гангстерские синдикаты. А есть другой пример: сухой закон в России во время империалистической войны — психиатрическая статистика отреагировала сразу: почти исчезли алкогольные психозы. Или пример совсем близкий: во время строительства КамАЗа сухой закон в Набережных Челнах. Всего-то дел было — съездить за водкой через Каму, но почти никто не ездил. Другое дело, что сухой закон не уничтожит алкоголизм стопроцентно — будут и самогонщики, будут и политуришки. Но стопроцентных средств вообще нет в природе! Если требовать стопроцентных средств, медицину пришлось бы закрыть тотчас. Прославленные антибиотики излечивают инфекции процентов на восемьдесят — и медицина справедливо делится на эры: эра до антибиотиков, эра антибиотиков! И сухой закон дал бы эффект процентов восемьдесят — и это было бы эрой в жизни нации! А если только покачивать головой, говорить о воспитании да о том, что не водка виновата, а пьяницы — читал тут недавно статью одного писателя! — так и через сто лет ничего не изменится! Нужно действовать!

Так почему не сейчас?!

* * *

Если бы я мог, я бы написал фантастический роман. Герой живет при полном коммунизме, все ему доступно, все дано, но он ничего не может дать взамен, потому что начисто лишен талантов. Работать все-таки нужно, иначе жизнь пуста, и он работает. Но это унижительно, это хуже безделья — делать примитивную работу, с которой легко справятся автоматы!

И особенно унижает собственная никчемность, потому что вокруг одаренные люди!

Пусть бы у него был брат — многосторонний талант. Все брату дается легко — и наука, и спорт, и в музыке он почти профессионал. Рядом с таким братом особенно тяжело. Герой невольно думает: в чем причина? Гены-то у них с братом, по идее, одинаковые!

Как преодолеть последнее и самое безнадежное неравенство — биологическое?

Неужели ситуация безнадежная?

* * *

Обижен не людьми и не обществом — вот в чем трагедия. С людьми можно бороться, общество перестроить. Но что делать тому, кто обижен природой?

* * *

Но вопреки всему, я бы дал моему герою надежду! В один прекрасный день он пришел бы к мысли, что можно тренировать способности*, как тренируют мышцы. Ведь способности — это нервная организация, неч-

* Уже в наше время В. Шаталов, школьный преподаватель математики, добивается того, что его ученики — отнюдь не отобранные специально — легко и досрочно усваивают программу и переходят к более трудным разделам. Чем не методика воспитания способностей?

то материальное и, следовательно, поддающееся тренировке.

Одни рождаются от природы силачами, другие от рождения хилые, но упорными тренировками — если захотят — становятся сильнее природных силачей. Этим никого не удивишь. То же, что с силами физическими, нужно делать и с силами умственными. Но почему-то не принято.

Вот в чем надежда моего героя. Не знаю, добьется ли он успеха. Но главное то, что он выйдет на дорогу, поставит себе цель: внутренне, нравственно он тем самым сравняется с общепризнанными гениями. Внешняя же слава не должна иметь значения:

Но поражение от победы
Ты сам не должен отличать.

* * *

Кумиры моей юности и сейчас остаются для меня молодыми: Евтушенко — молодой поэт. Таль — молодой гроссмейстер*.

* * *

Мама очень озабочена своим здоровьем и постоянно несется в потоке какого-нибудь модного вида лечения: то это было сосание подсолнечного масла, то изготовление кислородного коктейля. Увлечения сменяются, забывается масло — и торжествуют коктейли, забываются коктейли ради следующего...

Наблюдательный человек может спутать мою идею о воле как секрете молодости с маминими сменяющи-

* Я помню время, когда Таль словно открыл нам новые шахматы. И долго потом вопреки всему я верил, что он вернется в чемпионы мира. Но времена меняются — и теперь светит звезда Каспарова. Да, кумиры... Одни рушатся, другие постепенно ветшают...

мися увлечениями: там и там забота о здоровье. Но в действительности наши подходы прямо противоположны: у нее постоянное ожидание чуда со стороны, у меня — надежда только на себя!

Противоположные-то да, но все-таки и что-то общее, семейное. Может, я иногда потому так по-детски раздражаюсь на маму, что мы на самом-то деле похожи?

* * *

Был в гостях у Мужики.

Занимаются охраной атмосферы, а сами беспощадно курят. Особенно она. Худая, пальцы желтые. Сказала:

— Мы все кончим инфарктами. Хоть сейчас койку абонируй.

Я попытался оптимистически возразить. Она рассмеялась:

— И поделом нам! Потому что всем настроение портим. Людям план выполнять, делить премии, а мы тут нехстати со своей атмосферой.

Тогда я занкнулся, что существуют работы менее разрушительные для нервов. Тут уж она разозлилась:

— А кто эту делает за нас?

Он мягче. У него глаза голубые, но, по-моему, не от природы, а от благоприобретенной святости. К тому же пишет стихи, которые и прочитал, как она ни останавливала:

Сгорел дотла — возрожден из пепла,
Сгнил — исчез, пропал...
Сгорел — так не в гроб, а с ветром по ветлам,
Сгнил — к подошвам липкий припай...

Я не знаток, но все же догадываюсь, что литературные достоинства умеренные. Но запомнились! А сколько профессиональных и прекрасноразвучных прожурчали и канули.

И все же к самодеятельным стихам я отношусь подозрительно. И к стихотворцам тоже. Прекрасные чувства — это прекрасно. Но нужно ли их слишком явно демонстрировать? Мне больше нравится ее резкость.

Нет, и он нравится. А насмешки над наивными стихами — это, пожалуй, от зависти.

Они коллекционируют фантастику. Стоят такие книги — и Воннегута, и Брэдбери, и Стругацких, о которых я и не слышал. Если вдуматься, то ничего другого они собирать и не могут. Ведь они как бы послы из будущего в нашем времени. Мы тут суетимся с сегодняшними делами, а они постоянно хватают за руку: «На вас история не кончается, нам после вас жить здесь же!»

«После нас хоть трава не расти!» Это сказано лет сто назад, если не тысячу. И наконец настало время, когда поговорка может осуществиться буквально, если не помешают такие, как эти Мужики.

Зато уж я никому настроения не испорчу. И инфаркт мне не грозит. Но кому я нужен? Кому нужен тот, кто не может сказать с гордостью и злостью:

— А кто это сделает за меня? Кто это сделает за нас?!

* * *

Удручающе много развелось тягучих, занудных песен, симулирующих задушевность. Настоящую задушевную песню написать самое трудное, она должна быть на уровне «Журавлей» — и по словам, и по музыке. Чуть хуже — и сразу дешевка.

* * *

Любовь к Родине, она где-то в самой глубине, в эритроцитах, в костном мозгу — она неприизносима. Если ты русский — ты об этом не твердишь, не бьешь себя в грудь, не думаешь даже, как не думаешь о том, что ды-

шишь. И как можно кричать об этом — в стихах ли, в бессмысленных спорах? *

* * *

У мамы новая страсть: соковыжимание. Торжественно куплена соковыжималка — и началось! Проклятая машина одной моркови жрет килограмм в день, так что когда я прихожу в овощной магазин и набиваю целый мешок моркови (тяжелые же продукты покупаю я!), на меня смотрят с опаской и каждый раз осторожно переспрашивают: «Вы не ошиблись: вам, наверное, картошку, а не морковку?» Человечество теперь разделилось для мамы на две неравные части: те, кто жмет сок, и те, кто не жмет. Разговоры по телефону она начинает так:

— У нас *событие*: купили соковыжималку!

(Событие! Мне бы удовлетвориться такими событиями!)

Потом сообщает с обидой в голосе:

— Мария Алексеевна не хочет покупать. А Нина Прокофьевна купила, но у нее стоит без дела: ленится чистить морковку.

Зато если мне когда-нибудь приходила идея, если я чем-то увлекался, я не решался кричать об этом знакомым, уговаривать их примкнуть, последовать. Я умею только самоиронизировать и стыдиться своего непосредственного порыва — тем хуже для меня.

* * *

Ну вот и сбежал с фермы. Вот это событие! Все оказалось просто: подал заявление, даже не заставили отработать две недели.

* Он что, забыл хрестоматийные стихи? «Люблю Отчизну я, но странною любовью...», «О, Русь моя, жена моя...» Так что когда вкус и талант!.. И подлинное чувство...

Отпустили не просто легко — с облегчением. И. П. сказал:

— Вы были тем частным случаем, когда уволить не за что, но и держать бесполезно. Не уйди вы сами, так бы и доплыли до известных степеней.

Не очень приятно, когда распознают твои слабости. Но совсем оскорбительно, если делает это человек, которого не уважаешь, которого привык считать ниже себя. В какой-то миг даже захотелось остаться и доказать И. П.!

Бросил половину диссертации — не жалко. Расстался с Валечкой — жалко. Где еще найду такую родную душу? Встречаться помимо фермы? Не выйдет. Движущей силы нашей симпатии не хватит.

Перешел к Мужики, к Мужикам, к чете Мужиков — ну словом, открылась вакансия у них в лаборатории. Буду исследовать пробы, а потом ругаться с директорами и главными инженерами, выпускающими в воздух всякую дрянь.

Не знаю, открою ли что-нибудь на этом поприще, но моя запрограммированность, негибкость здесь пригодится: буду вгрызаться в нарушителей мертвой хваткой, как бульдог.

* * *

Я часто иронизирую над мамой — и это очень глупо. Поверхностно. В ней цельность, она естественна, она не смотрит на себя со стороны, не пережевывает своих переживаний. Если и творится в мире что-то новое, то людьми цельными, в чем-то наивными. Открытие — это всегда наивность, это способность взглянуть незамутненным взглядом. Потому-то я ничего не сделал на своей ферме, а окажись мама в научном институте — как знать, может, что-нибудь и увидела бы своим наивным взглядом, чего другие не замечают в упор... А ее переделка Пушкина — это же прелесть, это образ: «И гор-

ных ангелов полет»! Вместо невразумительного *горний*. Кто сейчас поймет, что такое *горний*? А мои раздражения, моя ирония — не зависть ли? А сейчас, когда, кажется, нашел свое дело (а вдруг это только кажется?! — вот ужас!), утихает и раздражительность. Слышу про *горных ангелов* и радуюсь... Быть собой — это начало начал.

* * *

Рассказал в лаборатории про нашу докторшу и ее классическую фразу: «Вы говорите одно, ваш сын — другое, резонанс получается!» Теперь, когда очередной конфликт с дымящей трубой, кто-нибудь из Мужики приходит с актом и объявляет:

— Мы говорим одно, директор — другое, резонанс получается!

Стало паролем.

* * *

Да, но все-таки ошибочную программу я сломал! Могу смотреть в зеркало с законной гордостью: многие ли меняют специальность на тридцать пятом году жизни?!

Это действительно волнует меня по-настоящему: чистота воздуха. И всего остального тоже: воды, почвы, лесов.

До сих пор я не знал, что такое заниматься делом, которое волнует по-настоящему. Что такое радоваться, идя на работу. Думал, когда слышал о таком, что это публицистическое преувеличение. Чувство необыкновенной легкости, чувство понимания: ты понимаешь окружающих, тебя понимают. Словно был увезен в чужую страну, где не смог прижиться, ассимилироваться, так и не узнал толком языка — с трудом понимал, что мне говорят, с трудом меня понимали — и вот наконец вернулся к себе! Говорю свободно, говорю на одном языке с людьми!

Я без конца мусолил: «способности», «талантливость». А способности могут проявиться только тогда, когда захвачен работой. Гениальность — производное страсти.

А если бы мы познакомились теперь, когда я занят делом, когда что-то собой представляю — не должностью, внутренне! — смогла бы Надя меня полюбить?

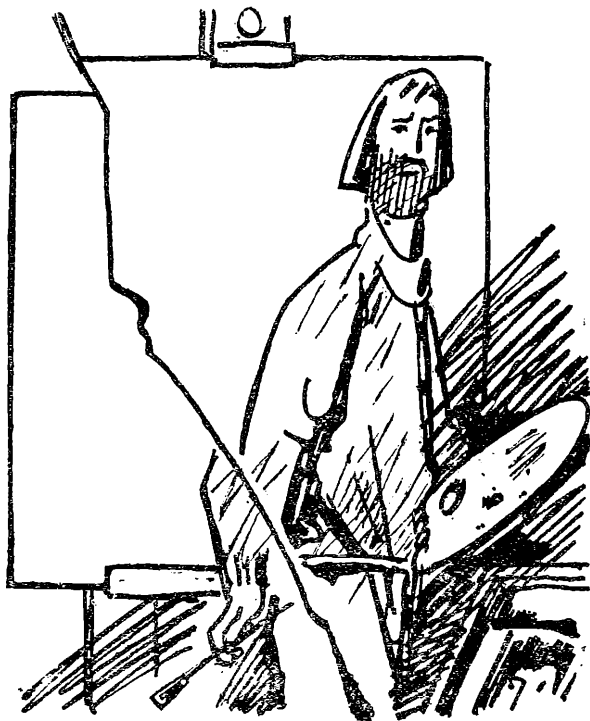
* * *

Недавно в «Юности» статья о животных. Вернее, о жестокости к животным. Хорошая, но в общем статья как статья, такие бывали и раньше. Поразило послесловие Образцова, неожиданно поразило одним маленьким эпизодом. Думаю, почти всех этот эпизод не особенно задел, но меня поразило. Потому что сам недавно терял Музу? Далеко не только. Образцов рассказывает, как в детстве потерял свою собаку, а потом нашел в клетке у ловцов. Все кончилось благополучно.

Когда он только подошел к клетке, Дружок узнал его, завизжал от радости. Я очень хорошо представляю себе этот момент: большая клетка, где томится много собак, чувствующих свою обреченность; и вот Дружок видит своего хозяина (кто он для Дружка? Друг? Бог?). Счастливый пес расталкивает других собак, прыгает на прутья клетки, визжит, лает: «Вот я, вот! Здесь я, здесь!» И ни малейшей мысли, кто что подумает, и не осудит ли, что лает слишком громко, огорчает других собак, для которых не видно спасения. Он весь в порыве восторга.

Вот и я хотел бы уметь так — крикнуть, не думая ни о чем: «Вот я! Здесь я!»

ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА



— Можно мне пошевелиться?— робко спросил Ребров.

Андрей с досадой оторвался от холста: ну чем этот тип недоволен?! Такое утро, такое солнце — радоваться надо жизни, а он сидит как уксусом облитый. Вообще Андрей испытывал к Реброву активную неприязнь: явный склочник, зануда, хам — как такого терпят в семье? И нечистоплотен в мелочах: тысячу рублей, может, и не украдет, побоится, а трешку — запросто. И робость его теперешняя только оттого, что здесь, в мастерской, он чувствует себя неуверенно, он на чужой территории, а попадись ему там, где он в силе, где правила игры ему известны, где он знает все входы и выходы,— с удовольствием наступит на ногу, двинет локтем под ребра да еще и обругает.

Андрей видел Реброва впервые, почти ничего про него не знал, но не сомневался, что все так и есть: и про трешку, и про острые локти. Одет был Ребров не без элегантности: светлый костюм, красная рубашка, и носки из-под брюк тоже выглядывали красные — а все равно он весь словно был окутан каким-то бурым туманом, так что и солнце сквозь эту бурость пробивалось с трудом. Надо же было такому типу навязаться с портером!..

Андрей Державин уже обратил на себя внимание

своими работами, исключительно полярными пейзажами: чистые цвета холодного моря, зеленых, синих, розовых льдов, грандиозные занавеси полярных сияний. Часто его сравнивают с Рерихом: мол, как Рерих открыл нам ослепительный мир Гималаев, так Державин открывает мир Ледовитого океана. Сравнивают и воображают, что тонко отметили да еще и польстили! Андрея эти назойливые сравнители — знатоки, называется, снобы проклятые! — приводили в ярость. Ну что общего?! Что там и там много льда? Тогда можно сказать, что Хокусай похож на Айвазовского — оба маринисты! У Рериха мир покоя, тишины, мир, ушедший в себя, а на холстах Андрея все время чувствуется страшная сила, вот хоть эти сползающие с Новой Земли языки ледника Норденшельда: они же как сжатая пружина, в них неимоверный напор, сокрушение всего, неотвратимость! У-у, ведатели искусства!

Среди полярных пейзажей, нарушая тематическое однообразие, висел у него в мастерской и один таежный. Только один. Когда-то в детстве дед взял его на заимку, и поразили там Андрея голубые кедры: он и не знал, что бывают такие. Поразила в них не только ледяная звенящая красота, но и необычайная жизненная сила, с которой они несли свою голубизну среди окружающего зеленого лесного моря. Сразу же Андрей ощутил их родными, уверился, что его жизнь связана с их жизнью. Как? Он и не пытался понимать: зачем понимать то, что доподлинно *знаешь*... И вот недавно вспомнил то детское ощущение, написал. Возродившееся чувство внутреннего родства помогло — потому получилось хорошо. Да только тогда, наверное, и получается, когда устанавливается связь души художника — с океаном ли, лесом или человеком...

Андрей хотя и работал много, и выставлялся, но с деньгами вечно было туго: на выставках почти все работы были недоговорные, значит, писались ради одной

славы — повисят и возвращаются в мастерскую. Продавались иногда мелкие вещи в Лавке художников, вот почти и весь заработок. Ну еще примут на лотерею. Андрей ненавидел ханжей, которые объявляют, что равнодушны к деньгам, сам он повторял, что любит деньги, что ему нужно много денег, но не желал их зарабатывать никаким способом, кроме своей живописи. Он пишет то, что хочет, пишет, как может, и раз он хороший художник — а Андрей знал про себя, что он хороший художник, в грудь себя по этому поводу не бил, но знал уверенно и спокойно, так же, как дед его (отца Андрей не помнил) знал, что он хороший енисейский лоцман, и очень удивился бы, если б кто-то в этом усомнился, — значит, работа Андрея должна давать ему пропитание. Поэтому отказался пойти в Антарктиду: брали мотористом (дескать, между делом станешь *невцом Ледового континента*), но Андрей не был согласен заниматься своим делом между делом. Уж лучше писать портрет Реброва, хоть тот и противный тип. Ничего, рано или поздно из-за работ Андрея Державина передерутся Русский музей с Третьяковкой — конечно, лучше бы рано, чем поздно. Ну а пока вот лучший друг привел заказчика, желающего увековечиться на полотне.

В наше время даже и знаменитости редко заказывают свои портреты — чаще сам художник умоляет найти время и попозировать ему, чтобы потом на выставке все останавливались и обсуждали: «Смотрите, это же Тихонов!» — «Да что вы? Совсем не похож!» Ну а остальное население и подавно вполне довольствуется фотографиями. Поэтому прихоть этого Реброва была совершенно необъяснима, тем более не звезда эстрады, а всего лишь настройщик из телеателье. Реброва привел Витька Зимин, уверяя, что сам завален работой, что подходит срок договора. Вообще-то Витька и правда «попал в жилу», как он сам говорит, но все равно Андрей сразу понял, что Витька как настоящий друг дает

ему таким способом подкормиться. И это тоже злило: не выносил он никакой милостыни, никаких благодетелей.

А вот все же взялся, взялся, хотя этот Ребров с первого взгляда не понравился. Все из-за подлого безденежья. Но ведь вовсе и не обязательно быть влюбленным в свою модель — мало ли известно портретов разоблачающих!

Ребров договаривался обстоятельно: сразу начал с цены за работу. А сколько назначить? Андрей понятия не имел. Вообще цены на искусство приводили его в недоумение: откуда они берутся? То и дело читаешь, что обокрали картинную галерею; последний раз не повезло Тинторетто: унесли его картину стоимостью в полтора миллиона долларов. Не один и не два, а именно полтора — вычислили! Его собственный пейзаж в Лавке художников недавно оценили в триста рублей, что, кстати, вовсе не навело Андрея на мысль, что он во сколько-то раз хуже Тинторетто: просто привычное обожествление старых мастеров, ведь самому Тинторетто при жизни не заплатили и тысячной части. А теперь вот загадка: откуда взялись эти триста? Почему не сто? Почему не пятьсот? Но триста так триста, и если бы в Лавке работы продавались регулярно, можно было бы жить. Ну а раз оценивала там, в Лавке, официальная комиссия, Андрей решил принять эти триста за точку отсчета — и назначил Реброву двести пятьдесят. Назвал цену и тут же подумал, что если этот Ребров станет торговаться, пусть идет к чертовой матери! Нужно совсем не уважать работу художника, если посчитать, что двести пятьдесят — дорого!.. Ребров согласился не торгуясь, но Андрей от такой сговорчивости не смягчился, потому что видел, что сговорчивость не от щедрости, а от неуверенности в себе, которую даже нахальные люди испытывают в совсем новой для себя обстановке, — Ребров просто боялся попасть впросак, показаться смеш-

ным, он подумал, что меньше художники и не запрашивают... Кстати, сходные чувства испытывал сам Андрей, когда только попал со своего Севера в Ленинград: очень старательно, например, обходился без ножа, когда ел рыбу на людях. А потом рассердился на себя: ну что за глупости! Да и запрет нелепый: почему мясо можно ножом, а рыбу нельзя?! И стал, наоборот, так же старательно резать рыбу ножом, даже когда и не нужно — пусть все видят!.. Интересно, а Ребров разозлится на свою первоначальную робость перед художником? Вряд ли: он привык унижать заказчиков в своем телеателе, а значит, унижаться самому для него так же легко и естественно.

Андрей портретов почти не писал. В свое время увечил нескольких полярных мореходов, с которыми плавал, но к пейзажу его тянуло больше.

Он, может быть, так и не узнал бы себе цену, как не знали ему цены на кораблях, на которых плавал: раз свой матрос что-то мажет красками — значит, обычная самодеятельность вроде романсов, которые пела на всех судовых концертах буфетчица с «Индиگیری» Клавка. И рисовал он (слова «писать» применительно к рисованию красками он не употреблял и не знал, что можно и чуть ли не необходимо употреблять) так легко и естественно, что никак не считал свое рисование работой. Работа — это на вахте, это когда весь в поту и руки в мазуте (он состоял при машине и потому, наверное, особенно остро переживал свет и простор, видимый с открытой палубы). Ну, он знал, конечно, и все там у них знали, что существуют настоящие художники, для которых рисование — работа, но настоящие художники живут в столицах, ходят в бархатных блузах и вообще словно бы от рождения немного иначе устроены. Но в один счастливый день его маленькая выставка в Дудинке — директор Дома культуры решил украсить фойе перед кинозалом — попала на глаза заезжим кино-

операторам. Если бы на их месте оказался художник, тот самый *настоящий художник* из столицы, который в бархатной блузе и вообще немного иначе устроен,— еще вопрос, изменилось бы что-нибудь в его жизни. Ну а киношники восхитились бескорыстно, подняли шум — и разом началась совсем новая жизнь Андрея Державина: вместо вожделенной мореходки он очутился в Репинке. Когда-то она называлась Академией художеств — и Андрею это нравилось больше: благоговенно особое должно было охватывать любого, кто впервые входил в стены академии, но теперь там давно уже не академия, а институт имени Репина, Репинка... Впрочем, поскольку мореходка тоже в Ленинграде, и, значит, жизнь так и так вела Андрея Державина *на берега Невы*, как выражался в подражание Пушкину первый помощник с «Индигошки» Сурин, помогавший Андрею готовиться в мореходку, может быть, и без счастливого случая с приездом киношников оказался бы он в конце концов здесь, в мастерской, в мансарде старого петербургского дома.

— Так мне можно пошевелиться?

А Ребров так и не шевелится до сих пор! Во дисциплина! Андрей и забыл про него совсем. То есть все время видел перед собой, и даже словно бы видел больше, чем можно увидеть глазами, потому что легкое бурое облако, окружавшее Реброва, в котором гасли даже солнечные лучи, так что сальная пористая кожа, особенно на носу, совсем не блестела, как должна была бы,— оно (это облако) не столько скрывало, сколько раскрывало: сокровенные побуждения, страхи, страсти. Но при этом Андрей забыл, что Ребров не только модель, но и живой человек: и уставать ему свойственно, и надоело сидеть неподвижно, да просто затекли спина и шея.

— Да шевелитесь, ради бога, кто вам не дает! А хотите, встаньте, пройдитеесь. Прóbситесь, как первоклассник в уборную!

Давно не испытывал такой ярости. Вообще ярость

была почти обычным состоянием Андрея. При том, что никогда не кричал, не устраивал громких сцен — все оставалось внутри, и только по ударам кисти, по тому, как выдавливают краски на палитру, тот, кто хорошо его знал, мог догадаться, каково ему сдерживаться. А кто знал похуже, тот считал его спокойным, чуть ли не флегматиком. Говорят, вредно держать гнев внутри — ну вредно, так вредно. Не орать же действительно, не кидать в стену табуреткой, хотя часто очень хочется. Но так распускаться прощительно только бабам и истерикам.

А Ребров, воспользовавшись разрешением, пошел гулять по мастерской. Остановился перед одним из самых любимых пейзажей Андрея. Изображен там был Болванский Нос — есть такой мыс, северная точка Вайгача. Но Андрей не подписывал, что это Болванский Нос: а то пойдут совсем ненужные усмешки. Да и не очень точно он изображен, кое в чем Андрей природу поправил. Потому название нейтральное, без топографии: «Край земли». А любимым этот холст был потому, что удалось поймать настроение: не тоска при виде края земли, а ожидание новых неведомых чудес за горизонтом; и одиночество — но не безнадежное одиночество замерзающего путника, а одиночество первопроходца... Ну, словом, удалась эта вещь. Ей место в Русском музее, так считал Андрей. И ждал часа.

Ребров посмотрел, пошел дальше. Понял он что-нибудь? Почувствовал? Андрей около года работал: писал, отставлял, переписывал, а этот Ребров глянул и пошел дальше. (Кстати, в этом парадокс картинных галерей: слишком много картин, редко кто смотрит долго, по-настоящему, чаще вот так же — постоят полминуты и дальше. Потому-то Андрей и хотел, чтобы «Край земли» вывесили в Русском музее, и заранее приходил в ярость при мысли о таких вот посетителях. Идеал — павильон для одной картины, ну для двух-трех. Напри-

мер, вывесить «Край земли» в любимом Андреем павильоне Росси в Михайловском саду, чтобы специально приходили ради одной картины.) Не только Ребров так смотрит,— большинство, но оттого, что сейчас именно Ребров взглянул вскользь, небрежно, и пошел дальше, он стал еще менее симпатичен. К тому же у Реброва разные глаза: один серый, другой карий, отчего его взгляд кажется особенно скользким, и когда он этим взглядом по картине — как запачкал.

— Оттекли и хватит, садитесь снова!— резко сказал Андрей, хотя нужды в сидении Реброва не было: достаточно уже на него нагляделся: закроешь глаза — торчит! Как бы не приснился!

— Простите, куда потек?— чуть даже подбодрительно переспросил Ребров.

— Не потекли, а *оттекли*. Сидели — затекли, погуляли — оттекли. Неужели не понятно?— До чего же Андрей не любил таких непонятливых!

— А, да-да, конечно.

Ребров поспешно сел и снова застыл старательно.

Проработал Андрей часа три, а по усталости — десять. Чем больше ярости внутри, тем быстрее устаешь. В какой-то момент вдруг разом почувствовал: все, предел. Даже рука затекла: на весу все время, наверное от этого. За работой не замечал, а тут разом побежали мурашки. До мурашек он еще не дорабатывался.

— Ладно, хватит на сегодня. Вставайте.

Ребров вскочил с явным облегчением. Тоже, видите ли, устал. Андрей стал мыть кисти.

Лучше бы всего Ребров сразу ушел, но он считал приличным завести ненужный разговор: светскую беседу, в своем понимании.

— Вы и живете тут?

Сказать бы прямо: «Не ваше дело! И не притворяйтесь, что вас волнует, как я живу!» Но, по обыкновению, Андрей сдержался.

— Нет, здесь только мастерская.

— То-то я смотрю, что мебели никакой, кроме картин. Но засомневался: может, обходитесь без мебели? Потому что площадь большая.

— Нет, не обхожусь. Художники тоже едят и спят как люди.

— Это хорошо. А то запахи тут — если все время жить.

Андрей как раз любил эти запахи: масляных красок, скипидара, лака — запахи работы. Но не стал объяснять Реброву, сказал только:

— Чего — нормальные запахи.

— И у вас голова не болит? У меня уже болит. Нет, эта работенка не для меня! — победоносно сообщил Ребров.

— Разве вам кто предлагает?

Ребров совершенно не чувствовал неприязни в голосе Андрея — разглагольствовал себе:

— Ну если прикинуть на себя. Каждый же человек ищет в жизни, как та рыба, которая где глубже. Вон мастерская у вас, а сколько площади! Метров сорок небось. Хоть и под самой крышей, а все равно. И картин сколько, а каждая ведь чего-то стоит. У кого деньги, норовят их в золото перевести, а ведь картины — тоже хорошее помещение. Если знать, кого купить, не прогадать чтобы. Коллекционеры к вам ходят — покупатели?

И видно было, что это уже не пустая завистливая болтовня, что Ребров и сам озабочен, как бы не прогадать.

— Вы уже свой капитал в портрет поместили. Внуки станут благодарить.

— Значит, думаете, расти цена будет?

— Обязательно.

И ведь действительно будет расти, Андрей в этом не сомневался. Досадно стало, что этот пошлый Ребров получит выгоду. Когда платят, чтобы иметь дома хорошую

картину, наслаждаться искусством,— это естественно. А когда всего лишь вкладывают деньги — противно. Если бы картина могла чувствовать, ей бы должно казаться — раз она женского рода! — что вместо любви, для которой она создана, она подверглась изнасилованию. Глупое, конечно, сравнение: холст и краски, какие в них могут быть собственные чувства — чувствует художник, но Андрею часто казалось, что картины тоже чувствуют, что они одушевленные.

Двигаясь боком и будто рассматривая всящие и прислоненные к стенам работы, Ребров попытался зайти за мольберт. Но Андрей не хотел, чтобы Ребров увидел подмалевок: слишком это интимная стадия работы, чтобы ее показывать, — все равно как разрешить подглядывать за своей женой, когда та одевается. Андрей выставил руку как шлагбаум.

— Еще рано смотреть. Тут пока наша живописная кухня.

Ребров отступил, но на лице его было написано: «Как бы меня не надули!» Впрочем, его явно утешала мысль, что денег он еще не заплатил — даже аванса. Мысль о деньгах вернула Реброва к волновавшему его вопросу — мысли своего заказчика Андрей читал так ясно, словно страдал телепатией, хотя раньше за ним такового не водилось.

— А почему вы свои картины продаете? Вот эти, с видами.

Андрей уже отчасти выдал себя, когда назначил цену за портрет, а то бы он огоршил этого любителя искусств!

— Разные бывают цены. И не от размера зависят, — добавил он злорадно. — Вот эту вещь, — он кивнул на «Край земли», — меньше чем за три тысячи не отдам. Ну а вот эта, — он указал рукой с кистями на одно из своих «Северных сияний», — пойдет и за триста.

— Значит, мне цена самая низкая?

Пожалуй, Ребров в первый момент скорее обиделся, чем обрадовался: такие всегда гоняются за самыми дорогими вещами.

— Я назначил цену заранее, потому что не знаю, как получится. На уровне сделаю наверняка, а шедевры не планируются. Но если хотите, давайте повысим.

Произошла короткая схватка жадности и тщеславия, и жадность победила.

— Нет-нет, зачем же.

Андрей уже вымыл кисти, почистил палитру — пора было выпроваживать Реброва. Но тот и сам заторопился после предложения повысить цену.

— Вы пойдете? Нам, может, по пути?

Андрей жил по этой же лестнице, двумя этажами ниже. Но он не хотел, чтобы Ребров знал, где его квартира: ведь такое знание могло послужить чем-то вроде пролога к более близкому знакомству, чего Андрей никак не мог допустить. А пока Ребров знает только мастерскую, он заказчик и больше ничего.

— Нет, я еще задержусь.

— Тогда всего хорошего. Значит, завтра в это же время?

— Да-да.

— Ой, и как же вы в таком воздухе? Я б не согласился даже за ваши заработки!

И ушел утешенный. А то бы всю дорогу высчитывал заработки и завидовал. Пусть верит в эти воображаемые заработки: легче ему будет признать художественные достоинства портрета. Ведь не объяснить ему, что и самый хороший художник может оказаться без гроша. У такого Реброва логика железная: раз хороший, значит, и зарабатывать должен хорошо!

Андрей подошел к огромному окну — фактически целой застекленной стене — и стал смотреть вниз. Вид из окна мастерской его всегда умиротворял. Канал Грибоедова сверху казался совсем узким, неподвижная во-

да отражала не только сегодняшние берега, а может быть — иногда, под настроение — не столько даже сегодняшние, сколько берега столетней давности, когда и Гоголь здесь жил поблизости, и Достоевский, так что видны были внимательному глазу на застывшей поверхности канала их еще не совсем стершиеся силуэты.

Андрей Державин приехал в Ленинград уже взрослым — и тем сильнее захотелось ему стать настоящим ленинградцем. Он старательно усваивал ленинградское произношение, не окал, не вставлял к месту и не к месту поморские словечки, а многие провинциалы своей провинциальностью спекулируют, благо сейчас считается, что откровение в искусстве должно прийти из нетронутой цивилизацией глуши. Но Андрей не хотел скидок на происхождение. Потому же любил читать книги типа «Памятники архитектуры» или «Литературные места Ленинграда» и знал уже о памятниках и литературных местах куда больше тех ленивых ленинградцев, которые уверены, что всосали культуру с молоком матери и не нуждаются в самообразовании. Только вот писать ленинградские виды пока не мог — пробовал, но получалось как у всех, не находил своего колорита — того, который в северных пейзажах был всегда и появился сам собой, без всякой натуги, без всяких стараний стать непохожим на других. Да и ощущение, которое он испытывал, глядя сверху на канал (будто неподвижная вода помнит все прошлые отражения), — оно появлялось еще там, в полярных морях, когда приходилось стоять в штиль где-нибудь на рейде Амдермы или Маточкина Шара. Если долго смотреть, опершись на фальшборт, — смотреть не смотреть, мечтать не мечтать — начинало казаться, что эта застылая вода никогда нигде не течет, и только, может быть, с годами откладывается на ней новый слой — от растаявшего снега и льда, и что если несколько годовых слоев снять, то откроется отра-

жение «Сибирякова» или «Челюскина», а еще на несколько слоев вглубь — шхуны Русанова или Седова...

На деревьях по берегам канала только начали вылупляться из почек листочки, покрывая ветви как бы зеленым пухом. А когда листья раскроются во всю силу, они наполовину закроют узкое зеркало воды, и тогда, едва видная между кронами, вода канала покажется еще более сонной. Да, хорошо, что можно в любой момент подойти к окну, посмотреть вниз и отключиться от своих мелких забот и мелких неудовольствий. Из квартиры такого вида нет, там окна выходят во двор, классический петербургский двор-колодец.

Андрей вспомнил о своем жилье — и мгновенно, будто кнопку нажали где-то в животе, остро захотелось есть. Только что и не думал о еде — и вот уже не мог терпеть ни минуты, не мог думать ни о чем, кроме еды. Во время работы он от всего отвлекался, так что даже когда случалась зубная боль, достаточно было взяться за кисти — и сразу отпускало, словно дали наркоз. Зато, когда кончал работу, есть хотелось страшно, и ел он быстро и много, но оставался таким тощим, что Витька Зимин как-то писал с него блокадника. Видно, от постоянной внутренней ярости все перегорало. Андрей с надеждой посмотрел на часы: уже два, оказывается, и значит, должен быть готов обед. Прежде чем побежать вниз, он поспешно вывинтил пробки на щитке около входной двери. После того как у художника Миши Казаченка из-за неисправной плитки сгорела мастерская *со всеми работами* (предельное несчастье, уж тогда нужно и самому гореть вместе с холстами!), у Андрея появился навязчивый страх короткого замыкания, тем более что проводка здесь, на чердаке, была чуть ли не со времен Достоевского.

Лестница, упиравшаяся верхним своим маршем прямо в дверь мастерской — без всякой площадки, когда-

то считалась черной и потому отличалась крутизной и узостью: большой холст, например, нужно было спустать с осторожностью, чтобы не побить на поворотах. Впрочем, сейчас она была облагорожена ремонтом и даже лампами дневного света. Самой примечательной деталью у них на лестнице Андрею казалась трещина этажом ниже мастерской — роскошная трещина, поднимающаяся по стене и загибающаяся на потолок и притом в виде линии Волги на карте. Дом стоял прочно: не проседали потолки, не перекашивались косяки дверей, крыша и та не текла, так что мастерскую ни разу не залило. Но вот трещина каким-то загадочным образом словно дышала: то чуть расходилась — так, что в изгиб, похожий на жигулевский, можно было засунуть спичку, то сжималась в почти неприметную ломаную линию. Андрей никогда не додумывал мысль о трещине подробно. Впрочем, это была даже не мысль, а смутный какой-то образ: ведь в наш тревожный век словно бы через весь мир прошла трещина, и скромная трещина на лестнице казалась не то продолжением, не то воплощением той воображаемой всемирной трещины. И это было абсолютно правильно, что тянулась она снизу к мастерской Андрея и, наверное, невидимая, змеилась и у него под полом: всемирная трещина и должна проходить через мастерскую художника, через его, Андрея Державина, мастерскую. И как бы Андрей ни спешил, он никогда не забывал посмотреть на трещину, оценить ее состояние. Он почему-то не любил ее в фазе сжатия — сжатие казалось ему лицемерным: ведь трещина все равно есть, все равно существует, так пусть будет видна, пусть тревожит! Но сегодня трещина разошлась — явно, честно, откровенно. Андрей провел по ней снизу вверх пальцем, сколько хватало роста, улыбнулся и заспешил вниз.

С лестницы дверь открывалась прямо в кухню. Андрей вошел и сразу понял, что обед еще не готов: Алла

только чистила картошку. А ведь уже два часа! И ждать никаких сил! Сколько раз говорил: лучше плохо, но вовремя, чем прекрасно, но поздно! Но Алла почему-то питает упрямую вражду к точному времени. Года два она не удосуживалась починить сломавшиеся часы, Андрею это надоело, и, когда продали работу в Лавке, он купил ей новые; специально выбрал водонепроницаемые, чтобы можно было и стирать в них, и посуду мыть. Но и эти часы вечно где-то валяются — Андрей однажды нашел их в холодильнике, другой раз — в шкафу между носовыми платками.

Андрей понимал, что устраивать сцену по поводу запоздалого обеда — крайняя пошлость, так поступают только фельетонные мужья, и потому сдерживался, отчего злился еще сильнее. Ну неужели трудно понять, что он поработал, выложился — и теперь как медведь весной? Когда вот так включался голод, он уже не мог ничем заниматься, ни о чем думать — только ждал и злился. Чтобы не дразнить себя видом продуктов, он пошел в комнату и попытался читать, но ничего не вышло. Вместо сцен, созданных писателем (Андрей обладал свойством, которое сам называл «театральным зрением»: он так ясно видел все, что прочитывал, как если бы смотрел инсценировку), сегодня виделся крупным планом только накрытый стол: салат из редиски, борщ, рыба по-польски — он заметил, когда проходил через кухню, что на обед предстоит рыба по-польски! Алла вообще хорошо готовила, этот талант у нее в крови; отчасти и опаздывала вечно с обедом из-за стремления к совершенству: вдруг, например, в последний момент решила, что в соусе не хватает тушеного лука, — и началось минут на двадцать тушение лука...

Алла не ходила на службу — она тоже была художницей. Вернее, считалась художницей. Художником был ее отец — не первоклассным, но неплохим, и она с детства всему училась: и рисунку, и перспективе, которую

соблюдает необычайно старательно (Андрей-то иногда нарушает, и Алла в начале их знакомства простодушно пыталась несколько раз указывать, где у него *ошибки*), и всяким техникам: литографии, офорту, линогравюре. И всему хорошо научилась — но так и осталась на всю жизнь прилежной ученицей. Он ей наконец сказал прямо (про искусство надо говорить прямо, это не запоздалый обед!):

— Ну какая ты художница, если тебя на выставке без этикетки не отличить!

И она работала все меньше, а хозяйством занималась все больше, что его очень устраивало, потому что сам он занятий хозяйством не выносил. И вообще там, где он родился, считалось единственно нормальным, чтобы муж содержал семью, а на жене держалось хозяйство. Потому ни при каком безденежье ему не приходило в голову рассчитывать на ее заработки: раз он муж, он должен прокормить семью.

Устраивало ли это ее? Конечно, ей случалось говорить, что он эгоист, что он ее подавил, хотя чем дальше, тем реже она об этом заговаривала. Он ясно видел, что к обиде у нее в изрядной дозе примешивается облегчение: в ее старании стать художницей был и элемент долга — она *должна* что-то собой представлять, *должна* быть не только женой и домохозяйкой — и вот теперь этот долг был с нее снят. Но примешивалась и враждебность, видевшаяся ему наплывающим желто-бурым облачком, да-да, желто-бурым; враждебность оттого, что он сильный, самоуверенный, оттого, что пренебрег в ней чем-то, что просилось наружу и что она пыталась выразить в своих школьно-старательных пейзажиках и натюрмортиках (с особенным пренебрежением относился Андрей к этому последнему жанру — натюрморту: зачем нужны натюрморты, он решительно не понимал). Ну что ж, любовь — штука сложная, в смесь, именуемую любовью, входит и щепотка враждебности. И эти опо-

здания с обедом, вероятно, еще и маленькая месть за установившийся у них в семье домострой.

Пожились они, когда Андрей заканчивал Репинку, а Алла переходила на третий курс. Через год родился сын, назвали его Иваном, и вскоре как-то само собой получилось, что растить его стали бабушка с бабушкой, родители Аллы. Формальным поводом было то, что нужно дать Аллочке спокойно получить диплом. Ну и кроме того, Андрей с Аллой часто сидели без копейки, а брать у тестя Андрею не позволяла гордость — так не страдать же ребенку! Когда диплом был получен и заработки, хоть и нерегулярные, все же пошли, мешало взять Ваньку к себе то, что Алла тогда еще всерьез считала себя художницей, а ребенок отвлекал бы ее от *творческой работы* (любила она иногда выражаться пышно). Потом, когда ее уверенность в своих *творческих способностях* поколебалась, выяснилось, что у Анны Филипповны, тещи, образовалась сложная и стройная система воспитания Ваньки, и взять его к себе — значит всю эту годами складывавшуюся систему разрушить. Систему теща начала образовывать еще до рождения внука: где-то она вычитала, что если живот будущей матери регулярно помещать в вакуумную камеру, мозг плода будет лучше снабжаться кровью и в результате ребенок родится необычайно способным. И Алла высиживала его в странном сооружении, гибриде юбки с фижмами и водолазного колокола. А уж после рождения пошло: плавание с месячного возраста, какие-то особые развивающие игры, чтение с трех лет... И теперь в свои семь Иван, появляясь у родителей по воскресеньям, обыгрывал отца в шахматы, он знал столицы, образы правления, королей и президентов всех мыслимых государств, по два часа без передышки читал наизусть Чуковского — ну это бы еще ничего, стихи запоминаются легко, но и Винни-Пуха, и сказки Андерсена, и «Золотого теленка» — последнего он читал тайком от бабушки. Это

уже было слишком, тем более что Ильфа и Петрова Андрей не любил — может быть, из чувства противоречия: уж больно все знакомые — тот же Витька Зимин, но если бы только он! — обильно оттуда цитировали, и не только цитировали, но и сами вдруг начинали говорить в стиле Остапа Бендера. Однако в принципе, если исключить «Золотого тельца», воспитание шло правильно. Что в наше время можно оставить сыну, чтобы благодарил всю жизнь? Имя, деньги? Безнадежный анахронизм. Наше время требует способностей, таланта: только с ними можно честно преуспеть, а значит, молодец теща!

— Андрюшка, иди!

Ну наконец-то! Вообще Андрей не любил этого ее «Андрюшка» — почему-то ему слышалось в этом Ф неприятное жеманство. Еще Алла иногда называла его Андрюшкой, и это нравилось, хотя тоже Ф. Но сейчас было не до фонетических переживаний: пусть «Андрюшка», зато «иди»!

— Да-да, Кунья, я уже весь здесь!

Андрей прозвал ее Куньей, едва они познакомились. Он и подошел-то к ней первый раз со словами:

— Вам никто не говорил, что вы похожи на куницу?

Отсюда и пошло потом: Кунья, Куник.

Всегда, садясь за стол, он собирался есть медленно, растягивать удовольствие — и забывал об этом, едва оказывалась в руках ложка, так что долгожданная пища проглатывалась за десять минут. За едой он сосредоточенно молчал, к чему был тоже с детства приучен. Наверное, вид у него при этом был очень истовый, и потому Алла, сидевшая напротив (сама она любила есть понемногу, пока готовит, и всерьез в один присест никогда не обедала), спросила наконец:

— О чем таком ты сейчас думаешь?

О, черт! Самый ненавистный для Андрея вопрос! Мало ли о чем он думает! Он и сам часто не знает, о чем

думает, потому что думает сразу обо всем. Или бывают такие дурацкие мысли, в которых и признаться-то совестно. Да и вообще, начиная думать, о чем думаешь,— сразу сбиваешься с мысли. Все равно что за едой разбираться, в каком порядке жевать, глотать, двигать языком,— сразу подавишься. И ведь сколько раз ей говорил — без толку! Вечно: «О чем ты думаешь?», «Чему ты улыбаешься?» — словно все время под рентгеном! И опять смешно устраивать из-за этого сцену. Но и сдерживаться сколько можно?!

Андрей стал думать, как бы нескандально, но решительно объяснить Алле еще раз, что он не выносит подобных вопросов, ну как некоторые не выносят царапанья по стеклу — может быть, дойдет наконец? Но не успел додумать, потому что зазвонил телефон. Телефон стоял тут же, в кухне. «Потому что я провожу здесь основную часть жизни!» — как охотно сообщала Алла всем гостям. Она взяла трубку:

— Квартира Державина!

Такая у нее манера: не «Алло!», а «Квартира Державина» — научилась от родителей, которые всегда отзываются по телефону: «Квартира Певцова». Значит, нравится ей быть Державиной, раз не упускает случая лишней раз произнести фамилию. А работы свои подписывает: «Державина-Певцова» — чтобы разом примкнуть и к известности отца, и к известности мужа.

— Алёна! Это ты, старушка? А мужа еще держишь?

Витька Зимин. Так орет, что слышно на всю кухню.

— Держу еще, куда деваться. Дать?

— Давай!.. Старик, у меня в руках свежая «Вечерка»! Мы сидим в редакции, только что принесли, в продаже еще нет. Тут пишут про тебя! В рубрике «Творчество молодых»... Так что беги к ларьку и скупай пачками! Ты же молодой, как отсюда явствует, значит, на ногу легкий! А название знаешь какое? «Ракурс жизни»! Ого-го! Ну давай, старик, поздравляю с боевым креще-

нием! Долго некогда говорить: такси вызвано. Ну, звони и вообще...

Витька повесил трубку.

Стыдно признаться, но Андрей до того обрадовался, что даже засуетился — вскочил, не доев той самой рыбы по-польски, чуть было и правда не побежал к газетному ларьку, хорошо еще вовремя сообразил, что «Вечерку» не привозят раньше пяти, а сейчас только четверть четвертого. Уселся и стал доедать. Но вкуса почти не ощущал: сразу стало не до обеденных удовольствий.

А стыдно потому, что нужно быть выше этого. Ведь главное то, что он сам думает о своей работе. *«Ты сам свой высший суд!»* Если ему какой-нибудь холст не удался, неужели похвала в статье заставит признать неудачу успехом? И наоборот, если он знает, что вышло хорошо, неужели его разубедит неодобрение какого-нибудь журналиста? Чуть ли не хорошим тоном считается говорить о своей работе: «А как получилось — не мне судить». Неправда! Прежде всего самому художнику и судить! Кому же, как не ему? Потому что, если чужое мнение ставить выше собственного, нужно превратиться во флюгер. Никакая работа станет невозможна. Ведь если быть последовательным и искренне считать, что «не мне судить» и «со стороны виднее», после каждого отзыва нужно брать кисти и переписывать заново: приводить в соответствие с новейшими пожеланиями.

Все так, и однако Андрей ужасно обрадовался. До сих пор в газетных статьях его фамилия только упоминалась раза два перед «и другими». Что-нибудь в таком роде: *«Обратили на себя внимание также поэтические пейзажи такого-то, такого-то, А. Державина и некоторых других»*. И то его после этого поздравляли, потому что множество художников, проработав всю жизнь, так и не дождались хотя бы такого упоминания в печати. А тут целая статья! Ему грех жаловаться, его и так

уже знают, и все-таки статья — это этап! Какой тираж у «Вечерки»? Сколько тысяч, да нет — сотен тысяч тех, кто не подозревал о его существовании, кто и на выставках никогда не бывает, прочитают сегодня, что есть такой художник — Андрей Державин! Название, правда, дурацкое: что значит «Ракурс жизни»? Да ладно, в газетах часто дурацкие названия... Ну рад он, рад — ничего не может с собой поделаться! А почему нужно что-то с собой поделаться?

Алла мыла посуду, стоя у раковины. И сказала совершенно между прочим, даже не повернувшись:

— А знаешь, что написал Игорь Северянин, когда его сняли в кинохронике? «Я гений, Игорь Северянин, своим успехом окрылен: я повсеградно оэкраен, я повсесердно утвержден!»

Вот так: р-раз — и удар под ложечку. Все заметила: как засуетился, вскочил, не доев. Андрей почти ничего не знал про Северянина: ну был такой поэт, большой позер, написал «Ананасы в шампанском» — но и этого достаточно, чтобы оценить иронию. А за что? Что он — набивался на эту статью? Проталкивал по знакомству? Сам он совершенно не умел иронизировать — если что не нравилось, мог сказать только прямо. Но по отношению к себе иронию чувствовал отлично — и не переносил! Уж лучше откровенная ругань.

— Ну и молодец, что так написал. По крайней мере, искренне. А кто бы не радовался на его месте? Ты бы не радовалась?

— А я ничего и не говорю. Конечно, надо радоваться, все правильно. Прочитировала, как радовался Игорь Северянин, — больше ничего.

Вот это и есть ирония: укусить, спрятаться — и ничего не докажешь. А настроение испортилось. Так что уже и не хотелось торопиться за газетой. Сама же Алла и напомнила:

— А сколько времени? — Это она-то, времяненавист-

ница!— Не опоздаешь к киоску? А то как бы не расхватали.

— Расхватают — на углу прочитаю. Там, где на стенке прилеплено.

Но все-таки пошел.

Вышел из подворотни — тепло, от распаханной полоски под тополями пахнет землей, а от воды водорослями, илом — точно море перед домом, а не узкий канал. И сразу забылась обида, Андрей снова обрадовался, что о нем написала газета: ведь обида осталась в стенах квартиры, там, где мир Аллы, мир семьи, а весь остальной город — он Алле не принадлежит, силы ее иронии не хватит, чтобы затмить радость во всем большом мире. И жизнь впереди казалась ясной: работа и удача! *Работа* — это когда все забываешь перед мольбертом, она как опьянение, как любовь; и следом *удача* — полные народу выставки, репродукции в журналах, всеобщие разговоры...

«Вечерку» только что привезли, выстроилась довольно длинная очередь — и почему ее так расхватывают, Андрей не очень понимал. Но факт — расхватывают.

Однажды Андрей спокойно сидел в сквере около Владимирского собора, смотрел на голубей — вдруг подбежал маленького роста толстяк в голубых брюках (еще когда подбегал, бежал-катился, Андрей подумал, глядя на эти голубые брюки: не человек, а облако в штанах) и закричал с энтузиазмом:

— «Вечерку» привезли!

— Да-да, спасибо,— удивленно кивнул Андрей, но с места не двинулся.

Облаковидный толстяк подумал, что Андрей не слышал или не понял, и он вернулся, хотя побежал было обратно к ларьку, и повторил раздельно и внятно, как ребенку:

— «Вечерку» привезли!

Андрей все же не стронулся, и толстяк убежал, обиженный и презирающий.

А сколько таких толстяков сейчас повторяют с энтузиазмом: «Вечерку» привезли!» — и покупают, и разворачивают, и читают про Андрея Державина... Ну, то есть Андрей трезво понимал, что сначала читают *происшествия и из зала суда*, если есть, но потом и про Андрея Державина. Пока стоял в очереди, ему казалось, все уже знают про статью и тайком на него оглядываются. Бред, но приятный бред. А купил все-таки только один экземпляр — назло Алле!

Не вытерпел, развернул прямо на ходу. Да, «Ракурс жизни». И довольно большая статья: две колонки и в высоту на полстраницы. Фотография его «Ледового замка» — ну это зря: в черно-белом все теряется, да еще смазанная газетная печать. Написала какая-то Д. Вашенцова — первый раз слышит.

Так: «*На выставках последних лет привлекли внимание работы... верность теме... багаж жизненных наблюдений: художник сам прежде плывал матросом по Северному морскому пути...*» Про это вовсе ни к чему писать, вроде снисхождения: ах, как умилительно, из простых матросов в художники — Андрей этого не переносил, до того не переносил, что какие сохранились случайно тельняшки — выкинул! Ну а дальше: «*Созерцательность... отсутствие активной жизненной позиции... вневременность...*» И того хуже: «*Попытки обрести свой почерк не всегда убедительны... (попытки!!)... влияние Н. Рериха и Р. Кента...*» Ну уж!!

Что она понимает, эта Д. Вашенцова! Чье же все-таки влияние: Рериха или Кента?! Это же только на самый поверхностный взгляд они в чем-то похожи, а по сути абсолютно разные! Написать так — значит обнаруживать свое невежество! А что значит *отсутствие жизненной позиции, вневременность*? Написать ледокол во весь холст — это будет активная жизненная позиция?

Да отличает ли она живопись от фоторепортажа? Нужно же почувствовать настроение, оценить колорит, а то все очень просто: есть пароходы, вездеходы — значит, современно, значит, активная позиция! Только чтобы так судить, достаточно послать на выставку несложный компьютер: он сразу подсчитает процент индустриальных элементов на картинах — с точностью до десятой процента! А вот уловить то, что в процентах не выразишь, — тут нужно чутье, настоящий вкус. Этой Вашенцовой не понять, что можно быть современным и активным, когда пишешь цветок камнеломки (героические цветы: ведь и правда из камней растут!), и устарелым скучным ремесленником, изображая самый что ни на есть новейший стотысячный теплоход! А ведь берется судить! Тон-то какой снисходительный: пришла и объяснила что к чему. А с чего она вообразила, что имеет право его учить? В конце концов он, Андрей Державин, хороший художник; действительно, на выставках около его работ всегда народ: значит, что-то он говорит людям, значит, нужен; и в отзывах много пишут, и в Лавке покупают, хотя довольно дорого, — вот кто он. А кто она? Ведь чтобы так писать, нужно лучше него понимать в живописи! С чего же она возомнила, что понимает лучше?! Стал бы кто-нибудь его деду объяснять, как держать фарватер, — да дед бы так цыкнул: с мостика в самый трюм катился бы объяснитель по всем трапам! А тут можно! Тут пароход брюхо не пропoret!

Андрей вошел в квартиру, как в убежище: все время казалось на улице, что сейчас встретится знакомый, который уже читал, начнет сочувствовать — в таких сочувствиях часто как бы просвечивает злорадство. А тут дом, крепость, родные стены... Алла сидела в кухне.

— Ну как, ублажили тебя статьей? — Очень она любит это слово: «ублажать». — Шампанское откроем? Я уже пирог поставила.

— Вот, Кунья, читай сама.

Андрей оставил газету на столе и пошел в комнату. Час назад он уговаривал себя, что нужно быть выше этого и не слишком торжествовать по поводу статьи. Теперь настало время повторить те же доводы: быть выше, не обращать внимания на наскоки этой неведомой Вашенцовой, но как не смог он не торжествовать (и с чего вдруг не читавши решил, что статья должна быть обязательно хвалебной?! Витька-то недаром поздравил довольно двусмысленно: «с боевым крещением» — и разговор сразу оборвал под предлогом такси), так не мог и не обращать внимания. Понимал, что глупо это, — и не мог. Пойти бы в редакцию, отыскать дверь, на которой написано: «Д. Вашенцова», встать в дверях молча. Она бы забеспокоилась: «Вам кого? Вы зачем, товарищ? Пришли поговорить?» — «Нет, о чем нам разговаривать. Просто посмотреть. Интересно, как выглядите».

Очень ясно представилась эта сцена.

Вошла Алла.

— Ну поздравляю. Толковая статья.

Такого Андрей не ожидал. Наверное, невозможно в семье без каких-то непониманий, обид, но чтобы *так!*

— Ты серьезно, Кунья?

— Ну конечно. Видно, что вдумчиво отнеслась. Не голое перечисление, а разбирает.

— Так ведь сплошная чушь! Рериха с Кентом в одну кучу! Да и все остальное!

— А ты хотел, чтобы тебя сплошь по головке! Чтобы все ублажали! Привыкай, терпи. Нужно уметь через себя перешагнуть, через самолюбие.

С удовольствием было сказано: «Привыкай, терпи».

— Чего терпеть? Если бы по делу! Нужно же ничего не чувствовать: «вневременность»!

— Ты со своей точки зрения судишь, она — со своей. Имеет же она право высказать мнение.

— Если бы было много статей, много мнений, имела бы право и она. Но статья-то единственная!

— На то и критика, чтобы разбирать критически.

Алла заговорила нестерпимым назидательным тоном. И с сознанием своего превосходства. Она часто именно вот такие банальности: «На то и критика, чтобы разбирать критически» — произносит назидательно и с сознанием превосходства.

Хотелось в ответ... Нет, лучше и не осознавать, что хотелось в ответ. Андрей снова сдержался — в который раз сегодня? — и попытался все же объяснить что к чему. Заговорил ровно и отчетливо, как бы демонстрируя, что он совершенно спокоен:

— Будто ты не читала критику. Ведь принято как: сплошь хвалить. Все дело в точке отсчета, в уровне оценок. Ну как в гимнастике: если судят всех строго, то получить девять и пять десятых — достижение. А если судьи всем сплошь раздадут девять и девять десятых, то те же самые девять и пять десятых — провал. У нас средний уровень оценок у критиков — девять и девять десятых, а то и все десять — вот в чем дело. А мне выставили девять и пять десятых. Если с меня решили начать более строгое суждение, об этом никто не догадается. Ведь что вычитают на фоне сплошных десятков? «Державина обругали в газете». Вот и все, только это и запомнится. А за что и какими доводами, никто и вникать не станет. Запоминается коротко: плюс или минус, похвалили или обругали.

— Не надо мне объяснять, я прекрасно все это понимаю, не хуже тебя, и могу для себя оценить и сделать выводы. (Вот типичная логика: только что говорила все наоборот, а объяснишь ей — сразу: «Я прекрасно все это понимаю».) Но ты для себя извлеки...

И дальше, и дальше, все любимые слова: «Хотел бы, чтоб только ублажали... больно, а ты переступи...» Андрей больше не вслушивался, он смотрел: слова жены

летели в него, малиновые, жгучие, похожие на напившихся крови комаров... Ну что ж, действительно надо извлечь для себя — не из статьи, а из этих с удовольствием произносимых жалящих слов.

— ...Ну идем есть пирог, уже готов, наверное.

— Ешь сама!

Андрей выбежал из квартиры.

Он постоял на лестнице. На улицу не хотелось: там могут быть знакомые. И он пошел наверх — в мастерскую. Трещина за те полдня, что он ее не видел, почти сошлась — Андрей ее не любил такую. Ну что ж, как раз к настроению.

Как хорошо, что есть мастерская. Работы обступают, смотрят со всех сторон. Кажется, ну что изменилось бы в мире, если бы не существовало этих холстов? А что-то бы изменилось. В тех же северных морях изменилось бы. Вон какая синяя глубокая вода вокруг айсберга, а она светится, эта вода, вопреки всей физике: не только отражает солнечный свет, а и светится сама: из спрессованных мощным давлением глубин поднимается наверх почти фиолетовое сияние. И это он показал свечение морской воды полярным днем, может быть, он и научил ее светиться — и эти холодные моря теперь навсегда не такие, какими были до него. Не такие, и всё тут! Доказать это невозможно — нужно почувствовать: той же Вашенцовой, той же Алле. Да, они теперь сблизились в его мыслях: неведомая Вашенцова и слишком ведомая Алла — вот так...

На мольберте стоял подмалевок начатого сегодня портрета. А, Ребров! Оказывается, Андрей очень хорошо запомнил Реброва, настолько хорошо, что видел его перед собой совершенно ясно, будто тот по-прежнему затекал на неудобном табурете посреди мастерской. Так почему не поработать? За всеми семейными приятностями успел отдохнуть.

Писал Андрей еще яростнее, чем утром. И с полным убеждением, что пишет хорошо, что поймал сходство. Ни разу не усомнился, не подумал: «Здесь оставлю, пропишу с натуры». И общий колорит непонятно почему высветлялся, заволакивавший Реброва грязно-бурый туман прореживался, прореживался — и рассеялся совсем. Пожалуй, никогда еще Андрей не испытывал такой торжествующей уверенности в себе: ярость претворялась в силу. И он писал и писал — работал полночи, пока вдруг разом не почувствовал изнеможение. Такое же, как утром. Все. И снова побежали по затекшей правой руке мурашки. И оказалось, что перегорели в нем злость и обида, и не страшно ему войти к себе и увидеться с Аллой: простилось и забылось ее предательство — если это было предательство, а не просто слабая, а потому трогательная даже попытка отстоять право на самостоятельность.

Андрей спустился вниз. Трещина по-прежнему была сжата: дом выдохнул, но еще не вдохнул. Ну и пусть, не имеет значения — не хватало верить в какие-то предзнаменования.

В кухне горел свет, а на столе лежал неразрезанный пирог. Если бы тогда, после объяснения, Андрей задержался еще хоть на минуту, он бы вышвырнул этот пирог в окно. А сейчас отломил большой кусок и стал есть — оказывается, снова страшно проголодался, пока работал. Так, стоя, и съел почти весь пирог, заливая молоком из холодильника.

А наутро, когда явился снова Ребров, выяснилось, что сходство-то в портрете почти исчезло, и вчерашняя уверенность — сплошной самообман. Что-то все же было — теперь портрет можно было счесть лишь вариацией на тему Реброва. И весьма произвольной вариацией. Но странно: Андрею не хотелось ничего менять, не хотелось снова добиваться сходства. Настолько, что когда все же попытался, кисть буквально не пошла! Появи-

лась убежденность, что портрет больше похож на Реброва, чем сам Ребров — живой и натуральный.

Андрей привык верить себе: он всегда чувствовал, когда пора остановиться, чтобы *не записать* вещь, не начать портить от чрезмерного усердия. И раз кисть не пошла, сопротивлялась — значит, наступил тот самый момент.

Ребров сидел на своей табуретке со старательной неподвижностью. Андрей впервые почувствовал к нему некоторую симпатию.

— Знаете, хватит.

— Что — хватит? — Ребров переспросил настороженно, ожидая какого-то подвоха.

— То, что вы мне больше не нужны.

— Уже? Совсем все?

Андрей ясно видел, что Ребров сейчас высчитывает, сколько этот рвач-художник взял с него за час работы над его портретом. И считает себя обманутым. Ну и пусть — не симулировать же работу, если она уже закончена.

— И можно взять?

— Нужно еще, чтобы вы высохли. Тогда и возьмете.

— А посмотреть?

— Это — пожалуйста.

Ребров осторожно подошел — как к незнакомой собаке. И сразу видно стало, что он совершенно разочарован и считает себя обманутым. Если бы он имел дело с клиентом в телеателье — он бы сейчас показал! Но здесь он был на чужой территории, он что-то слышал, что современная живопись — штука непонятная, противоположная фотографии, и боялся сказать что-нибудь не попад. Он понимал, что обманут, и не решался предъявить претензии.

А Андрей смотрел — и портрет нравился ему все больше. И все усиливалась уверенность в своей правоте. И Ребров-то оказался более симпатичным только

потому, что все же было в нем что-то общее с портретом — и это общее отчасти примиряло с натуральным Ребровым. Андрей знал совершенно точно, что не изменит в портрете ни одного мазка. А если Ребров все же переберет робость и откажется платить — черт с ним! Деньги сейчас очень нужны, но можно как-нибудь выкрутиться, а зато удастся портрет выставить. И уже больше хотелось выставить, чем сбыть: пусть видят, что у Державина выходят не только северные пейзажи! Андрей чуть ли не пытался мысленно внушить Реброву мысль о бунте.

— И когда же платить?

— Когда придете забирать. После того как совсем высохнет.

Ребров все же собрал всю свою решимость и отважился спросить:

— Разве похоже? У меня и щеки-то круглей, и глаза разные. С детства все знают, что разные: синий и карий. А у вас тут одинаковые. Какое же это сходство?

Андрей ответил почти грубо:

— Настоящее, вот какое... Но как хотите. Переделывать я ничего не буду, а вы можете отказаться. Аванса не платили, так что никаких убытков. Только вот время. Одетым натурщикам платят пятьдесят копеек в час. Я вам заплачу, если портрет не устраивает.

Нет, не поддался — улыбнулась выставка.

— Что вы, нет-нет, я только спросил. А когда он высохнет?

— Через неделю приходите. На тройнике высохнете быстро.

— Как это «на тройнике»? Электричеством, что ли, сушить? Вроде как феном? Так поставьте отдельную розетку: от тройников — знаете... Да у вас, я смотрю, вообще проводка — гниль одна.

— Это правда насчет проводки. Но сушить я вас буду без всякого электричества. Это наши фокусы: раст-

ворители разные смешиваем, тройник и получается. Помните, вы запахи не одобряли?

— А-а. Значит, ровно через неделю? В это же время?

— В это же.

У самой двери Ребров приостановился:

— А мы вчера про вас в «Вечерке» читали. Моя раньше сомневалась: что за художник? Настоящий ли? А я ей вчера и показываю: видишь, про него даже в газете статья, про моего художника! А сами вы читали?

— Читал, читал.

— Приятно, когда в газете фамилия. Про наше ателье тоже была статья, но меня не упомянули. Заведующий на меня держит зуб, потому и не дал в списке среди лучших мастеров, хотя я любой аппарат — хоть импорт, что из загранки привозят. Уходить я тогда хотел, да уговорили. Так, значит, я через неделю?

Во как! Оказывается, не случись статья, может, и не примирился бы Ребров со столь грубым несходством. Где найдешь — где потеряешь?

Через неделю он безропотно заплатил и забрал портрет. Андрею стало грустно, когда Ребров уходил, неся перед собой двумя руками, как благословляющую икону, завернутый в простыню холст. Вспомнился герой Гофмана — забыл, как его? — ювелир, который убивал своих заказчиков, настолько нестерпимо для него было расставаться со своими произведениями. Нет-нет, конечно, у Андрея и в мыслях этого не было, но само движение души Гофман вычленил точно, ну и невероятно гиперболизировал — это его право. Действительно, жалко отдавать в чужие руки свою работу, да еще удавшуюся работу, — все равно что разлучаться с близким человеком.

— Осторожно на площадках, лестница узкая, — сказал он вслед.

Чтобы отвлечься, Андрей представил в лицах, словно в театре, как жена станет пилить Реброва за деньги, за-

плаченные за непохожий портрет (та самая «моя», которая сомневалась, что за художник — настоящий ли; ну, теперь уверится, что ненастоящий), и как они оба, упрятав поглубже сомнения и разочарования, будут хвастать портретом перед гостями: ведь у тех нет своих портретов, писанных на холсте масляными красками и вставленных в рамы (уж Ребров выберет на раму самый пышный багет, где больше всего золота и завитушек!). Когда же гости заикнутся о несходстве с оригиналом, им станут показывать вырезку из «Вечерки» и объяснять, что такое современное искусство; и гости, спускаясь по лестнице, сначала посмеются над барской причудой Ребровых, а потом задумаются: может, мода такая пошла — заказывать портреты художникам? Может, теперь недостаточно напялить джинсы и дубленку, а нужно еще заказать портрет, чтобы выглядеть вполне преуспевающим?.. Все эти сцены так Андрея позабавили, что он немного утешился в разлуке с портретом.

Но когда спускался из мастерской, внимательно смотрел на стены: нет ли где-нибудь свежей царапины — ведь мог с непривычки этот Ребров чиркнуть углом, мог!

Царапины не обнаружилось. А трещина — та самая, продолжение и воплощение трещины, прошедшей через мир, — сегодня разошлась. Андрей провел по ней пальцем. В себе он тоже чувствовал трещину — только пальцем не провести.

2

Прошло три месяца.

В Летнем саду, в Кофейном домике (он же бывший Грот), открылась выставка Андрея Державина. Первая его персональная выставка. Почему-то выставки в Кофейном домике не так уж престижны и обычно проходят незамеченными — выставиться в залах Союза на

улице Герцена, не говоря уж о Манеже, считается куда почетнее. Хотя, если вдуматься, Кофейный домик — лучшее место для картин! Вокруг Летний сад — сам по себе музей, и замечательная архитектура Росси — все вместе настраивает. Небольшие размеры домика только на пользу: заставляют художника строже отбирать работы; ну а зрителя не утомляет избыток картин. Конечно, не всякая живопись будет здесь смотреться: нужно гармонировать со всем окружением, но Андрей находил, что он вполне гармонирует. Это тех, кто считает живописью кричащую мазню — их почему-то называют *левыми*, — убьет соседство со скульптурами Летнего сада, со всей культурной традицией, пропитывающей здесь самый воздух. Ну а пройдет выставка незамеченной или привлечет публику — это зависит не от места. Так что Андрей был доволен.

И на открытие собралось порядочно народу. Очередь не выстроилась, но в зале было людно. (А как это ужасно, когда одинокий художник, как по пустыне, бродит среди своих картин!) Андрей даже раздал несколько автографов — дурацкое занятие, если вдуматься, но приятно.

Вечером зашел Витька Зимин и привел с собой нового знакомого. Знакомый держался за его спиной, а Витька с порога закричал, размахивая бутылкой коньяка:

— Старик Державин нас заметил и в Летний сад гулять сводил! А? Как здорово о тебе классик: все предусмотрел! Знакомьтесь, это Никита Панич. Он, брат, такой человек! В Пушкине бывал во дворце? Все его руками! Это тебе не наша мазня. Никиша, ты, ясное дело, на нас смотришь свысока, но не побрезгуй!

Никита Панич вышел из-за спины Витьки, протянул Андрею руку и сказал смущенно:

— Вы извините, что я незваный. Поздравляю, я сегодня был в саду, смотрел.

Алле он поцеловал ручку, чем сразу ее покори́л.

— Вот что значит во дворцах работать,— с подспудным укором мужу сказала она.— Сразу их духом проникаешься. Прямо как фрейлине. А от этих, современных, разве дождешься! Никита, из меня вышла бы фрейлина?

— Какая фрейлина? Царица!— закричал Витька.

Никита Панич похож был на Гоголя: длинноносый, глаза близко к переносице — и прическа, словно нарочно, в точности как на хрестоматийном портрете Моллера, что в Третьяковке.

— Не засматривайся!— закричал Витька.— Уже забито! Буду писать полотно шесть на девять: «Молодой Гоголь в ночь под рождество на хуторе близ Диканьки»!

Не сняв старых растоптанных сандалий — Алла бергла полы и заставляла гостей надевать тапки, но Витьки стеснялась,— он заглянул в комнату:

— Ивана Андреевича, крестника моего, нет как всегда? Будущего баснописца. Или борзописца — не знаю. Все держите в бабушкином лице? В счастливом отдалении? Мудро! А мои говнюшечки все дома вверх дном — в голове сплошной звон. И уксуса в магазинах нет, чтобы на лоб примочки класть.

Витька Зимин очень любил своих трех дочек, и «говнюшечки» в его устах звучали ласкательно. Он вообще следовал нынешней странной моде среди образованных людей и обильно вставлял в речь слова, по традиции считающиеся неудобными как в печати, так и в обществе. Произносил он эти слова, на слух Андрея, немного неумело, да и вообще вся эта мода казалась Андрею нелепой и противной: оттого, наверное, что мат постоянно звучал вокруг него с самого детства, звучал не как экзотический словесный орнамент, а тяжело, липко, неизбежно. И сейчас он радовался, что покинул среду, где

без привычной брани никакая речь не молвится,— и вдруг оказалось, что культурные люди учатся тем же постыдным словесам. Сам Андрей давно уже не матерился, и восхищение, с которым нынешние ходоки в народ рассказывают о каком-нибудь легендарном боцмане, загибающем семи- и девятиэтажно и якобы ни разу не повторяющемся, казалось ему просто детским.

— Так, значит, нету крестника? А я ему тоже молочка от бешеной коровы принес. Он же у вас вундеркинд? В колбе выращивали? Вот пусть раньше всех приобщается!

И Витька извлек из кармана маленькую бутылку коньяка — наклейки, звездочки, все честь честью.

— Ты что? Ребенок!— искренне ужаснулась Алла.

— А ты попробуй! Сама не оторвешься!

Алла отвинтила пробку, опасливо лизнула.

— Компот?

— Но какой?— Витька счастливо расхохотался.— Заварен на облепихе — самый модный сейчас фрукт. Специально для вундеркиндов! Ну а мы давайте врежем. Алена, на стол мечи!

За столом Витька продолжал орать, а Никита Панич сначала сидел молча, только страдательно благодарил каждый раз, когда Алла подкладывала ему что-нибудь в тарелку; но вдруг после очередной рюмки распрямился, покраснел, резким жестом словно выключил Витьку и заговорил с надрывом, с каким, наверное, произносили в старину монологи провинциальные трагики:

— Ну да, реставратор, идеалы красоты возрождаю из руин и пепла. Вы, может, подумали, что я живопись реставрирую, плафоны всякие? А я по дереву: кресла да спинки диванов. Или недавно люстру. Сейчас ее сусалью покроют — и будет как литое золото. Или под бронзу — смотря чего надо. Чего старые мастера могли — и я все могу! Хотите, буфет такой вырежу, какие только во дворце? Коллекционеры с ума сойдут. Все

могу повторить. Только повторить... Когда-то сам пытался — и красками, и стихи тоже, а потом усомнился: нужно ли еще пытаться делать искусство? Может, уже все сделано? Может, нам только хранить да восстанавливать? Писал-писал стихи, а как пойдешь белой ночью, невольно складывается: «Мосты повисли над водами». Так зачем еще чего-то пытаться? Или дворец мой. Что-нибудь построили сейчас лучше дворца в Пушкине? Или Эрмитажа? Полезнее — сколько хотите! Удобнее. А прекраснее? Или в резьбе: чего я ни вырежи, хоть и не копируя, хоть как бы свое, а знатоки будут спорить: шестнадцатый век или семнадцатый. Потому что орнамент из листьев да фруктов, никуда от них не денешься, а фрукты да листья как были так и есть — не меняются. Природа уже изображена вся, а уйти от нее, ломать форму — тут короткий тупик, быстро упруешься. Что же, мне орнамент из самолетов резать? Выйдет смешно. Вот так получается: нужно ли пытаться? А хочется! Потому что когда повторяешь да повторяешь, уже и усомнишься в какой-то момент: а сам-то ты существуешь? Или только ожившая тень? Привидение какого-нибудь крепостного мастера Ивана Петрова Матвеева?.. А вы не усомнились, вы сами по себе — существующие. Вот был сегодня в Летнем саду. Там же все реставрированное! Иду и смотрю: у Афины рука с мечом была отбита, ее Валька Шаблин делал, мраморщик; стены павильона — лепщики работали, а потом Веня Кугузов, маляр — такой маляр, что всем малярам: по Зимнему малярил и по Михайловскому дворцу! — так сколько он мучился, колер подбирал — вроде желтый и все, а поди ж ты! Но все повторители, все — наш брат, тень. А зашел внутрь: там вы, который сам по себе. Значит, хватает смелости быть...

И Никита Панич тоже как-то совсем по-театральному раздавил в кулаке рюмку, так что закапала на клеенку бледно-розовая, разбавленная вином кровь. Алла

засуетилась мазать йодом, бинтовать, а Никита бормотал:

— Извините... Извините...

Андрей все это выслушал без сочувствия: он не понимал такого рода терзаний. Нужно работать, как работается,— вот и все. Зато Витька вдруг пригорюнился, так что стал не похож на себя.

— Да, старик, комплекс классики, он нас всех давит.

Андрея не устраивало слово «нас»: он-то не чувствовал никакого комплекса, но спорить не стал — бессмысленное дело такие споры. И чтобы сменить настроение, запел «Вдоль по улице метелица метет...». У него был неплохой тенор — несильный, но для комнаты как раз. Все подхватили, а Никита Панич — неожиданно! — басом.

Андрей выпивал нечасто, а когда случалось, наутро бывал совершенно трезв. И на этот раз он встал на другой день как обычно и сразу пошел наверх, в мастерскую. Трещина снова широко разошлась. Андрей вспомнил вчерашние разговоры и подумал, что трещина мира — она проходит через каждого, но только не все это осознают. И тут же пришла довольно нелепая мысль: а что, если эту похожую очертаниями на Волгу трещину взять да заделать? Замазать алебастром, например. Или темперой! Ведь темпера — вечная краска! Зазеваешься, высохнет на палитре — тверже камня! Потому Андрей ею и не работал почти никогда: любил пройти по сырому. Хотя у темперы то преимущество, что совершенно не жухнет. Но для заделки и нужно ее мгновенное окаменение! Да не белила взять, а что-нибудь вроде сиены жженой: чтобы все видели, какой была когда-то трещина... Он бы сразу и заделал, если б хватило его роста, но она же загибается со стены на потолок — значит, надо стремянку. И Андрей пошел в мастерскую, раздумывая, где достать стремянку. А в мастерской, как всегда, сразу обступили холсты — и он забыл про тре-

щину на площадке пятого этажа и про мировую трещину, которую лестничная как бы символизирует...

Он уже вработался, когда вдруг в дверь позвонили.

Андрей не любил незваных визитеров, мешающих работать. Очень ему была понятна история с Айвазовским, к которому как-то пришел адмирал, старый знакомый — на его корабле Айвазовский когда-то плывал, писал морские этюды. Адмирал был разнежен: «Посидим, вспомним старину!» Но Айвазовский его не принял, потому что всякое оторванное от работы время считал безнадежно погибшим. Андрей тоже не стал бы никого принимать, но мог зайти столяр, которому он заказал подрамники. Вообще-то столяр должен был принести подрамники вчера, но обманул — он часто обманывал, и каждый раз Андрей злился и давал себе слово больше с ним дела не иметь, а потом забывал и снова имел дело.

За дверью стояли мужчина и женщина — оба незнакомые.

То есть мужчина казался смутно знакомым: Андрей вроде бы видел его когда-то однажды — и скорее во сне, чем наяву. Мужчина был похож на портрет Реброва. Не на самого Реброва, а именно на его портрет! Наверное, брат; может быть, даже не родной, а двоюродный. И Андрей мгновенно возгордился: значит, он сумел отместить случайное в чертах Реброва, извлечь как бы квинт-эссенцию — родовое, наследственное, прочное! И лицо приятное — не в пример тому первому Реброву: достоинство в нем просвечивает, как слабый золотистый отблеск. А женщина не понравилась: сразу видно — мелочная, суетливая, завистливая — бурая по своей сути.

— Здравствуйте... — мужчина чуть запнулся, — товарищ Державин. Извините, что так официально, но вы тогда по имени только назвались, а вроде как-то неудобно по имени. Неуважительно.

Действительно, Андрей не то что стеснялся представляться по имени-отчеству, а скорее, не любил: такое обращение, ему казалось, словно бы приближало солидный сорокалетний возраст, достичь которого Андрей не торопился.

— Здравствуйте,— ответил Андрей выжидательно, не приглашая заходить.

— Вы меня, может, не узнаете? Я Ребров.

— Брат того Реброва, моего заказчика?

— Почему брат? Я и есть тот заказчик.

— В этом же все дело!— не вытерпела женщина.— Да объясни ты, Коля, наконец!

Работать помешали, так чего уж теперь стоять на лестнице. Да и сделалось интересно.

— Заходите, поговорим в мастерской.

— Спасибо. Так, значит, не узнали вы меня, за брата приняли? А у меня и нет никакого брата. Да меня теперь и знакомые не узнают. Принес я тогда портрет домой, который вы нарисовали, и хочется на него смотреть. Притягивает! Знаю, что не похож я на нем, а смотреть хочется. Повесил над кроватью. Катя сначала насмешки строила...

— Молчи уж! Чуть что — все на жену валить! А кто первый заметил? Ты еще гляделся в него, как в новые ворота, а я заметила! Помнишь, говорю: «Коля, да ты теперь на него больше, чем на себя, похож!» А кто посмеялся? Так и нечего валить!

— Да, Катя и правда первая сказала. Недели, наверное, через три. Или через месяц. А потом я уж и сам заметил. И на работе стали спрашивать: «Ты что, по ночам в санаторий летаешь? В отпуск не ходил, а как с курорта». Хорошо, старые фотографии есть, а то бы теперь и не поверили, какой раньше был. До этого. То есть до вас.

— Фотографии! С лица не воду пить. Подумаешь, заделался красавцем! Это бы как раз и ни к чему: один

соблазн! Болезнь его прошла! Вот это вы нам удружили, за это спасибо — так спасибо!

— Какая еще болезнь?

Только еще не хватало слушать о болезнях! Вот уж чего Андрей не выносил.

— Болезнь у него всю жизнь. С самого детства. Кормили, значит, так. А он еще и заступает за мамашу свою! Весь желудок насквозь: и изжоги, и запах этот тяжелый... Уж как ни лечился. А теперь прошла, как не было. После вас.

— Я-то тут при чем?!

— От вас все и произошло. Потому что стал совсем другой человек. Как глаза сравнялись, так и желудок прошел. У него ж всегда глаза разные, а сейчас как у людей. Ест все, а то раньше не угодишь: то кислое, то пересолено, то недоварено. Точно с другим человеком живу. Жадный был, снега зимой не выпросишь, а тут Роберту нашему купил мопед, а мне на курорт путевку, когда я и не просила. Одно слово — с другим человеком живу! С которым вы нарисовали.

— Ну, я очень рад, — только и нашелся Андрей.

— Вот мы и пришли: спишите с меня портрет тоже! Уж не откажите в такой милости. Я ведь, можно сказать, не человек, а мученица: и почки, и камни в пузыре...

Андрей замахал руками:

— Не желаю я про ваши болезни выслушивать! Не доктор я! Понимаете: не доктор!

— Мужа-то вылечили, а он чего не перепробовал: и по профессорам, и по санаториям, воды всякие пил. Спишите с меня портрет! Мы заплатим! Пятьсот рублей заплатим! И если чего достать...

Андрей, конечно, опять сидел на мели, но брать новую цену за странные свойства портрета, проявившиеся помимо его воли, показалось вымогательством. Он ответил резко, почти враждебно:

— Двести пятьдесят! Законная цена — двести пятьдесят! Приходите завтра к десяти. И я ничего не обещаю.

Они настроились было долго благодарить, уснащая благодарности малоаппетитными медицинскими подблюдностями, но Андрей их выпроводил.

Снова он остался один и решил не открывать ни на какие звонки — черт с ним, со столяром! — а не работало. Слишком уж странный случай. Но ведь действительно изменился этот Ребров. И если как следует вдуматься, то происшедшая с ним невероятность единственно закономерна! Для чего еще нужны портреты, если они не вылечивают и не исправляют? Для того чтобы увековечить внешность, какая есть, достаточно и фотографии. Для чего вообще нужно искусство, если оно хоть понемногу, хоть по капле не вносит совершенство в наш несовершенный мир?

А работа так и не пошла. Как-то он сразу охладел к огромному холодному камню, несокрушимым ледоколом раскалывающему ледяную равнину: слишком бело, безжизненно, бесчеловечно. Надо писать портреты! Вот работа: писать портреты, вносить в мир совершенство!

И как всегда, когда не удавалось вработаться и отключиться от всех посторонних чувств, вдруг резко захотелось есть. Андрей по привычке вывинтил пробки, лениво подумав, что надо наконец сменить проводку, запер мастерскую и пошел вниз.

Трещина за это время сошла. Но сейчас это не было Андрею неприятно. Он подумал, что своим портретом он как бы замазал трещину в одном человеке — в Реброве. Крошечный шаг ко всечеловеческому усовершенствованию — но лучше, чем ничего.

Подходя к квартире, он подумал, что трудно будет рассказать Алле про случай с портретом: слишком невероятно — не поверит, посмеется. От этой мысли и шаги замедлились.

Алла как раз заканчивала крошить огурцы для холодного борща. Спросила слишком обыденно, и головы не повернув — будто он не из мастерской, не от мольберта, а только что встал с дивана:

— Тебе одно яйцо покрошить или два?

Андрей очень явственно представил, как он сейчас здорово поест.

— Два!

Может быть, с излишним воодушевлением сказал.

Алла стала быстро и красиво нарезать крутое яйцо (если Андрей пытался, у него всегда желток налипал на нож) и при этом пропела про себя, но Андрей все же расслышал:

— Поправляйся, АндрюФенька, расти толстым и красивым!

Расслышал и сказал сразу вылинявшим голосом:

— Нет, одно.

— Так два или одно? У тебя семь пятниц!

— Одно. Не хочу поправляться и расти толстым и красивым.

Ну за что она посмеялась? Был бы он жирным, завшившимся и все требовал бы: два яйца, четыре антрекота!— тогда бы на самом деле смешно. Но нет же, все ребра торчат исправно, и скулы. А так, без причины, можно над любым словом посмеяться, над любой привычкой. Он же никогда себе не позволяет. А она... Ведь прекрасно знает, что не нравится ему это ее «АндрюФенька», а все равно повторяет.

— Как хочешь. Тепличный ты, АндрюФка, и не веришь, что бывший морской волк. Да еще полярный.

— А ты думаешь, там все толстокожие? У нас был случай: одному парню ради смеха ремень подрезали, он пошел плясать — штаны и свалились при всем народе. А у него одна гордость в жизни: лучше всех пляшет... Мне бы сказки Гауфа проиллюстрировать — помнишь, у него: Король Плясунов?— я бы того нашего

Сеньку... Каждому своя гордость нужна. Он и маленький, и слабосильный, но перепляшет любого. А чтобы легче коленями чуть ни лоб доставать, он штаны на голяка надевал: исподнее там знаешь какое — не трусы из синтетики. Потому и подрезали, что знали. Смеху было! А он пошел да и повесился — позора не перенес.

— Ну и глупо.

— Конечно, глупо, разве я говорю. Но было. Мало ли в жизни глупого. Только чем места глуше, тем народ к обидам чувствительней.

— И ты тоже, значит, такой?

— Уже не такой. От цивилизации кожа грубеет.

— Ну успокоил. А то уж я испугалась: не пошел бы в канале топиться.

Андрей не стал отвечать. Кому-то надо остановиться, Алла остановиться не умела.

Но о превращении Реброва он ей после этого рассказать не мог. Своим умолчанием он наказывал Аллу за все бесконечные булавочные уколы, на каждый из которых вроде и совестно обращать внимание, но от всех вместе в пору взреть медведем; наказывал, хотя она и не подозревала о том, что наказана. А он думал с гордостью и горечью, что вот оказался способен написать портрет, преобразивший оригинал, и за это совсем незнакомые, да к тому же ничего не понимающие в искусстве люди чуть ли не боготворят его, а родная жена — и художница! — мелочно шпыняет, и значит, недовольна своей жизнью с ним. Кого же ей надо? Старая пошлая острота утверждает, что муж всегда узнает последним об измене жены. Но куда печальнее то, что жена всегда узнает последней о таланте мужа...

Мадам Реброва явилась позировать в тяжелых золотых серьгах и с кулоном чуть ли не на якорной цепи.

В золотой раме ее лицо казалось совсем темным: блики на металле подчеркивали бурю дымку, наползающую со лба вниз.

— Это все придется снять. Чтобы не дробилась форма.

— Вы уверены? А мне говорили, что прикосновение золота полезно. Даже вылечивает: потому что от него исходят биотоки.

— Вам придется лечиться золотом в свободное от позирования время.

— Но, может быть, оно и на портрете...

— На портрете оно высосет биотоки из вас.

Такая гипотеза Реброву испугала, и она поспешно обобрала с себя золото.

— И я совсем забыл сказать вчера: вам лучше сидеть в теплой кофте.

— Что вы! У вас и так жарко! Солнце бьет прямо. Да я сама горячая.

— Вы не поняли: я в том смысле, что теплого цвета.

— Как это — теплого цвета? Смеетесь вы, что ли? Теплый — это чтобы грел. Как же цвет может греть?

— Ладно, чего уж теперь. Накиньте, тут вот у меня коричневый халат валяется.

— Да зачем же? Если он мне не идет совсем? Чтобы я так и осталась в этой старой тряпке? Золото — снимите, рванный халат — наденьте! Нищенку срисовать хотите? Чтобы я и на самом деле потом обнищала?

Вот такого поворота Андрей не ожидал. Неужели она и серьгами обвесилась, чтобы от портрета расплодилось ее золото? Или даже у подружки выпросила, вроде как на закваску? Это уж совсем черт знает что! Кое-как Андрей нашелся:

— Кроме лица, я ничего не пишу — потому что оно живое. Неживое — оно и есть неживое: на него не действуюешь. Потому не буду я подробно вашу кофту выписывать — нужна она мне! Только чтоб гармонировала, чтобы нужная гамма. Надевайте и не разговаривайте! Будете меня учить!

Андрей нервничал. Он совсем не был уверен, что

сможет написать портрет, обладающий таким же странным — и замечательным, конечно, но прежде всего странным — свойством. И хотя он ничего не обещал, он был бы разочарован, если бы ничего не получилось — ну сверх обычной, *внешней*, так сказать, живописи: раз достигнутое, пусть невольно, новое качество уже казалось необходимым, органически ему присущим, отныне все написанные Андреем Державиным портреты должны были обладать этим странным и замечательным качеством. Лишиться способности наделять написанные им портреты этим новым качеством было бы так же обидно и несправедливо, как музыканту внезапно лишиться беглости пальцев. Но принципиальная разница заключалась в том, что всякий музыкант знает, как упражнять беглость пальцев. Андрей же не имел ни малейшего понятия, как развивать или хотя бы удержать внезапно обретенную способность. Потому и нервничал.

А жена Реброва благодушествовала. На неудобной табуретке ей сиделось, как в покойном кресле: еще бы, она добилась своего, теперь она несколько часов перетерпит, посидит неподвижно и избавится от камней в почках и разнообразных других отравляющих жизнь недугов. Она совершенно успокоилась насчет опасностей, которыми изображение на портрете старого халата могло угрожать ее благополучию, и бойко соображала, что этот худущий (уж не голодает ли?) художник Андрей Державин со своими исцеляющими портретами скоро войдет в славу, к нему будет не пробиться, а счастливицы, которых он все же примет, с радостью заплатят и по тысяче, и по три — так всегда происходит: цены на любой дефицит сразу подсакивают десятикратно. Она же и попала сюда, в мастерскую к Андрею Державину, легко, и портрет получит по дешевке.

Если не подробности ее мыслей, то общее их направление Андрей понимал ясно. То есть не то чтобы понимал умом, а впрямую видел — так же отчетливо, как

маленький рот с завистливо сжатыми губами или бойкие лживые глаза,— мелкие эти мысли клубились бурным облаком, в котором запутывались даже лучи утреннего солнца, наполняявшие мастерскую, высвечивая в этом облаке то коричневые, то зеленые оттенки. Андрей любил писать при солнце, считал, что именно при солнечном освещении отношения цветов получаются истинными, пасмурное же освещение искажает тона.

Андрей и усадил мадам Реброву точно так же, как в свое время ее мужа, и холст взял точно такого же формата, и грунт сделал тонированный (с Ребровым взял случайно холст с кофейным грунтом — добавлял немного умбры, и теперь так же загрунтовал специально) — все, чтобы повторить условия, при которых писался первый портрет.

Сначала мешала скованность. От излишней старательности и рисунок получался робким, не хватало той уверенности, когда одним точным движением описывается овал лица — и не требуется никаких поправок! Но постепенно он вработался, наладились привычные проторенные связи — от глаза в мозг, от мозга через кисть руки к кисти-инструменту, которая тоже превратилась в живую, чувствующую часть тела,— и отошли в сторону мешающие сомнения: сможет или не сможет снова... сумеет или не сумеет удержать необычайную способность... Андрей работал — и привычная ярость охватывала его. Он почти ненавидел эту по-глупому хитрую женщину с ее бурным облаком мелочных мыслей. Ненавидел потому, что ведь каждый человек по своей природе рассчитан на чувства и поступки значительные, и провести жизнь в мелкой подловатой суете — все равно что владеть прекрасным концертным роялем — «Бехштейном» или «Стейнвеем» — и играть на нем одним пальцем пошлые песенки.

Солнце ушло из мастерской, бурое облако потемнело, перестало играть оттенками. Андрей разом почувст-

вовал усталость и опустошенность. Все на сегодня. Выложился.

По затекшей правой руке побежали мурашки — как тогда, когда писал портрет Реброва. Интересно, что когда писал пейзажи — уже и после портрета, — рука не затекала, и это возвратившееся ощущение укрепило надежду, что удастся наделить новый портрет тем же чудесным свойством.

Вместе с усталостью пришла и примиренность: может быть, она и не такая плохая женщина, эта жена Реброва? Нельзя же требовать, чтобы все были как Жанна д'Арк или Вера Засулич.

Андрей подумал, как бы выразить внезапное дружелюбие, и спросил:

— Если хотите, я в следующий раз заведу музыку, чтобы вам веселее.

— Я и так очень всем довольна, вы обо мне не беспокойтесь. А музыки я наслушавши: мой берет домой работу — и гоняет, и гоняет! Магнитофоны теперешние. Бывает, не выдержишь: «И денег твоих не надо — голова сейчас лопнет!» Сейчас вот полегче стало: притащил откуда-то рухлядь, уже месяц как возится. Говорит, на нем когда-то первые звуковые фильмы записывали.

— Можно не такую музыку, как на тех магнитофонах. Вы Шопена любите?

— Нет, ну его... Я одного Скрябина люблю!

О, господи!

Андрей бы и так не поверил, но Реброву выдавало еще и зеленое облачко хитрости, сразу же, как вуалю, прикрывшее пол-лица. Но самое ее старание подделаться под вкусы непонятного ей мира художников было даже трогательно. Да и фамилию откуда-то знала: Скрябин. Нужно было бы промолчать или сказать что-нибудь вроде: «Как замечательно! Я тоже люблю Скрябина!»; или, на худой конец, поймать на слове и назавтра за-

ставить маяться, скажем, под «Прометея» — впрочем, пришлось бы маяться и самому Андрею, потому что он-то Скрябина не любил: эта музыка казалась ему смутной и претенциозной — то ли дело Шопен!.. Но Андрей не удержался и спросил совершенно серьезно:

— А у Скрябина — что больше всего?

Потому что хотя и не любил, но по названиям знал.

— Симфонию для скрипки с квартетом.

Но тут уж стыдиться нужно было ему самому за свой мальчишеский вопрос. Это все равно как один заезжий журналист высмеял их стармеха (такие журналисты обожают щеголять морским арго и называют стармеха не иначе как *дедом*, а у них на «Индибирке» он был вовсе не *дед*, а почему-то *атомищик*, хотя «Индибирка» отнюдь не была атомоходом), высмеял за то, что тот про стих Некрасова сказал: «Пушкин». Дешевка тот журналист — и вдруг Андрей сам... От смущения он поспешно распрощался с Ребровой и потом еще некоторое время ходил взад-вперед по мастерской сжимая кулаки и бормоча: «Знаток выискался... музыковед... меломан...»

И этот стыд, и злость на себя, и трогательное старание Ребровой выглядеть любительницей музыки — все вместе, соединившись, высветило ее образ, и Андрей увидел ее такой, какой она должна была быть, со всеми заложенными в ней способностями к добру, разуму, любви, — так реставраторы снимают поздние грубые напластования красок и открывают первоначальную фреску. И сделалось абсолютно необходимым тут же закрепить на холсте провиденное. Куда-то отошли усталость и опустошенность.

Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен! Вот в чем секрет его портретов: он стирает случайные черты! Случайные черты, искажившие лица, чувства, самую жизнь его моделей. И когда те видят самих себя преображенными, у них возникает непреодолимое

желание достичь своего максимума! А излечение гастрита у Реброва — побочный эффект, ибо болезнь — тоже всегда уродство, искажение образа, случайная черта.

Сделанный уже подмалевок словно сопротивлялся. То тут, то там вылезали мелкие суетливые черты нынешней Ребровой; сквозь свежеположенные чистые тона то и дело проступали бурые коричневые, грязно-зеленые пятна зависти, алчности, подозрительности. Но Андрей яростно записывал все это непотребство, тащил на холст ясно видимый ему подлинный образ Ребровой. Это было увлекательно, как всякая борьба, и, как всякая борьба, изматывало. И наконец он забил, перекрыл наглухо рвущуюся наружу пошлость, и Реброва на портрете стала такой же, какой виделась ему — истинной, очищенной от случайных черт. И тогда снова наступило изнеможение. Он с трудом заставил себя вымыть кисти и почистить палитру. А потом некоторое время сидел на табурете, не в силах даже встать, чтобы идти вниз. Но это было счастливейшее изнеможение — как после победы в олимпийском финале. И мурашки в правой руке были, словно бесчисленные уколы мелких пузырьков в стенки сосудов: как будто не кровь у него там, а откупоренное только что шампанское!

Немного отдохнув, он наконец спустился вниз, неся в себе ощущение счастья от хорошей работы. А на трещину, проходя, и не взглянул, потому что невидимые трубы играли марш и нужно было держать равнение, а не глазеть по сторонам. И вход в квартиру показался триумфальной аркой.

— То делаешь трагическое лицо, если подождать пять минут. А приготовила вовремя — его и нет!

До того нелепо было выслушивать такое после пережитого счастья. Андрей искренне решил, что Алла шутит.

— Время не властно над шедеврами, Кунья! Кулинарными тоже.

Он и сам знал, что остроумие его обычно выходит довольно тяжеловесным. Ну и что? Это не его специальность, в конце концов.

— У тебя со мной только кулинарные разговоры, до других не снисходишь. Нашел себе кухарку!

А в нем все по-прежнему ликовало, и нечувствителен он сделался к обычным мелким уколам.

— Чудесно, Куник! Давай разговаривать об искусстве! Слушай, давай распишем у нас потолки — и в кухне, и в комнате, и в ванной! Например — звездное небо. Но чтобы лучше настоящего звездного неба.

— Лучше настоящего быть не может.

— Может! То есть обязано! А иначе зачем вся наша живопись? Если настоящее небо всегда лучше написанного, и настоящий лес, и настоящее море? Тогда нужно смотреть на настоящий лес и настоящее море — и к черту все картины! Обязано быть лучше! Да возьми Айвазовского: его море гораздо лучше настоящего! Так распишем потолки, а?

Андрей сейчас все мог. То есть не сию минуту — сию минуту он чувствовал громадную усталость. Но это была усталость после работы самого высокого класса, работы, которой он доказал себе, что может все. Самое главное — доказать себе, ибо губят художника неуверенность и сомнения в себе. Да не только художника. Всякий может пройти по узкой доске над пропастью, и сталкивают с доски вниз только собственные сомнения. А несомневающийся лунатик переходит на другую сторону... До сих пор Андрей считал, что вполне уверен в себе, и только сейчас почувствовал, каким постоянным грузом висели на нем не сознаваемые им самим сомнения. И только сегодня, сбросив их, ощутил то естественное состояние легкости, в котором и нужно пребывать постоянно. Наконец он мог все. Больше не существовало ограничения одной темой: он мог писать что угодно, оставаясь самим собой. Вот отдохнет и напишет хоть

вот этот тысячу раз писанный-переписанный канал Грибоедова, он же раньше — Екатерининский, и получится только его, Андрея Державина, видение, и всякий на выставке узнает его руку, не глядя на этикетку под картиной. Но самое главное не это, не узнавание автора, — самое главное, всякий, кто увидит на холсте этот тысячу раз хоженный-перехоженный канал, по-новому ощутит его задумчивую гармонию и уже никогда не сможет смотреть на канал прежним, додержавинским, взглядом... Андрей мог все!

— Так давай, Кунья, завтра же распишем! Принесу стремянку, сделаем колпаки на головы, чтобы на волосы не капало!

Стремянка... Зачем-то еще ему нужна была стремянка... Вылетело из головы.

— Что-то ты больно веселый. Выпил без меня, что ли?

— Стандартное у тебя мышление! Почему нужно обязательно выпить, чтобы быть веселым? Веселый и все. Поработал хорошо.

В другой момент Алла обиделась бы на «стандартное мышление», но сейчас от Андрея исходила такая победительная сила, что невозможно было на него обижаться.

— Тогда я тебе еще мяса доложу: восстанавливай силы.

— Положи... Прекрасный доклад о приятности мяса... А давай, Кунник, мы куда-нибудь... Чего все сидим да сидим?

У него не было каких-нибудь определенных намерений: просто он не мог оставаться на месте, нужно было куда-то идти, кого-то видеть.

— Давай. В кои веки что-нибудь увижу, кроме магазина и кухни. А куда?

— Куда... Куда-нибудь! Ну вообще!

— Если тебе все равно, давай пойдём по блоковским

местам. Ты хоть меня всерьез не принимаешь как художницу, у меня тоже есть свои планы. Серия офортов «Петербург Блока». Тем более скоро юбилей.

— «Петербург Блока»... «Петербург Достоевского»... Кого еще не было? «Петербурга Сухова-Кобылина» не было! Он вообще-то москвич, но бывал же, жывал в Демутовом трактире — когда хлопотал о своем процессе. Его юбилея не намечается? И на выставке развешат, а то, глядишь, и издадут под великое имя. Тем более юбилей! Перед юбилеем никто устоять не может!

— Чего ты брюзжишь?

— Того-то брюзжу, что это, как бы сказать — вторично и третично. Блоковский Петербург — это очень просто, это устоялось. А ты попробуй угадать нового великого писателя! Не кончилось же Блоком! Есть же и сейчас. Никто еще не знает, что он великий, а он уже есть. Вот и улови его взгляд, его Ленинград!

— Это надо рисовать где-нибудь в Купчине.

— Конечно, если новый, то в Купчине или на Гражданке! Это из той же серии, что веселье только от выпивки. А центр, что же, так и остался? Невский до сих пор гоголевский? Вот давай пойдем смотреть: Ленинград — э-э...

— Ну кого?

— Откуда я знаю, кого? Давай сами придумаем писателя и будем смотреть его глазами!

— И романы за него напишем?

— Не язвы, Кунья, до такой крайности можно не доходить. Но до романов есть взгляд, есть общее ощущение города. Вот давай и пойдем!

Счастлирое чувство всемогущества, полной раскрепощенности не оставляло Андрея, и оно требовало выхода в движении, в разговорах, во внезапных грандиозных планах. Он не мог ждать и вытащил Аллу в чем была, не дав причесаться и вымыть посуду.

— Ну, значит, куда... Сюда, на канал, мы всегда ус-

пеем бросить свежий взгляд, а пока пусть бродят тени... Сенная нашему великому писателю не должна нравиться: слишком прямоугольная. Ленинградские площади должны быть с закруглением. Или построить что-нибудь закругляющее?

— Это уже получится архитектурный взгляд.

— Обязательно нужно придирайтесь! Ну пусть архитектурный... А писатель, думаешь, списывает только то, что есть, а по-своему изменить не хочет?.. Ну пусть архитектурный. Вот Фонтанка: ну явно же не хватает зелени! Нужно, чтобы дома расступились немного. Вот говорят: охранная зона — весь центр целиком! А что охранять? Начало двадцатого века? Самый пошлый период — все эти дома доходные! Должны это чувствовать герои того нашего писателя? Пожалуйста тебе: Росси хотел замкнуть всю площадь перед Чернышевым мостом, а вышло наполовину. Вот этот бы доходный дом снести и достроить по проекту Росси, чтобы симметрично с типографией Володарского. Представляешь, Кунья, роман... Ну пусть роман про архитектора: как он очищает центр Ленинграда от всей этой купеческой пошлости!.. Слушай, Кунья, вот идея — не дожидаясь романа: «Мой Ленинград!» Мой, а не Блока или Достоевского. Как ты говоришь: сделать серию. Что хочу — оставляю как в натуре, а что хочу — убираю, и на освободившихся местах помещаю то, что я вижу!

— У тебя, Андрофей, идеи сегодня: то поголок расписывать, то весь центр перестраивать.

— Все нужно! Нет, серьезно: почему я должен писать этот дом, если он мне не нравится? Естественное же дело: на его месте написать другой!

— Что нам стоит дом построить: нарисуем — будем жить.

— Само собой. С этого все и начинается: с желания. А знаешь, что такое искусство? Осуществление желаний!

— Нет, все-таки ты, наверное, чего-то выпил. Странно, запаха совсем нет.

Андрей не стал повторяться про стандартное мышление. Вместо этого громко продекламировал, так что какое-то чинное встречное семейство удивленно сделало равнение налево, а нахальный толстый мальчишка покрутил у виска — да плевать на толстых мальчишек:

— «Я царь, я раб, я червь, я бог!»

— Погоди-погоди, что-то знакомое...

— Что-то знакомое! Да Державин же! Пиит! Однофамилец, Кунья, или даже предок. И нечего улыбаться: почему не может быть предок? В каком-то колене все люди родственники. Ну неважно. Так, понимаешь, я с тем Державиным согласен: бог — тоже! Не меньше чем на четверть я — бог! А может, и больше!

— Ой уж! Есть одна мания — специально для таких богов.

Многое можно было сказать на это: про пророка в своем отечестве, про то, что великие люди не из особого теста сделаны, а из той же плоти, только они дерзают, смеют... Но Андрей громко рассмеялся, не заботясь, что подумают прохожие:

— Кунья, знаешь, почему Наполеон не терпел холостых маршалов? Потому что жены не давали маршалам стать императорами. Наполеон знал жен!

Алла все-таки обиделась наконец:

— Нечего тогда было жениться, если ты такой начинанный.

— А я сильнее наполеоновских маршалов!..

На другой день, когда пришла жена Реброва, Андрей снова убедился, что менять в портрете ничего не нужно. Расписался крупно в правом углу — и все.

— Это, значит, я стану такая? — с восхищением и надеждой сказала Реброва.

— Вы уже такая, если как следует посмотреть.

— Ох уж скажете!.. А камни мои пройдут, доктор? И все внутренности?

При первом вопросе Реброва просветлела и на самом деле стала немного больше похожа на свой портрет. Но сразу же засуетилась и опять сделалась такой, как всегда.

— Я не доктор и насчет камней ничего сказать не могу. Я с самого начала вас предупредил.

— Предупредили, все честно, без обману.

Противное лиловое заискивание.

— И на том спасибо, что согласны.

— Согласная я, со всем согласная. Значит, забирать можно?

— Высохнет, и заберете.

— А он не испортится, оттого что высохнет? Я вот апельсины купила — так ведь не съешь их сразу, да мы и не очень, больше гостям да Роберту. Хоть и в холодильнике, а полежали, высохли да так сморщились, что стали с мандарин. И кожу не содрать, только с мясом.

— Думаете, и изображение ваше усохнет? Нет-нет. А потом, через год, может быть, покрою вас лаком. И тогда будете всегда блестящая и новенькая.

— А это не вредно? Вон, говорят, волосам лак вредный.

— Зато картинам — полезный. Он для них... э-э... ну как питательный крем для лица. Знаете: женьшеневый, спермацетовый.

— Ну если как крем... А у вас лак хороший? Кремы я только импортные беру. Даже французские попадают!

— Хороший лак, не сомневайтесь. Где-то у меня испанский был. Или исландский.

— Тогда покрывайте. Можно погуще.

Реброва уходила, недоверчиво вглядываясь: наврное, все же боялась, что ее портрет начнет каким-нибудь непостижимым образом портиться.

Андрей думал, что после ее ухода он сразу начнет новую работу — ведь столько напридумывал вчера! Одна идея ленинградских свободных фантазий чего стоит! Но оказалось, что изнеможение после яростной работы над портретом за ночь не прошло. Напридумывать-то легко, а для работы нужны силы. Так ничего и не смог.

Зато вспомнил, зачем ему понадобилась стремянка: он же когда-то хотел заделать темперой трещину на площадке пятого этажа! И совсем было забыл, да вот вспомнил. Спускаясь вниз, он в который раз осмотрел ее. Края разошлись, и трещина зияла. Но странно: хотел он вызвать прежнее свое чувство — и не смог. Трещина на стене больше не казалась ему воплощением всемирной трещины. Он сделал так мало: заделал трещины всего лишь в двух людях, но и этого оказалось достаточно, чтобы глобальные, но слишком общие рассуждения потеряли остроту. Нужно работать, делать дело — и остывает страсть к резонанству.

Три дня он отходил — просто восхитительно бездельничал, как выздоравливающий, радующийся возвращающимся телесным способностям. Валялся на диване, смотрел все подряд по телевизору, читал.

Между прочим, прочитал статью в «Литературке» и там же вопросы для самообследования вроде: «Думаете ли вы во время отдыха о своей работе?» — из чего узнал, что он — *работоман*. Автор утверждал, что это плохо, что это чуть ли не болезнь, что нельзя слишком уходить в работу, что многие разучились отдыхать, радоваться жизни — ну и все такое. Андрей никогда об этом не задумывался, а вот после статьи примерил к себе: и точно, хорошо отдыхать он не умеет, радоваться жизни вне работы — тоже. Вот только он не был согласен, что это плохо. Как у Маяковского: «Я поэт, этим и интересен». Вот и Андрей интересен только тем, что художник, и не только другим, но даже и самому себе. Все впечатления жизни радуют только потому, что мо-

гут перенестись на холст. Чудо природы? На холст! Женская красота? На холст! Страшно сказать вслух, но писать женскую натуру — куда большее удовольствие, чем целоваться с натурщицей.

Парадокс в том, что эти мысли пришли как раз во время редкого для Андрея безделья. Алла даже забеспокоилась:

— Что с тобой, Андрюшка? Ты не заболел?

Алла, конечно, беспокоилась искренне: вдруг и правда заболел? Но проскальзывало и удовлетворение: наконец-то муж не работает, не парит в возвышенных творческих сферах — запойная его работа ей всегда как бы молчаливый упрек.

Андрей не успел ей ответить: по случаю воскресенья явилась теща Анна Филипповна, привела Ваньку в гости к родителям.

— Вот вдруг улегся,— не то пожаловалась, не то похвасталась Алла.

— Значит, природа требует,— ничуть не удивилась Анна Филипповна. Она уже начала приобщаться к тому приятию жизни, выражающемуся в торжественном произнесении поколениями проверенных афоризмов, которое принято называть старческой мудростью.— Природа всегда знает, чего человеку нужно. А я еще помню Матвея Егоровича, Пашиного отца. (Павел Матвеевич — тесть). Он если не то что заболеть, а не в себе, велел всегда кровь отворять. Когда-то цирюльнички при банях занимались, от них и научился. Отворят ему кровь, натечет миска — черная аж, а не красная, как ей положено, и дымится. Она и есть дурная кровь — черная. А Паша отворять не отворяет, боится, а пиявки за уши любит.

Андрей поскорей вскочил от таких разговоров.

Ванька как пришел, сразу уселся разглядывать толстенный альбом «Подмосковные дворцы-усадыбы», подаренный когда-то Алле ко дню рождения. Дарил какой-

то давний воздыхатель, о чем она любила помянуть в тщетной надежде расшевелить ревность мужа,— Андрей только улыбался и хвалил качество цветных снимков.

Сын поднял голову и спросил чистейшим дискантом:
— Это классицизм, да, папа?

Может быть, оттого, что жил Ванька почти с самого рождения не с ними, но не испытывал Андрей к нему тысячу раз описанных и прославленных родительских чувств. Каждый раз приходилось убеждать себя: это родной сын, его нужно любить — и вроде удавалось такое самовнушение, и начинало казаться, что любит... А еще мешала родительским чувствам до нереальности фольклорная внешность юного Ивана Андреевича. Вот сегодня привела теща: русская рубашка с вышитыми петухами и круглым воротом, да подпоясана красным лаковым ремешком, да сапожки тоже красные — в августе при двадцати градусах! И глаза-то синие-пресиние, и волосики того почти белого цвета в серебро, который теща умиленно называет льняным! Лубочная картинка, а не пацан! Не на улицу ему, а на эстраду — с детской группой Северного хора. Ну, он не виноват, положим, — чего он понимает в семь лет? (Это тесть Павел Матвеевич сейчас ударился в сермягу: и видом стал, как оперный Сусанин, и пишет все каких-то старцев. Сейчас у него в мастерской полотно к куликовской годовщине, так Сергия Радонежского он написал с себя, при Сергии изобразил в виде какого-то послушника Ваньку, да еще уговаривал Андрея, несмотря на неприличную для князя худобу, позировать для Дмитрия — еле отбойрился. Стыдуха!) Но нет, все понимает Иван Андреевич, прекрасно понимает — идет и знает, что на него оглядываются да умиляются. А провести мимо «Астории» — сразу налипнут иностранцы с фотоаппаратами. Еще как понимает!

— Так это классицизм, папа?

— Да-да, конечно.

— Не можешь сразу ответить, когда ребенок спрашивает. И ведь не видел неделю! Отец называется,— сказала Алла.

А она мать называется: отдала с рождения. Можно было сказать, но Андрей промолчал.

Анна Филипповна заторопилась похвастаться, ну и отчасти чтобы сгладить неловкость:

— Он сейчас добрался до «Всемирной истории искусств». У Паши на самой верхней полке, так он подставляет стул и сам достает. И все схватывает! Спросите у него годы жизни кого хотите. Ванечка, когда родился Микеланджело?

— Шестого марта тысяча четыреста семьдесят пятого года,— не отрываясь от альбома, как нечто само собой разумеющееся сообщил Ванька.

— Не могу проверить, потому что не помню,— развел руками Андрей.

— А чего тут проверять,— удивился Ванька.— Все точно... Папа, в Царицыне от Баженова ничего не сохранилось, да?

Нет, он вовсе не хотел посадить отца в галошу, он искренне интересовался.

— Пойдем-ка, Ванька, лучше гулять.

Если начнет спрашивать про ленинградскую архитектуру, тут-то хоть Андрей не осрамится.

— Он уже нагулялся,— сообщила Анна Филипповна.— Мы от самого дома до вас пешком. Мне тоже мочион полезен. Говорят, нужно не меньше десяти тысяч шагов в день.

— Ничего, если он сделает пятнадцать. Только вот что: как бы он не запачкал эту роскошную рубашку. Куник, дай ему какую-нибудь ковбойку.

— Откуда я возьму?

— Что же, у нас и одежды никакой для ребенка нет? Действительно, в гости пришел. К дальним родственникам!

— Есть у вас, Аллочка, есть,— заторопилась примиряющая теща.— Я когда-то приносила. Помнишь, ездили в Павловск, и на случай дождя — переодеть.

— Ах да,— неохотно вспомнила Алла.— Где-то есть.

После четверти часа поисков (ну, может, и пяти минут на самом деле, но для Андрея как четверть часа, если не дольше) нашлась розовая рубашка — ну хоть без петухов. Ванька переделался покорно, но без энтузиазма.

— Куда пойдём?— преувеличенно бодро спросил Андрей, беря сына за руку.

— Куда хочешь,— с обидным равнодушием ответил сын.

Они молча пошли по тротуару.

— Пойдем лучше у воды,— сказал метров через двести Ванька.

Здесь вдоль решетки канала для пешеходов оставлена совсем узкая дорожка, и идти держась за руки нельзя. Сын шел впереди, Андрей следом. Он смотрел на воду, на которой попадались уже первые желтые листья, и начал забывать, что идет не один.

— Папа, это плесень, да?

— Где?— Андрей не сразу понял.

— Да вот!

По воде плавали плети водорослей. Андрею сделалось грустно: это так хорошо — плети водорослей на сонной воде, а для Ваньки — плесень.

Но Андрей тут же укорил себя за нелюбовь к сыну и спросил заботливо, как только мог:

— Ты не устаешь много читать?

— Нет, я делаю упражнения для глаз.

О чем еще разговаривать с сыном? И снова в приливе искусственно возбужденной родительской любви:

— А без нас не скучаешь?

— Мне некогда скучать: я ведь с сентября пойду сразу в четвертый класс. Меня директор проэкзаменовал и разрешил. Но надо кое-что дочитать по программе.

— А что с большими ребятами вместе — ничего?

— Там не сидят на уроках. Это экспериментальная школа педагогических наук. Каждый консультируется у учителей и сдает зачеты. Все учатся в своей скорости, и слабые не тормозят сильных.

Да, теща что-то говорила. Но не так четко, как сейчас все объяснил Ванька.

Надо было бы гордиться сыном. Но Андрей гордился не слишком: пока виден только феномен памяти. Лучше бы Ванька какую-нибудь небывалую музыку наигрывал или рисовал что-нибудь необыкновенное, а то даты жизни Микеланджело выдает, как машина.

Они свернули с канала и вышли на Сенную. Тут Андрей сделал еще одну попытку сближения, довольно подхалимскую, надо признать:

— Мороженого хочешь?

— Нет, мне доктор сказал, что нельзя: у меня слабые железы.

Так и погуляли.

Ну а на другой день Андрей наконец ощутил в себе обычные силы, снова смог работать — и все остальное потеряло значение.

3

Выставка Андрея Державина в Летнем саду имела скромный, но прочный успех — без давки, свободно проходило в день человек по триста, и записи в книге делались самые доброжелательные. Провисев месяц, она должна была уже закрываться, но в предпоследний день произошел «посетительский взрыв», как выразился потом Витька Зимин.

Андрей с утра ничего и не знал — около двенадцати ему позвонили из сада.

— Товарищ Державин? Тут из-за вашей выставки что-то ненормальное! Такая толпа, что мешает гуляю-

щим! И плановые экскурсанты, которые во дворце Петра, начинают сомневаться, говорят: «Почему вы нас ведете туда, где пусто, а не туда, где народ?» Приезжайте скорей! Прямо безобразие!

— А что я могу сделать?

— Ну не знаю. Но так же тоже нельзя: устроили очередь чуть не до ворот. Мы когда на вас соглашались, думали, будет нормальная спокойная выставка.

— Может, потому что суббота?

— Ну и что, что суббота? Уже бывали и субботы, и воскресенья — и никакого беспорядка. А сегодня — буд-то ковры продают! Вы уж, пожалуйста, приезжайте!

Андрей повесил трубку. Из последней реплики он заключил, что очередь за коврами звонившая дама считала бы правомерной и, возможно, присоединилась бы к ней сама.

Андрей, конечно, пошел. Не для того, чтобы наводить порядок, а чтобы посмотреть на людей, которые, если верить звонку, выстроились в многочасовую очередь, чтобы увидеть его работы! Алле ничего не сказал: вдруг просто розыгрыш? Будет тогда много лет поминать да смеяться. Но сам поверил свято: для того он и работает, чтобы людям необходимо было видеть его работы. Именно необходимо!

И действительно, по боковой аллее вдоль Фонтанки тянулась толстая очередь, скорее нечто среднее между очередью и толпой. Андрей, естественно, сразу возгордился, и раздражение, которое вызвала своими репликами звонившая из сада дама, прошло: на самом деле эта черная очередь-толпа — а она все же была черной, хотя достаточно было в нее вкраплено и красных пальто, и зеленых, — выглядела в саду явно инородной. Желтеющий осенний сад с мокрыми после ночного дождя дорожками, которые не успело высушить сентябрьское солнце, располагал к тихим уединенным прогулкам, а тут эта очередь, слишком устремленная к своей

цели, чтобы замечать прозрачность воздуха, графичность кленовых листьев на дорожке. Сам сад был роскошной картиной в стиле Пуссена — объемной, заключенной в раму четырьмя реками, — и он ревновал к тем, другим, маленьким картинам, которые он гостеприимно принял, надеясь на их скромное поведение, а они, расположившись и освоившись, нахально завладели законно принадлежащим ему людским вниманием.

С обычным смешанным родительским чувством — и смущаясь за свои работы, и гордясь ими, хотя обстоятельства больше располагали к гордости, — Андрей подошел к окончанию очереди, где клубилась небольшая толпа и невозможно было угадать, кто последний. Пока Андрей раздумывал, заговорить ли первым или молча пристать к очереди и прислушаться к разговорам, подошли две женщины, закутанные в шали, от которых их и без того слишком полные фигуры казались вовсе бесформенными.

— За чем стоите? — спросила одна, обращаясь ко всем близстоящим сразу.

— За копченой колбасой, — с чувством превосходства ответил молодой человек с мефистофельской бородкой и, довольный собой, оглянулся на стоящих рядом. Андрея чуть не обожгло полыхнувшим вслед за этими словами малиновым языком тщеславия.

И сделалось неприятно, даже стыдно, что вот такой неумный молодой человек очень хочет смотреть его работы, и если вся очередь состоит из таких, как он, то гордиться Андрею вовсе нечем.

— Какой образованный! — сказала женщина в шали. — Уж такие мы темные, что не знаем, где колбасу дают. К нему как к человеку...

— Эта очередь на художественную выставку. Смотреть картины, — излишне стараясь быть вежливой, а потому тоже снисходительно объяснила стоявшая рядом с козлобородым молодым человеком девушка.

Женщины в шаялях молча отошли.

— Смотреть картины им неинтересно, — довольно громко сказал козлобородый молодой человек.

— Вечно ты, Вадик, набиваешься! — со сварливым восхищением сказала девушка. — Ну зачем с такими связываться?

— Им и правда смотреть картины неинтересно. Не затем они приехали в наш великий город.

Андрей хотел было представиться и объяснить, что предпочел бы этих двух зрительниц целой очереди таких козлобородых, но сдержался: если раскрыть инкогнито, то не узнаешь истинных причин столь внезапной популярности (*эпидемической* популярности, нашелся эпитет). А быть узанным он не опасался: свои братья художники, конечно, в очереди не стоят.

Единственно, чем Андрей выразил свою неприязнь к козлобородому Вадик, обратился с вопросом не к нему, излучавшему агрессивную общительность, а к стоявшему рядом средних лет мужчине с нездоровыми отеками под глазами.

— Простите, пожалуйста, здесь все на выставку Державина?

— Да.

Мужчина не был склонен к многословию.

— Но еще вчера можно было зайти свободно. Почему сегодня такая сенсация?

Мужчине явно были неприятны назойливые распросы:

— Не знаю. Говорят, интересный художник.

Зато охотно встрял мефистофель-Вадик:

— И что же, вчера вы воспользовались случаем, когда можно было зайти свободно?

— Воспользовался.

— Тогда вам повезло. И что же там?

— Полярные пейзажи: льды, острова, северные сияния.

— Ну это внешнее описание, литература. А вы ощутили воздействие?

— Какое воздействие?— Андрей искренне не понял.

— Тогда вы напрасно потратили время, могли и не заходить, хоть и свободно. Суть в том, чтобы ощутить воздействие. Подвергнуться, так сказать, от картин облучению.

— Не понимаю. То есть всякое искусство, конечно, воздействует...

— Нет, тут настоящее воздействие: вроде гипноза или телепатии — только мощнее. Ну есть же люди, которые обладают особой силой. Исходит из пальцев чаще всего, ну и из глаз. А тут через картины.

Значит, поползли слухи от Ребровых. По принципу испорченного телефона, но поползли. То есть помчались, а не поползли! Андрею не захотелось расспрашивать подробнее, как козлобородый Вадик и все остальные представляют себе механизм воздействия, а то такого наслушаешься! (Бедняга этот отечный мужик — неужели пришел исцеляться?!) Андрей повернулся и отошел. Вдогонку донесся комментарий:

— Имеют уши, да не слышат, имеют глаза, да не видят.

Ну вот и слава. Всякий художник хочет, чтобы его работы знали — нет, больше: чтобы видеть его работы стало потребностью, первой потребностью, как хлеб и вода! — а значит, всякий художник стремится к славе. И разумеется, Андрей был счастлив при зрелище этой громадной очереди на свою выставку; потому что всякое скопление людей обладает особым свойством: при взгляде на него как бы отвлекаешься от мысли о составляющих его отдельных людях; и пусть Андрею был неприятен мефистофель-Вадик — соединившись чуть не в тысячную очередь, такие *вадики* символизировали признание и потому радовали, радовали несмотря ни на что, а мелькнувшая в приступе раздражения мысль, что про-

менял бы всю эту очередь на тех двух женщин в шляхах,— она мелькнула и канула... Да и не из одних *вадиков* очередь, не может быть из одних! И все же был в этой внезапно обретенной славе и оттенок тревожащий: смутное пока предчувствие, что отныне он, Андрей Державин, не только себе принадлежит, но и этой очереди... Если *не только* себе — ладно, а что если *не столько* себе?!

Андрей вышел на Неву и пошел по набережной. У Эрмитажа тоже стояла очередь, но куда меньше, чем у Кофейного домика. Ну что ж, так и должно быть: новое обязано быть интереснее, потому что кому нужно новое, если оно хуже старого? Андрей вспомнил терзания Витькиного приятеля, того реставратора — Пашин... нет, Никиты Панича. Да, это как болезнь. Только телесную болезнь есть шансы вылечить, а такую?

Около Адмиралтейства Андрей остановился, удрученный, как всегда, унылым рядом домов, заполняющих пространство между двумя боковыми крыльями, которые как тянущиеся к реке руки. И тут же понял: вот она, главная картина его «Ленинградских фантазий». Она сразу раскроет зрителю прием, введет его в предлагаемый условный мир. Убрать эту бездарную застройку, освободить Адмиралтейство, развернуть его вдоль Невы! Писать с точки на том берегу, причем лучше сверху — с башни Кунсткамеры,— и зазвучит торжествующая музыка грандиозного фасада!

Сейчас же начать, немедленно! Андрей заспешил домой, равнодушно проходя мимо Медного всадника, мимо Сената и Синода, мимо Исаакия — он видел только раскрывшееся Адмиралтейство и был слеп для других красот. А очередь в Летнем саду как-то сама собой почти забылась, то есть, вернее, отошла на периферию сознания как нечто малозначашее: ведь это была очередь ко вчерашним работам, а весь интерес жизни сосредоточился в завтрашних. Поэтому даже не пришло

в голову рассказать о событии — или происшествии? — в Летнем саду Алле, и когда она спросила с упреком, но и не без замаскированного злорадства (он зашел в квартиру оставить плащ): «Чего это ты разгуливаешь, а не работаешь?» — Андрей стал ей с жаром объяснять, как видит раскрытое Адмиралтейство, и что освещение нужно обязательно утреннее, только-только восход, чтобы пустить по Неве белую «Ракету», а она — от лучей солнца — розовая...

И скучно было услышать в ответ сугубо практичное:

— Думаешь, выставкому понравится? Скажут, что не реализм.

Андрей не смог ничего сказать на это — махнул рукой и убежал навстречу, в мастерскую.

Ну а очередь о себе напомнила в тот же вечер. Зашел Витька Зимин.

— Старик! Про тебя ходят легенды! Слепые от тебя прозревают, а немые вопиют! Два портрета в день и за каждый по тысяче! И то по большому благу. Короче, я к тебе, как Паниковский к Корейко: «Дай миллион! Дай миллион!»

— Уже и немые вопиют?

Хотел ответить насмешливо, а прозвучало скорей сердито.

Начать с того, что Андрей не любил этого дурацкого обращения: «Старик!» А еще хуже то, что он ясно видел: Витька, хоть и паясничает, все же и верит отчасти в эти тысячные гонорары — и восхищают его прежде всего именно гонорары, а не удивительные свойства портретов. Действительные эти свойства или мнимые, Витька не знал, конечно, но мог начать с того, чтобы поинтересоваться — в этом же суть, а не в гонорарах. И впервые Андрей беспощадно разглядел в друге то, чего не замечал раньше, то есть если и замечал что-то невольно, то старался отстранять от себя, не определять

четко: что Витька суетлив, пишет часто не от внутренней потребности, а от моды — потому и мазок слишком широк, и рисунок нарочито коряв; и не просто любит деньги (презирать деньги — ханжество, да и сами деньги ни в чем не виноваты, виноваты всегда бывают люди, в чьих руках деньги), но часто делает за деньги работу, которой сам стыдится, что всегда определялось словом *продажность*; и романы его не от бурного темперамента, но из тщеславного желанья прослыть донжуаном... Видел Андрей и то, что к нему-то Витька относится с самой искренней дружбой — но уравновесивало ли это все остальное?

— Вопиют, старик, вопиют! Слушай, если ты это для рекламы пустил, то гениальный ход! Пока разберутся, успеешь намолотить!

С чувством двойного превосходства Андрей посмотрел на приятеля: и оттого, что на самом деле обладал способностью наделять портреты странной силой (поскольку он не имел ни малейшего понятия о природе этой своей способности и, кажется, ничего не сделал для того, чтобы ее в себе развить, самым правильным было бы обозначать ее словом *дар*), и оттого, что решительно не мог даже вообразить шарлатанский трюк с рекламой. Нужно особое устройство мозгов, чтобы такое придумать, но лучше не иметь такого устройства.

— А хочешь, тебя напишу? Сам и испытаешь.

— Ну, у меня и денег таких нет.

— Что ты! Какие деньги с друга.

— Брось, кому голову морочишь. Написать-то напишешь, но насчет этих свойств...

— Я же ничего не утверждаю про свойства. Говорю: испытаешь сам.

— Правда, сейчас и наука интересуется. Академики. Фотографии видал: руки, и вокруг как сияние?

Алла только глаза переводила в изумлении: с мужа на Витьку, с Витьки на мужа. Наконец не выдержала: — Что вы какую-то ересь несете? «Реклама», «свойства»!

— Алена! Ты-то почему не в соболях? Почему передник не из парчи и бархата? Во жмот: все в кубышку, ничего родной жене! Да еще и скрывает. Небось трех любовниц завел!

Все так шутят: про вино и женщин. Но все равно Андрею было неприятно. И скучно от этого крупноблочного остроумия.

— Жена всегда узнает последней.

Алла с удовольствием подыгрывала Витьке. Как говорят актеры, подавала реплики. Женщины вообще всегда подыгрывают таким вот шумным острякам — они, как дети и дикари, любят все блестящее и цветное: хоть стеклянные бусы, хоть пустые слова.

Хотя и Алла права по-своему, если обиделась: давно нужно было ей рассказать. И с радостью рассказал бы, если бы не боялся услышать в ответ что-нибудь вроде: «И ты поверил этим Ребровым? Они скорей всего просто не в себе. А счастливые номера от «Спортлото» твои портреты не нашептывают? Нет, но самое интересное, что ты охотно поверил! А шаманов у тебя в роду не было?» Очень бы даже могла.

И сейчас, когда уж и деваться некуда, очень трудно ему было все рассказать Алле. Тем более при Витьке. Да если бы и без Витьки... Одно дело — знать про себя, и совсем другое — рассказать четкими словами. В молчаливом знании все возможно, а в произнесенных словах — сразу полная невероятность... Но что за жена, говоря с которой нужно тщательно обдумывать каждое слово, будто выступаешь на дипломатическом обеде! А расслабишься — и сразу получишь удар в незащищенное место. Как тогда, по поводу дурацкой статьи Д. Ващенко-Вой.

А что если... Ведь существует идеальный образ Аллы. Тот образ, который виделся Андрею, когда он собирался жениться, и ясно помнится до сих пор. Прекрасный в самом полном смысле слова! Так что, если написать портрет Аллы?!

Мысль была захватывающая, и Андрей совершенно забыл, что собрался рассказать Алле о самих портретах и о слухах вокруг портретов.

— Эй, Андрюшка, ты что?! Смотрит куда-то за горизонт, ничего не видит! С тобой не припадок?

— Просто задумался, извини.

— Чудачества гения, — объяснил Витька Зимин. — Не обращай внимания, Алена.

— Ну так что за такие свойства?

— Не знаю. Говорят, что модели постепенно становятся похожими на портреты, которые с них написаны.

— Это значит, что вначале они непохожи! Слушай, это же выход, — радовался Витька, — сходства не поймал — виноват теперь не художник. Пусть модель поднапряжется и постарается стать похожей!

— Подожди ты, — Алла вычурным актерским движением поднесла пальцы к вискам, — подожди, не шуми, я хочу понять. «Говорят!» Кто говорит?

— Они сами и говорят. Модели. Помнишь, мне Витька одного сосватал? С него и началось.

— Значит, все-таки без Витьки никуда! Но ты устроился, старик. По принципу: Магомет не идет к горе, так сама гора топает к Магомету. Короче: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Перевод портретируемых на самообслуживание — новый прогрессивный метод.

— Обожди. И они в это поверили?

— Не только они, Алена, уже весь город верит. Один я еще пока сомневаюсь. Но колеблюсь. Ты лучше мне признайся, как другу дома: ложки от его взглядов не двигаются?

— Ложки так двигаются, что едва успеваю готовить. И вилки тоже.

Вот так. Не захотела по-настоящему понять. Конечно, Витька мешает со своим шумом, но все равно: не захотела. Если бы услышала, что где-то на Камчатке один неграмотный самородок... или в джунглях Индии — тогда бы и разговоров, и интереса! А раз здесь, рядом, раз собственный муж — не захотела.

Пора было как-то оборвать этот нелепый разговор. — Ну, я пошел.

Алла сразу обиделась. Она всегда обижалась, когда Андрей уходил вот так, внезапно, ее не предупредив: она считала, что должна знать все его планы заранее, «быть в курсе его жизни», как она говорила.

— Куда это ты?

Надо было соврать без заминки, чтобы получилось правдоподобно. А Андрей не очень умел сразу, без подготовки, врать.

— Да так, дело одно.

Он уже злился и на то, что она расспрашивает, точно не свободен идти куда захочет, и на то, что не умеет врать легко и элегантно.

— Пусть идет! — закричал Витька. — Останемся в тет-а-тете, Алешенька!

— А что толку? Мой муженек с кем хочешь меня оставляет, так что и неинтересно.

Это точно: Андрей так же органически не понимал, что такое ревность, как дальтоник не понимает разницы между красным и зеленым. Впрочем, Андрей не считал это недостатком, зато Алла считала.

Сбежал Андрей от неприятного разговора. Сам так думал. Но уже на лестнице понял, что истинной причиной было нетерпение: работать нужно, а не болтать! И он пошел наверх, в мастерскую.

Трещина за то время, что он не обращал на нее внимания, словно бы зачихала: облупились края, какие-то

жуки в ней завелись или тараканы — ей тоже скучно быть в небрежении. Ну и бог с ней — нет времени на праздные фантазии.

Он отпер дверь мастерской, шагнул в темноту, нащупал пробки — и с глубоким удовлетворением почувствовал себя дома, как никогда не чувствовал себя в квартире двумя этажами ниже. Его картины глядели на него со стен, они были продолжением его самого, так что получалось — он сам себя окружал: наверное, так же относится моллюск к своей раковине, если он способен хоть-нибудь ощущать. И, может быть, впервые в жизни Андрей отчетливо понял, до чего же он счастливый человек: у него есть своя мастерская, продолжение его самого, у него есть работа, которая хорошо получается, и делает он только то, к чему его влечет властная внутренняя потребность, за всю жизнь он не сделал ни одного мазка не по убеждению — что же еще человеку надо?! Все остальное — пустяки.

Чтобы писать Аллу, ему не нужно было усаживать ее перед собой. Он видел ее абсолютно отчетливо: до каждой родинки, до каждой ресницы, до тени от каждой ресницы — и видел сразу в двух образах, в двух воплощениях: теперешнюю, со всеми разочарованиями в себе, в нем, в самой возможности счастья; и ту, идеальную, которая мерещилась ему в первые месяцы знакомства, да не только мерещившуюся, но и существовавшую: в первой страсти, в первых выставках, полную ожиданий и надежд.

Странно, что он был совершенно уверен в своем да-ре, а ведь доказательство у него было только одно: перерождение, случившееся с Ребровым. Или лучше сказать: возрождение Реброва. Повторился ли эффект с женой Реброва, Андрей еще не знал, но почему-то не сомневался, что повторился. И если он приступал к портрету Ребровой, боясь, что внезапно обнаружившийся в нем дар так же внезапно исчезнет, то сейчас он не

то чтобы верил, нет — твердо знал, что этот останется в нем навсегда. Дар стирания случайных черт.

Но работалось все-таки трудно. Словно сам холст сопротивлялся, тормозил движение кисти. Но трудность только увеличивала азарт, ибо доставляла радость преодоления: такую же радость переживает стайер, терпящий на дистанции боль, когда кажется, что вдыхаешь раскаленный воздух, сжигающий легкие,— боль и радость от боли, радость победы над собственной слабостью, радость от сознания, что немногие могут перенести то же, и вдвойне оттого, что ты обгоняешь этих немногих и приходишь первым. Если бы работалось легко, не было бы и радости от работы. Но самый холст, кажется, сегодня сопротивлялся, доставляя Андрею счастье изнеможения.

Где-то около полуночи он остановился. Всю руку опять немного покалывало. Мельчайшие пузырьки ударили в стенки сосудов острее, чем в прошлый раз, и оттого отчетливее была иллюзия, что в руке течет откупоренное ледяное шампанское.

— Ну и где ты пропал?— встретила Алла.

Не ложилась. Ждала.

Врать не хотелось. И не умелось.

— Работал.

— Какой труженик! Укор всем нам, бездельникам.

Неужели ждала, чтобы сказать эти мелкие слова? Нужно было бы ответить веселой глупостью в стиле Витьки Зимины, но Андрей не сумел.

— Почему укор? Если бы ты не спросила, я бы и не сказал ничего про работу. Ну, считай, что пил в подворотне,— так тебе приятнее?

— Потому укор, что ты сделал из работы свою привилегию! Ты избранник, ты творишь для вечности, а мы все никчемные бездельники!

— Никогда я такого не говорил!

— Еще бы говорил! Но ты всем своим видом демонстрируешь.

«Ничего,— думал Андрей,— только бы продержаться! Еще немного продержаться! А там будет готов портрет. И сотрутся случайные черты».

А пока сказал:

— Но это же хорошо, если у меня такой красноречивый вид! Напиши меня и назови: «Зазнавшийся» или «Домашний тиран»!

— Да ну тебя.— Алла не хотела, а улыбнулась.— Господи, ну о чем мы? Давай есть пирог!

— Пирог?

— Ну да! Весь вечер пекла, как дура, после, когда Витька ушел. Мне же позвонил папа, рассказал про Летний сад. Он поздравляет, а я ничего не понимаю. Это же свинство, Андрюфей, ничего не рассказать!

— Свинство,— подтвердил он радостно.

— Я стою, ушами хлопаю. Ну тогда он рассказал. Ты-то понимаешь, что это значит?! Ты теперь!.. Ты теперь!..

— Да уж я теперь!.. Ну давай есть пирог, Кунья.

— Вст и наговорила. Такое случилось, а он молчит! Надо было не говорить, а ногтями по носу! Вот так!.. Вот так!..

И они стали почти такими же, как в первые свои месяцы.

А на другой день с утра у двери мастерской позвонила женщина, будто сошедшая с портрета Ребровой.

Андрей ничуть не удивился. Он же знал, что так и будет.

— Здравствуйте. Вы меня узнаете?

— Конечно. Заходите.

У нее и движения стали свободнее, естественнее — будто в молодости занималась гимнастикой.

— Ой, доктор, такое вам спасибо!

— Да не доктор же я!

— Конечно, но все равно. Раз вылечили. Камни-то у меня совсем прошли!

Все начинают с камней или гастритов!

— Рад за вас. Ну а вообще-то, живете как?

— И вообще все по-хорошему. Да ведь, когда здоровье хорошее, тогда и вокруг все хорошим кажется.

Тоже объяснение.

— А муж ваш как?

— Ой, прямо зазнался. Такой стал! Читали, может, в газете про одного механика, который дома музей устроил? Там у него граммофоны, пишущие машинки старые. И называется: «Квартира петербургского мастерового». И мой решил туда же. Первый аппарат, которым в кино звук записывали, уже исправил, а теперь отыскал где-то довоенный телевизор. Говорит: «Устрою квартиру первого радиолюбителя, тоже и про меня в газетах напишут!» До того ему хочется в газеты! Как-то старые полярники к нему ходят, бывшие летчики — такой все народ!

— Значит, хорошо все. Привет ему передавайте.

— Ой, он уж вам так кланялся! Если что нужно починить — приемник, телевизор, — хоть ночью будите!

— Ладно, учту, спасибо.

— А у меня к вам опять просьба, доктор.

— Да не доктор же я!

— Я понимаю. Но раз помогаете. Сестра у меня двоюродная — так страдает! Сорока еще нет, а боли в сердце — ни шагу без валидола! Она как узнала — надежда у нее в жизни появилась. А то ведь где ни лечилась...

Узнала, надежда появилась... Жалко, конечно, женщину. Но сколько их на свете — страждущих! Да в одном Ленинграде. И если хотя бы те, что стояли в очереди в Летнем саду, узнают адрес мастерской, — жутко вообразить! Нет-нет, он не доктор! Ни в коем случае не разрешать называть себя доктором!

— Я сейчас пишу один портрет. А сразу два не могу. Так что не знаю. Может быть, если смогу. Я сам дам вам знать. Только огромная просьба: никому больше не рассказывайте и адрес мой не говорите.

— Я понимаю, доктор, конечно.

— Да перестаньте! Поймите, я художник и больше ничего!

— Раз художник, то уже не ничего. Но я понимаю. Я бы и не хотела говорить, так ведь и не скроешь: знакомые смотрят на нас с мужем, видят, спрашивают.

— Скажите, на курорте были.

— Таких курортов не бывает. Если бы такой боржом или нарзан, чтобы попить — и вот так, как с нами, то знаете, что бы стало?

— Вот я и боюсь, чтобы здесь такого не было.

— Я понимаю. Так, значит, сестре надеяться?

— Конечно, пусть надеется. Вот освобожусь, отдохну немного.

Реброва уже совсем было вышла, но приостановилась в дверях.

— Эх, доктор...

— Да не доктор!

— Эх, художественный вы доктор! Раньше бы меня срисовали! Я бы, может, в кино!.. Или отхватила бы себе — не моему Реброву чета... Хотя, может, и сейчас... Нет, поздно, наверно.

И пошла, излучая благодарности, словно закутанная в серебристый плащ. Но серебристое поле вдруг вспарывали алые молнии — следы внезапных страстей... Андрей подумал, что эффекты от его портретов все же не так однозначны, как ему показалось, и что вылечивать колиты и камни легче, чем души, потому что души человеческие попадают в таких фантастических очертаний, что формы их и свойства ни в каком учебнике не опишешь... Да ладно, надо работать.

Андрей, поднимаясь в мастерскую, немного опасался:

чего он вчера понаписал при вечернем свете? Но оказалось, не испортил: отношения взял верные, можно было продолжать. И опять он чувствовал то же сопротивление, опять так же трудно шла кисть, а когда наконец изнемог и прервался, опять появилось чувство, что в правой руке кровь газированная. И даже небывалая слабость в пальцах. Но зато портрет получался! Уже видно было, что получался! Хотя и двигался гораздо медленнее, чем предыдущие. Из-за сопротивления, надо понимать.

Андрей сидел перед портретом Аллы — расслабленный, в приятном изнеможении — и думал о том, сколько благодеяний он сможет сделать. Должен сделать! Вылеченные недуги — это всего лишь побочный продукт, главное — исправление характеров, духовное очищение. Ведь это вопрос вопросов — духовное очищение! Избавлять отдельных людей от жадности, от страха, от ненависти — это значит уменьшать общий уровень жадности, страха и ненависти во всем человечестве. Ну, один он может мало. Но если со временем удастся раскрыть секрет, научить других — и если возмущаются все художники, вообще все искусство, тогда постепенно сомкнется и зарастет прошедшая через мир трещина. Сомкнется ли, зарастет ли? По крайней мере, Андрей сейчас в это верил. «Я царь, я раб, я червь, я бог!»

А внизу, в квартире, суетилась необычайно воодушевленная Алла.

— А у нас гость! Вот, ты-то никогда не подаришь! — И она подняла, как спортивный кубок, обильный букет гладиолусов, уже водруженный в довольно-таки нелепую деревянную вазу — трофей тестя, добытый где-то под Холмогорами. Цветам было тесно, они мешали друг другу, приминали лепестки. Андрей такие букеты называл венниками.

В комнате сидел Никита Панич.

При появлении Андрея Панич вскочил, стал суетливо

здороваться, одновременно правую руку протягивая, а левой доставая из кармана плоскую бутылку коньяка.

— Значит, каждому свое,—довольно-таки неприветливо сказал Андрей,—женщине цветы, мужчине коньяк.

— Да вы уж... Ну как же... Не с пустыми же руками...

Он весь был какой-то жалкий: мерцающий, бледно-зеленый. И пришел не просто вручить цветы и коньяк, не просто приятно провести время — пришел с целью, с просьбой. Деньги, что ли, занимать? Неужели и до него дошли легенды о невероятных заработках Андрея?

— Садитесь. — Андрей не знал, о чем говорить с гостем. Подумал и спросил с некоторой натугой: — Как ваша работа? Что-нибудь интересное реставрируете?

— У нас всегда интересное, — сказал Панич, но почему-то без воодушевления. — Сейчас идет мебель из Юсуповского дворца, фарфоровый гарнитур — слышали? Многие, кто видел, думают, что и правда весь из фарфора, сеть страшно, а он на самом деле внутри деревянный.

— Я не видел никогда, к сожалению.

Андрей и в самом деле почувствовал внезапное сожаление, хотя минуту назад не думал ни о каких дворцовых гарнитурах. А надо все увидеть, всему удивиться — хотя бы сначала здесь, в Ленинграде.

— Увидите. Вот закончим, — все так же вяло пообещал Панич.

Больше Андрей не знал, о чем спрашивать. Затянулась пауза. Зашла бы Алла. Но она творила на кухне гостевой вариант обеда. Как сказал однажды Витька Зимин: «Жратва в экспортном исполнении».

Видно было, что Панич собирается с силами: сейчас выскажет свою просьбу. И ведь не поверит, что никаких тысяч Андрей не загребает, подумает, что жадничает. Ну и пусть думает.

— Вы знаете, мне рассказал Зимин... Он-то сам не знает: верить или не верить? А я сразу!.. У меня идея— может, помните, я говорил, что не могу представить себе новый стиль. Это меня все время мучает: все только повторитель да имитатор — тень мастеров прошлого. И вдруг идея: что если не золотить, а под платину — представляете?! Сразу другое восприятие материала! И можно другие мотивы разрабатывать. Брезжит что-то географическое: очертания материков и одновременно силуэты каких-то животных — дельфина в океане или тигра на фоне треугольника Индии. Все пока только брезжит, но я чувствую, в платиновом стиле это будет возможно, не покажется смешным! Свое, а не повторение!.. Так вот у меня к вам огромная просьба: напишите мой портрет!

Вот так поворот! Просьба-то просьба, да совсем не та оказалась просьба!

— Я не понял связи с вашим замыслом. А гарнитур на самом деле может выйти оригинальным! Гарнитур-атлас, и на каждом кресле страна.

— Да-да! А связь прямая: я вам сейчас так рассказываю — почти уверенно, а на самом деле я не могу, не решаюсь взяться. Сам себя расхолаживаю, сам над собой смеюсь. Мне нужна вера в себя. Напишите мой портрет! Чтобы я решился, поверил себе! Всю жизнь такое мое мучение: а смогу ли? Куда мне! Другие, лучше меня, не могут... Я вам, как на исповеди.

— И вы думаете, портрет...

— Да! Я как только услышал... Это же у меня тоже болезнь!

— А что, если вам взять да начать работать? Резать то, что задумали? Начнет получаться, появится уверенность.

— Нет! Я уже пробовал. Нет, не могу. Не работа, а самоедство. Я вас очень прошу: для меня жизнь решается! Я понимаю, это большой труд. Я заплачу.

Ну вот — за один день вторая просьба. Начинается. И отказать Паничу еще труднее: не от камней в почках просит лечить. Но что делать, если завтра будет двадцать просьб?

— Прежде всего у меня к вам тоже просьба: никому больше обо всем этом не рассказывайте — о том, будто бы я могу... Ну, словом, обо всем этом. А по поводу вашего портрета — я постараюсь, но через некоторое время. Я сейчас уже работаю, да еще вперед обещал. А два сразу писать не могу. Так что только если вы согласитесь подождать.

— Ну конечно! Я понимаю!

— Тогда вы оставьте ваши координаты, и я вам сообщу сам.

От одного обещания человек тут же начал меняться: в мерцающем бледно-зеленом облике появились бодрые желтые проблески.

Заглянула Алла, переодетая, сияющая — так на нее действуют гости:

— Мужчины, вы готовы? Сейчас будем есть!

Еще четыре изнурительных и счастливых дня — и портрет Аллы был закончен. Алла его мечты сияла на холсте. Вытерпел. Преодолеl. А кровь в руке колола мельчайшими пузырьками, да все заметнее слабость: Андрей нагнулся за выроненной кистью — и вдруг не смог удержать ее, пальцы разжались сами по себе, без приказа мозга, и кисть выпала, оставив на полу метку чистым красным краплагом. Снова нагнулся, попытался схватить — пальцы не сходились на тонкой ручке кисти. Пришлось поднимать левой рукой. Но и эта странность в первый момент показалась приятной: значит, выложился в работе до конца!

Только когда и ложку не смог удержать, немного испугался. Но и тут успокоил себя: пройдет, через день или два пройдет.

Алла ничего не заметила, потому что перед тем как

взяться за ложку, он снес вниз только что законченный еще не просохший портрет и поставил прямо в кухне напротив окна. Так же левой рукой и снес.

Алла долго смотрела молча.

Потом сказала:

— Вот значит какая.

И снова смотрела.

Потом зашептала:

— Андрофей, ты... Ты и сам не представляешь... Это!.. Такого еще не было — никогда ни у кого!

Но когда шептала, смотрела не на Андрея, а на портрет. Так же когда-то не в силах был Нарцисс оторвать взгляд от своего отражения.

Андрей впервые видел действие своего портрета. Вот значит как: увидеть то, что в тебе заложено, — и устремиться к самому себе: вверх и вверх, как на Эверест в одиночку.

Алла смотрела. И на второй день. И на третий. С трудом отрывалась для повседневных дел — и спешила опять к портрету.

Потом попробовала бунтовать:

— Но я же не хочу! Это нечестно! Я не просила! Гипнотизирует, как удав, а я сижу и смотрю, как дура. Что я, приклеенная?! Это называется насилем!

Она сняла портрет со стены над кроватью, куда раньше сама и водрузила даже без помощи Андрея, поставила в шкаф — и весь день слонялась вокруг шкафа, приоткрывала дверцу, рылась без надобности в платьях. Потом, не выдержав, сама же вернула портрет на стену, на уже ставшее законным место.

— Он оказался сильнее. Но все равно нечестно! Хочешь удобную жену? Влюбленную рабыню?

Андрей и гордился могуществом портрета, и удивлялся, и даже пугался иногда. Но больше все-таки гордился. Может! Андрей Державин все может! Вот только правой рукой так и не удерживал даже ложки. И все

покалывали пузырьки. Поэтому в мастерскую к себе он не поднимался: незачем.

И вдруг пришла испуганная Алла — она только что вышла за продуктами, но сразу же вернулась:

— Слушай, Андрофей, там толпа — человек сорок. Звонят, стучат. Говорят, сегодня должна быть запись на портретную очередь. Уже сами списки составляют. Хорошо что не знают квартиры!

— Значит, завтра будет четыреста.

Выручил Витька Зимин: разрешил пока пожить в его мастерской. Бегство совершилось под покровом ночи. Андрей нес в левой руке чемодан, Алла — двумя руками — свой портрет, тщательно завернутый. Внизу на подоконнике дремал дежурный из очереди со списком — так и продремал. Впрочем, он же не знал Андрея в лицо — к счастью.

Почему-то на канале были выключены фонари. Сквозь облака пробивалась луна. Все вокруг было как тревожная декорация.

4

Странно, но Алла не замечала, что он уже неделю ест левой рукой. Наверное потому, что все силы и внимание уходило на общение с портретом. Она подолгу сидела перед ним, потом в явной досаде вскакивала, уходила. И уже начала меняться внешне. А еще: после долгого перерыва ушла из дома с этюдником.

При мастерской была кухня, так что устроились вполне сносно. Витька заходил редко: говорил, что сейчас не работается, что то и дело болеют его «говнюшечки» — не до того. Больше всего Андрею не хватало своих работ, глядящих на него со стен: без них он чувствовал себя уязвимым, как моллюск, с которого содрали раковину. А еще: хотелось почему-то полежать в прохладной ванне, но ванны при мастерской не было. Можно

было пойти к Витьке — его дом в том же квартале, — но там шумное его семейство сразу заметило бы, что правая рука Андрея ни на что не годна, а он стыдился этого, как позорной болезни.

Когда прошло дней десять, а рука так и осталась расслабленной, Андрей решил пойти к врачу. Как все члены Союза художников, он был прикреплен к Максимилиановской поликлинике. Правда, оказалось, что нужно заранее брать номерки — чуть ли не за месяц вперед! — но он упросил девушку в регистратуре, объяснил, что для него правая рука — все равно что крыло для самолета, и она устроила его без номерка к невропатологу.

Невропатологом оказался очень бойкий старичок.

— Так-так-так, ну-ка, обе кисти рядом! Сами-то видите?

И Андрей увидел сам — непонятно, как не заметил раньше! — что правая кисть гораздо хуже левой: ясно, как на анатомическом препарате, обрисовываются кости, а между ними провалы.

— Да, атрофия у вас, молодой человек. Не обижайтесь, но симптом этот называется «обезьяньей лапой». И когда первый раз заметили слабость?.. Да, прогрессивочка у вас. Ну что ж, произведем, конечно, с вами соответствующие анализы, но я-то врач еще ископаемый, вроде мамонта, сохранился с доанализовой эры, я привык глазам своим верить и молоточку. Боюсь, что у вас боковой склероз.

— Склероз? Но у меня, доктор, память хорошая.

— Ай, все сейчас словами кидаются, которых не понимают: «Склероз, склероз!» Это обывательские разговоры. А я говорю серьезно, по-медицински, есть такая нозологическая единица: боковой амиелотрофический склероз. К памяти никакого отношения не имеет. Вот так. Боюсь, что так.

— Ну и что же?

— То, что вы человек мужественный, по-моему, а значит, должны знать о себе правду. «Ну и что же?» — он спрашивает! То, что настоящего излечения не ждите. А тем более так быстро у меня прогрессирует. У вас то есть! Видите, даже заговариваюсь с вами.

— Но, доктор, для меня правая рука...

— Это не довод, к сожалению. И вообще, вам сейчас не о работе думать. Полный отдых, курорт какой-нибудь радоновый — все-таки можно задержать.

— Только задержать? А сделать ничего нельзя?

— В нашем деле все бывает. Даже от бешенства описано самоизлечение, а уж на что считалось фатальным. Но — сами понимаете: чудеса бывают, но всерьез рассчитывать на них рискованно. Пытайтесь, все пробуйте! Теперь вон ходят слухи, что какой-то ваш коллега напишет портрет — и пациент полностью излечен сразу от всех болезней. Если верно хоть на один процент...

— Значит, вы советуете к нему?

— Хуже не будет. А как психотерапия — очень даже.

— Беда в том, что я и есть этот самый коллега. И началось после этих портретов.

— А-а... Так они, значит, существуют?.. Хм... Знаете, печально звучит, но в этом какая-то справедливость: в мире ничего не делается даром, закон сохранения. Сколько здоровья прибыло в них, столько убыло в вас... Прекратите, может быть, все постепенно и вернется — раз такая необычайная этиология. Если вы способны излучать свое здоровье, может быть, возможен для вас и обратный процесс: высасывать здоровье из окружающих? А? Понемножку, потихоньку! Да я уже сказал: полный отдых, курорт.

— Понятно... Ну спасибо, доктор.

— Так обождите, мы все-таки анализы сделаем для полноты обследования. Вот вам направления. И прошу ко мне в любое время. Без всяких этих бумажек.

Андрей прекрасно видел, что заинтересовал доктора как необычный *случай*, но это совсем не показалось обидным. Потому что этот доктор — хороший человек, и воздух вокруг него золотится.

Но этот хороший человек сказал между делом страшные слова, которыми захлопнул всякую надежду на выздоровление: «Возможен для вас и обратный процесс: высасывать здоровье из окружающих. Понемножку, потихоньку...»

Жутко! И противно! Сделатья ласковым вампиром. Потому всякое улучшение — хоть временное — стало невозможным и постыдным. Ведь если он почувствует себя лучше, — сразу подозрение: «Насосался! У кого?» С сыном нельзя будет повидаться, от жены нужно бежать — при малейшем приливе сил.

Андрей сцепил руки и попробовал сжать правой кистью левую — нет, слабость прежняя...

Витькина мастерская была на Охте, Андрей не привык жить так далеко от центра, и раз уж выбрался сюда, решил зайти по соседству в Лавку Союза: там давали по списку голландские кисти. Зачем ему теперь? И все-таки пошел.

По дороге он думал, как сказать обо всем Алле. О том, что он теперь инвалид. Но что, к счастью, инвалидность его протянется недолго. Да-да, к счастью, Андрей не лицемерил перед собой: в существовании без возможности работать он не видел ни малейшего смысла. Совершенно искренне.

В застывшей Мойке отражалась осень. Вдруг захотелось спуститься к воде, бесшумно, осторожно соскользнуть, чтобы не нарушить отражение, и поплыть в холодной, сонной сентябрьской воде. Собственная странная болезнь представилась в виде раскаленного очажка в спинном мозгу, где-то под самым затылком — и если остудить очажок в холодной ванне, то наступит исцеление.

Без вампирства. Не у людей взять здоровье — у природы.

И все же купаться в Мойке Андрей не стал: понимал, что надежда на холод реки — жалкая иллюзия. Только бы зевач потешил. Вместо этого он вошел через черный ход в Союз. Перед дверью Лавки, как обычно, дежурили робкого вида молодые люди. Один, маленький, сутулый, да еще совершенно беловолосый — альбинос, остановил Андрея:

— Вы член Союза? Купите красок. Вот, по списку, если можно.

Андрей всегда стеснялся такого рода привилегий и потому, если мог, выполнял просьбы вроде этой, хотя и не всегда ему бывали симпатичны просители: попадались наглые, играющие в непризнанных гениев. Ну а маленький альбинос ему сразу понравился: в нем и внутренний свет был такой же — белый и неяркий.

— А кисти тебе нужны? Голландские.

— Конечно! Но разве вам самому... Там же список...

— Ладно, стой тут.

В низком и тесном помещении Лавки, к тому же заставленном рулонами холста, томилась небольшая очередь. Почти все лица незнакомые — и это обрадовало Андрея: не хотелось сейчас ни с кем говорить, обсуждать свои успехи. (Зачем же поперся в Лавку, если боишься встретить знакомых?! Вот она, логика человеческая...) Но маячил впереди Миша Казаченок — тот самый, у которого год назад сгорела мастерская со всеми работами. Но Миша отнюдь не впал в депрессию, наоборот, выглядел вполне довольным собой и даже чрезмерно преуспевающим: одет он был весь в замшу — от туфель до шляпы — и походил на индейца из образцового выставочного вигвама. Андрей понадеялся было, что замшевый Казаченок, целиком занятый собой — Миша все время косил в стоящее у стены большое зеркало, явно увлеченный своим видом, — его не заметит,

и сам уставился в пол как бы в задумчивости. Но ничего из этой детской хитрости не получилось.

— Андрюха! Привет знаменитости! Зазнался, своих не узнаешь? А о тебе только и говорят — как ты процветаешь. На осеннюю выставяешь что-нибудь?

— Нет, как-то не получилось.

— Еще бы, зачем тебе! Снисходить до нас, грешных. Тебе теперь светит не меньше персональной в Манеже. Многие завидуют, а я ряд! Я всегда говорил: Андрюха Державин еще всех нас обскочет!

Когда была произнесена его фамилия, почти все из очереди стали оглядываться на Андрея.

— Ладно обо мне, ты-то как?

— Ничего, жить можно. Заказ схватил от Балтийского пароходства. Вот видишь, что значит связаться с мореходами: достанут чего ни взбредет. Во, всё на мне! А уж Люська и вовсе ошалела. Если тебе что нужно...

— Да вроде ничего.

— Конечно, зачем тебе. Ты теперь сам чего хочешь достанешь!

К счастью, подошла очередь Казаченка. А с полными руками он потом уже не стал долго задерживаться, сказал только:

— Ну, давай так и дальше! И плюй на всех завистников! Да звони: и если что, и так. Посидели бы.

— Ага, позвоню, — соврал Андрей.

А когда стала подходить его очередь, стал готовиться заранее: достал левой рукой кошелек, положил на прилавок, той же левой рукой расстегнул. Потом достал членский билет, положил рядом с кошельком — царившая в Лавке Агнесса Петровна достаивала помнить в лицо только самых маститых.

— Державин?! Да зачем вы с этим! Неужели я вас не знаю!

Да, вот оно — признание: Всего три месяца назад

уже в Лавке обнаружил, что забыл билет, и ушел ни с чем.

Потом в том же порядке укладывал кошелек и билет, собирал покупки, боясь, что сзади закричат: «Скорей, люди же ждут!» Но не закричали.

— Плечо вот потянул, — сказал Андрей, извиняясь, и для убедительности поморщился, как от боли, причем довольно неумело.

Агнесса Петровна бросилась помогать ему захватить одной рукой свертки.

За дверью слонялся маленький альбинос. Видно, он не очень верил своему счастью, потому при появлении Андрея страшно обрадовался.

— Ну на, держи.

— Ой, такое спасибо! А я уж троих просил. Настоящий колонок, да?

Андрею было неловко слушать: он-то знал, что вовсе не от великодушия уступил мальчишке голландские кисти — смирился с болезнью, сдался, вот что это значило.

Подошел еще один молодой человек — этот поражал угреватостью лица и тем, что левое веко было полуопущено, отчего один глаз казался гораздо больше другого. Впрочем, лицо его, как вуалью, прикрывала серая муть.

— Ты Гарун-аль-Рашид, да?

— Разве мы хорошо знакомы?

— Э-э, все люди — братья. У каждого одна голова и две руки. Я со всеми на «ты». Ты скажи, когда в другой раз придешь: нарочно припрусь, авось облагодетельствуешь.

— Не знаю. Уезжаю далеко.

— Небось командировка на БАМ. Изображать молодых строителей.

Андрей слишком хорошо знал, куда он отправляется.

Но вдруг почувствовал, что было бы сейчас трусостью откреститься от БАМа!

— Точно. Я люблю энтузиастов. Сам такой. У энтузиастов лица интересные. Не зря же столько веков все великие писали святых — те же энтузиасты по тому времени.

— Ишь ты, — пробормотал угреватый, — диалектик. Значит, я без благодетеля остался, сиротина.

Маленький альбинос, слушая разговор, прижимал к себе только что обретенные сокровища, точно боялся, что угреватый нахал отберет их.

Андрей вышел через главный вестибюль на улицу Герцена. Там сразу подошел двадцать второй автобус — удобно, до самой Охты без пересадок. Маленький альбинос вышел за ним и сел в тот же автобус. Приблизиться он не решался и только смотрел издали собачьим взглядом.

Но Андрей скоро о нем забыл. Он думал, что же все-таки сказать Алле.

Дома Аллы не оказалось. То есть в мастерской Витьки Зимина, теперешнем их пристанище. Андрей обрадовался, что он один, и решил попробовать работать левой рукой: а что делать, если надежды на оживление правой не остается? Не пребывать же в полном безделье. Да и только работа давала гарантию, что он будет продолжать излучать. Самое страшное сейчас — расслабиться и начать высасывать из близких! А писать левой рукой — дело реальное. Есть ленинградский живописец — Стерхов Афанасий Григорьевич, хороший мужик, хотя и нервный после контузии. Ему на войне оторвало руку броней. И он научился работать левой. Значит, сможет и Андрей.

Для начала он решил попробовать сангиной. Как пойдет рисунок?

Конечно, было неудобно. Но не безнадежно. Так что, если тренироваться, то недели через две... Он увлекся,

и только когда совсем стемнело, вдруг заметил, что давно уже хочет есть. Аллы все не было, и он сам пошел на кухню, досадуя на жену и думая, как сможет справиться одной рукой.

На кухонном столе лежала записка. Андрей увидел издали — и сразу все понял, так что можно было и не читать. Строчки полыхали малиновым жестоким пламенем.

Общий смысл записки был ясен, но Андрей все-таки взял ее: уточнить детали.

Милый Андрофей!

Твой портрет подействовал слишком сильно, но не так, как ты рассчитывал: я изменилась, я хочу работать, быть собой. Рядом с тобой это невозможно. Дело только в кухне. Ты меня подавляешь. Работать рядом с тобой — все равно что ярким днем включать лампу. Наверное, нельзя, чтобы в семье было двое художников: каждый слишком тянет в свою сторону. Тебе нужна жена, которая полностью отказалась бы от себя и посвятила жизнь тебе. Я уже почти дошла до такого состояния, но твой портрет... Все возникающие из новой ситуации подробности мы еще обсудим. Уверена, что уладим все благородно. Пока я живу в нашей старой квартире и поработаю в нашей мастерской. Ты привык думать, что она твоя, а она все-таки наша. Сообщаю тебе это, потому что спокойна: ты не ринешься за мной, чтобы убить или вернуть силой. Ты слишком поглощен работой, чтобы испытывать подобные страсти. Ну а очередь твоих заказчиков и поклонников мне не угрожает: я им скажу, что ты отплыл на год в Антарктиду.

Я уверена, что все у тебя будет хорошо, мой милый. Такой талант, как у тебя, заполняет жизнь целиком. Вряд ли ты будешь горевать из-за такой мелочи, как любовь. Ну а желающих пойти к тебе в рабыни найдет-

ся предостаточно. Еще и передерутся между собой. Вот бы я хохотала, если б увидела!

Вот и все. Если тебе все-таки грустно, вини свой портрет. Писать без моего согласия было насильем — вот ты и поплатился. Ты хотел сделать меня окончательно рабыней, но портрет решил иначе.

Дружески целую тебя в твой талантливый лоб —

Алла Певцова.

Да, уточнил детали...

Самая интересная деталь — фраза: «Ты слишком поглощен работой, чтобы испытывать подобные страсти...» Нет, перед этим: «Ты не ринешься за мной, чтобы убить или вернуть силой». Сколько сарказма! И как ей хочется мелодраматических чувств — бурри цыганских стрррастей! Какая дешевка.

И Алла совершенно права: если бы и не было визита к невропатологу, Андрей все равно бы не бросился за ней. Ну а теперь — теперь все разрешается лучшим образом. Только бы Алла как-нибудь не узнала про этот редкостный боковой склероз: вдруг еще вообразит, что ее долг — вернуться и ухаживать за ним, страдальцем. Противно, когда такие жертвы приносятся из жалости и ложного чувства долга.

Андрей разорвал записку. Кое-как соорудил себе еду и снова принялся тренироваться рисовать левой рукой.

И только когда улегся вечером на старый диван в мастерской, стало по-настоящему страшно. Андрей, естественно, с детства знал, что он смертен, но знание это как бы его не касалось. То есть когда-то это открытие было страшным потрясением. На поминках его дяди, сгоревшего в пьяном виде в бане, дед посадил Андрея на колени и сказал:

— Во какие дела, Андрюха. Все мы, значит, когда-нибудь. Ты совсем пацаненок еще — а и ты тоже...

И он тоже?! Станет вот таким же противным тру-

пом, до которого если только дотронешься — стошнит?! Наверное, на целую неделю все потеряло смысл: лапта и казаки-разбойники, рыбалка и пирог с вязигой, и даже дружба с Тюлькиной — лучшей охотничьей собакой в округе, как говорили все мужики. Но постепенно острый страх прошел, и Андрей если не разумом, то чувством стал считать себя бессмертным. Так было до сегодня: смерть существовала, но к нему она как бы не имела отношения. И вот оказалось, что имеет, и самое близкое.

Смерть представлялась ему не полным уничтожением чувств — этого он не мог себе представить, — но сохранением одних только чувств мучительных: лежать и ощущать холод земли, лежать и задыхаться в наглухо заваленной могиле, лежать в смраде от собственного разложения... и еще невозможно пошевелить ни рукой, ни ногой в тесном гробу... и еще абсолютная чернота — отсутствие света, отсутствие красок... Так ясно все это переживалось, точно он уже зарыт!

Андрей вскочил, включил свет. Нет, жив — *пока еще*. Но почти умершая правая рука — «обезьянья лапа» с отвратительными провалами на месте атрофировавшихся мышц — напоминала, что *еще* продлится недолго.

Улечься снова было страшно, ибо лежание словно бы становилось репетицией смерти. Андрей взялся за сангину — и стал пытаться изобразить в карикатуре предстоящие свои похороны. Насмешка над смертью не то отодвигала ее, не то примиряла с ней — во всяком случае, становилось легче.

Он подумал еще, что рисунок этот останется после него. И сразу в развитие этой малозначительной мысли — другая, очевидная, но временно вытесненная страхом смерти из сознания: останутся его работы — и все прежние картины, и три последних портрета, его погубивших. Но погубивших, чтобы прославить.

Банальная эта мысль, что бессмертие художника —

в его работах, сверкнула откровением! Его картины — это же он сам! Он всегда это чувствовал! Потому тесно, как в запаснике, увешанные полотнами стены его мастерской он ощущал частью себя, створками своей раковины. И они — вне смерти.

Умереть, не написав последних портретов, — вот что было бы страшно! А сейчас, когда он достиг пределов возможного, он понял — жизнь состоялась. И если бы он написал еще множество таких же портретов, отмеченных внезапным счастливым даром, они бы лишь повторили достигнутое совершенство, но не превзошли бы его.

Ну, допустим, берясь за портрет Реброва, Андрей вдруг узнал бы заранее, к чему это приведет, что же, он струсил бы, отказался? Смешно спрашивать, настолько очевиден ответ! За бессмертие в своих работах никакая цена не высока. Лучше прожить тридцать лет, как Рафаэль, как Лермонтов, чем двести каким-нибудь Акакием Акакиевичем!

Мысли неслись по кругу, и в самом их повторении было что-то убеждающее. Потому-то банальные истины — самые истинные: от многократного повторения они лишь закаляются и полируются до блеска.

И вдруг, когда страх смерти уже полностью вытеснило успокоение и даже торжество, некстати вспомнилось: проводка. У него же в мастерской старая проводка! А ведь Алла не станет вывинчивать пробки. Короткое замыкание — и нет больше почти всех работ Андрея Державина. Портреты останутся — хоть это утешает, но и всего остального ужасно жалко. До чего же некстати этот ее творческий порыв! Алла Певцова-Державина — вся она в этом: ни то ни се в живописи, и нашим и вашим...

А ведь замыкание может произойти в любой момент. Ночью. У Мишки Казаченка загорелось ночью!

Андрей был одет: раздеваться одной рукой трудно и ни к чему — прекрасно можно выспаться и одетым. Он

сразу выскочил из мастерской и сбежал вниз — лифт здесь почему-то на ночь выключался. Такси попало довольно скоро.

— Небось от бабы? — вяло поинтересовался шофер.

Все о том же. До чего же скучно. Андрей хмыкнул неопределенно, и дальше ехали молча. У своего дома он попросил подождать.

Дежурных очередников на лестнице не было — видно, распалось это предприятие. План Андрей составил еще в машине: содрать все провода, чтобы до прихода монтера включать было просто нечего.

Это оказалось нетрудным даже для одной руки, даже в полутьме, всего лишь при свете луны. Пришлось ведь для начала вывинтить пробки, которые он тут же сунул в карман. Ну а записку догадался написать еще при лампочке — узнает ли только почерк?

«Алла, это не хулиган, а я. Надо срочно вызвать монтера. До него обходись дневным освещением. А.»

И деньги положил: наверное, у нее туго сейчас. Да и для достоверности: на случай сомнений в почерке.

Потом немного постоял. В лунном свете белели снега на его полотнах. А открытая вода казалась совсем черной и таинственной. Никогда еще Андрей не видел своих работ в лунных лучах — и при таком освещении они ему тоже понравились.

Ночью легче вспоминается, что земля — космический корабль. И тогда собственная судьба соизмеряется со звездной бесконечностью — и наступает успокоение.

Да, все хорошо.

Тишина в душе.

Ну все. Хватит. Простился.

Когда ехал обратно, было такое чувство, будто только что написал заново все те холсты, что в мастерской.

А засыпая на старом диване, подумал, что Алла сочтет его набег оскорблением: бросился среди ночи не за нею, а из страха за картины. Из навязчивого страха,

надо признать. Прошел мимо двери — и не подумал войти. И в записке ни слова об ее уходе. Да, оскорбится — ну и пусть...

Сон его был легок. Наутро заявился Витька Зимин.

— А где Алена?

— Побежала по делам.

— Ладно, я, собственно, к тебе, а не к ней. Да не пугайся, старик, я завтра уезжаю. Дают командировку на Самотлор, и на три месяца мастерская твоя. Единая и неделимая. Живи тут в подполье.

Андрей был поглощен тем, чтобы не выдать перед Витькой свою умирающую руку. Рукопожатия при встрече удалось избежать, а теперь он ее старательно пачкал краской: готовился извиниться, когда надо будет прощаться. Потому поблагодарил довольно небрежно. Но Витька никогда не придавал значения *китайским церемониям*.

— Самое главное, у меня к тебе дело, старик. То есть просьба. Я, конечно, понимаю, что ты завален работой, но тут такое дело. Понимаешь, у меня есть дядюшка — академик. Это все глупости, даже как-то неловко: дядя-академик. Как развязка в комедии: является богатый дядюшка и все устраивает! Я потому никогда не говорил. Тем более — физик, современный бог. Но я никогда через него ничего — так что чист в этом смысле. Но тут он сам ко мне. В общем, у него любимый ученик, молодой гений-теоретик и все такое. И вдруг неизлечимо болен. Полная безнадёга. Врачи дают год, максимум — два. Болезнь — ты о такой не слышал никогда: какой-то боковой склероз...

Андрей сразу же вспомнил: на «Индибирке» третий помощник был математик-любитель. Совсем рехнулся на этом деле. И все писал статью про закон парности, всем надоел, просил собирать для него парные случаи. И насобирали-таки порядочно. У него это и с антимиром увязывалось — ну, рехнулся человек.

— ...Короче, старик, вся надежда на тебя. Там уже прослышали: вынь им тебя да подай. Я понимаю: к тебе уже на два года запись, у всех случаи. Но напиши его без очереди, а? Мой дядя иначе жизнь не понимает: чуть что — не меньше чем к министру. Я-то ко всему этому — сам знаешь. Но если им легче... Сознание выполненного долга...

— Хорошо.

— Точно? Ну, благодетель! Когда ему прийти?

— Через час.

— Ну! Ты прямо факир и йог. Любимый ученик Рабиндраната Тагора. Тогда я побежал звонить!

— Как звать его? Чтобы кого-нибудь другого не написать по ошибке.

— Володя Вирхов. Ну, старик!.. Короче, если тебе по знакомству нужно устроить какую-нибудь физическую теорию — они все у нас вот здесь!

Витька поднял сжатый кулак. И этот жест заменил собой рукопожатие, так что и не пришлось извиняться за испачканную руку.

Ну вот, все в порядке: нашелся еще один объект, на кого есть смысл излить излучение.

Володя Вирхов оказался именно таким, каким полагается быть молодому физику-теоретику: вытянутая голова, высокие залысины, бледные губы. Поэтому казался выше своего роста: выглядел на все сто восемьдесят, хотя вряд ли дотягивал и до ста семидесяти пяти. Держался отчужденно и, пожалуй, стеснялся, что прибегал к такому средству. Скорее всего на портрете настоял академик и любимый учитель или даже жена любимого учителя. Да и не так уж Володя Вирхов был напуган своим безнадежным положением — нет, не рисовался спокойствием, а действительно не так уж был напуган: страх — он лиловый, а в Вирхове Андрей не видел лилового свечения.

Молодой гений уселся, осмотрелся и сразу задал бестактный вопрос:

— Вы левша?

Вот так. Жена чуть не за десять дней не удосужилась заметить, что у Андрея не действует рука, друг заходил — тоже не до того ему. А этот отчужденный теоретик с высокими залысинами и бледными губами все разглядел сразу — Андрей еще не успел взяться за кисти.

— Да, если не возражаете.

— Чего мне возражать. Просто я считаю, что левши — одно из проявлений нестабильности человека как вида и, следовательно, продолжающейся эволюции человечества.

— Если я проявление эволюции, то лестно.

— Как мне себя вести? Сидеть неподвижно? Я, знаете ли, никогда еще не заказывал своих портретов.

— Ну зачем же неподвижно. Держитесь естественно. Разговаривайте. Расскажите, например, о своей работе. Вы ведь выдвинули какую-то новую теорию в физике? Изложите, если можно, доступно моему разумению.

Андрея мало интересовала теория молодого гения. Но когда тот станет рассказывать, то поневоле увлечется, появится живое выражение вместо этой маски.

— Все можно изложить доступно. А чего нельзя — то обычно шарлатанство.

— Вот и давайте.

Пока здоров, здоровья не замечаешь. Такое простое и каждодневное действие: выдавить краски на палитру. Повторяется с неизбежностью утреннего умывания. А с одной рукой становится целой проблемой. Андрей, злясь на омертвевшую руку, отвинчивал крышки у тюбиков — очень это трудно однорукому! — а теоретик между тем читал целую лекцию:

— Прежде всего нужно уточнить, моя это теория

или не моя. В современной науке это каждый раз сложный вопрос. А этика требует. Всегда найдется эрудит, который заявит: «Еще Аристотель...» или: «В переписке Декарта... В архивах Макса Планка...» Так вот, что-то такое было еще у Циолковского. Но разница в том, что у него на жюльверновском уровне, а у меня уже, пожалуй, вполне строгая гипотеза. Если считать, что строгость гипотезы пропорциональна количеству в ней математики. У меня математики на целого Лобачевского. Но для вас я ее, естественно, опущу. А речь идет о новом взгляде на эволюцию Вселенной. О том, что человек — не плесень, зацветшая на маленькой провинциальной планетке, а главный фактор космической эволюции. Видите ли, я убежден, что человек — не венец творения, а как раз наоборот: мы находимся еще только в самом начале эволюции. Живая материя, а теперь вот мыслящая — такие же равноправные физические состояния вещества, как плазма или твердое тело. В этом суть: мы, наш мозг, — не какое-то биологическое царство, а закономерное физическое состояние вещества, так же как одинаково закономерны лед, вода и пар. Так вот, человек неизбежно будет расселяться во Вселенной, масса мыслящей материи будет колоссально расти, и в какой-то критический момент — тут у меня всякие заумные вычисления — произойдет скачок! Ну для понятности вспомните о критической массе урана. Итак, произойдет скачок — и целая галактика станет мыслящим объектом, единым сверхсуществом, если хотите. Ну, а постепенно этот процесс захватит другие галактики, всю Вселенную. Конечно, единичное сознание при этом растворится в общем. Впрочем, если вас это пугает, то произойдет сей интеллектуальный взрыв достаточно нескоро.

Все-таки рассуждения молодого гения неожиданно заинтересовали Андрея, так что он даже невольно задал вопрос:

— А какой смысл во всем этом?

— Что значит «какой смысл»? Это не вопрос. Я считаю, что это неизбежный путь эволюции Вселенной, так же как известны и неизбежны, скажем, пути эволюции звезд. Так можно спросить: а какой смысл в появлении красных карликов? Хотя и смысл вполне явный: преодоление тех законов термодинамики, которые нам пророчат победу энтропии, или, как иногда выражаются, «тепловую смерть Вселенной». А сверх этого — нечто необычайно яркое, грандиозное, чего мы сейчас и вообразить не можем. Ну, вроде как муравей абсолютно не может вообразить духовной жизни человека — и объяснять ему бесполезно.

Андрей улыбнулся, представив, как Владимир Вирхов, блистая залысинами, вот в такой же академической манере читает старательному, жаждущему знаний муравью лекцию о духовной жизни человека. Но спросил серьезно:

— Скажите, а как вы с вершины громадного космического сознания смотрите на отдельных теперешних маленьких людей?

— Требовательно. Я не люблю, когда они маленькие и удовлетворены своей малостью. Я уважаю человека, у которого вижу стремление к своему высшему достижению — в любой области. К своему мировому рекорду, скажем так. Потому что мировые рекорды и есть двигатели эволюции.

Андрей поколебался, но все-таки спросил и дальше — собственное положение давало ему право:

— Простите, что я касаюсь раны, но все же: как тогда отнестись к вашей болезни? Вот вы стремитесь к своему рекорду и во многом преуспели — и вдруг такая болезнь, при которой можно и не дожить до сорока...

Вирхов перебил — и холодная ирония чем-то напомнила Аллу:

— А меня-то уверяли, что ваш метод гарантирует излечение.

— У меня нет метода, я просто пишу портрет. Надеюсь, он окажет на вас хорошее влияние — он, а не я. Допустим, не было бы меня с моими портретами — не обо мне же речь: ведь сколько талантливых людей умирает, не дожив до своего рекорда. Мы сейчас рассуждаем теоретически.

— Теоретически это, конечно, досадно. Но знаете, я уже сейчас ощущаю себя отчасти клеткой рождающегося огромного целого. И свидетельствую: ощущение причастности к целому снижает для меня значение индивидуальной смерти.

— Совершенно искренне?

— Да, совершенно искренне.

Андрей и сам видел, что совершенно искренне.

— Ну, тогда подарите еще одним искренним признанием. По вашей теории, должно родиться грандиозное космическое сознание, в котором растворятся все наши личные самосознания,— так вот, при всем этом вам все же хочется, чтобы эта теория носила ваше имя? Теория Вирхова — звучит ведь?

Вирхов засмеялся, но и смех у него выходил холодным, словно только что оттаявшим.

— Да, умеете вы ударить: прямо в солнечное сплетение. Конечно, на фоне космического сознания личное тщеславие выглядит смешно. Но раз уж просите, чтобы честно, признаюсь вам: грешен. Хочется и славы, и премий. Понимаю, что смешно, а все же хочется. Меня оправдывает только то, что до космического сознания еще очень далеко, по нашим меркам, как я вас и предупредил с самого начала.

— А вы не считаете, что уже сейчас какая-нибудь отдаленная галактика — единое мыслящее существо? Сверхсущество!

— По моим расчетам — нет. Вообще, по моим расчетам, появление жизни как нового состояния вещества — это такой пробой в неживой материи, который должен первоначально произойти в одном месте и оттуда распространиться по всей Вселенной. Как в растворе в одном месте образуется центр кристаллизации. Встречное распространение двух или нескольких сверхсознаний было бы очень опасно. К счастью, вероятность этого крайне ничтожна — тут опять-таки идут всякие расчеты. Стало быть, нам крайне посчастливилось, что пробой неживой инертной материи произошел именно на земле, и мы — его продукты.

— Значит, вы считаете, что наша цивилизация — единственная и братьев по разуму не существует?

— Да, моя гипотеза этого требует.

— И если мы сбросим водородные бомбы и не доживем до расселения по всей галактике — это будет катастрофой не только для нас, но и для будущего развития всей Вселенной?

— Когда-нибудь в другом месте может произойти новый пробой неживой материи. Но вы правы: наша гибель была бы катастрофой вселенского масштаба.

Смотреть на Вирхова становилось все любопытнее: алые как кровь, как царский пурпур, волны гордыни омывали его чело — не лоб.

— Получается, вы ощущаете себя ответственным за будущее всей Вселенной. А не тяжело? Как вы себя чувствуете под такой ношей?

— Ну, не себя одного — на паях с остальным человечеством. Но нет, не тяжело. А как можно иначе? Замкнуться в собственной корысти? Это прежде всего скучно.

— Да-да, может быть. Но вот вы предрекаете человечеству столь блестящее будущее, а сколько таких, кто замкнут в собственной корысти, по вашему определению?! Не большинство ли? И если всемирное самоубий-

ство все-таки произойдет, то только по человеческой глупости.

— Глупости и подлости. Да, техника обогнала нравственность, обогнала социальное развитие. Было бы гармоничнее, что ли, если бы сначала исчезли государственные и классовые различия, а уж потом люди открыли ядерную энергию. Тут мы, физики, поспешили. Но наша поспешность требует, чтобы уже сейчас, при всей социальной отсталости, каждый человек приобрел одну новую черту, один элемент космического сознания, если хотите: необходимо, чтобы расширилась сфера личного. Мы привыкли: любовь, семья, коллизии на работе и поездки на курорт — это личная жизнь, а всякие высокие материи, международные отношения — это уже вне личной жизни. Анахронизм или идиотизм — называйте как хотите! Любит меня Маша, изменяет ли мне Даша — это же все чушь, а не личная жизнь! Личная жизнь — это все, что в последних известиях. Меня экологический кризис или Дальний Восток волнуют куда больше отношений с женой.

Андрей видел, что и это Вирхов говорит совершенно искренне.

Самого Андрея вирховская гипотеза с невообразимым галактическим или даже вселенским сверхсуществом, в котором растворятся отдельные личности, ничуть не прельщала. Ему были дороги именно отдельные личности — само понятие «художник» исчезло бы. Хотя в положении Андрея ухватиться за такую модель мироздания было бы простительно: как-никак на фоне мыслящей Вселенной собственная индивидуальная смерть и в самом деле становится фактом не очень значительным. Но Андрей отвергал утешительные гипотезы. Да, построения Вирхова его не прельщали, но сам Вирхов, как ни странно, нравился Андрею все больше. В нем было бесстрашие мысли, отбрасывающее на лицо холодный чистый серебристый свет; бесстрашие мысли, пре-

зирающее всякий компромисс с общепринятым здравым смыслом, доводящее логическую цепь до конца, куда бы эта цепь ни привела. Что ж, только такие и становятся Коперниками.

А работа — работа за разговором шла даже лучше: освобожденная от опеки сознания, от страха неудачи, левая рука обучалась очень быстро. Может быть, даже устрашающе быстро, потому что в необычайной скорости, с какой освоила кисть левая рука, промелькнуло что-то зловещее: значит, времени действительно почти не осталось — точно так же подрубленное дерево, говорят, напоследок дает невероятный урожай.

Но когда он доработался до обычного изнеможения и пришлось прервать сеанс, то почувствовал знакомое покалывание и в левой руке — опять, будто кровь в ней вспенилась, как откупоренное шампанское. Ну что ж, этого и нужно было ожидать...

Если будут когда-нибудь у Андрея Державина биографы, они распишут эту последнюю работу как «творческий подвиг», как необычайное самоотвержение. Дескать, зная, какими последствиями грозит написание нового портрета, он все-таки взялся за работу, чтобы спасти другого человека... что-нибудь в этом роде.

А ведь чушь это — никакого *самоотвержения*. Работа всегда — *самоутверждение*. А ничего не делать — это отвергать себя. За то, чтобы написать еще один шедевр, никакая цена не чрезмерна — не полугодом можно бы расплатиться, а целой долгой жизнью, если бы была такая в запасе...

А в позвоночнике, там, где шея переходит в затылок, опять раскалялся очаг — словно капля расплавленного металла. Остудить бы в холодной воде где-нибудь у кромки льдов!

На следующий день Володя Вирхов снизошел к темам более земным:

— Узнал случайно, что моя болезнь называется «болезнью Шарко»...

«И моя, стало быть, тоже»,— с интересом и непонятным удовлетворением подумал Андрей.

— ...До сих пор слышал только про «душ Шарко», думал, что Шарко был кем-то вроде водопроводчика. А тут такая болезнь! Он, оказывается, знаменитейший профессор в свое время. Звучит, правда? Болезнь Шарко! Не стыдно признаться в обществе.

Но неужели он действительно так равнодушен к возможной близкой своей смерти, что так непринужденно рассуждает о болезни Шарко?

И тут Андрей ясно увидел в Вирхове подсознательную уверенность, что все обойдется, что удастся выкарабкаться! Вирхов мог еще при случае вслух повторить вчерашнюю иронию: «А меня-то уверяли, что ваш метод гарантирует...» Но про себя он уже знал, что худшее позади — едва начатый портрет уже спешил оказать действие! Может быть, «обезьянья лапа» уже не такая обезьянья. А Андрей — нет, он ни о чем не жалел, ведь его мечты о совершенстве, о славе, о служении человеческому исполнились на двести процентов! И все же не мог он сейчас не взглянуть на Вирхова с тем же чувством, с каким голодный смотрит на сытого. В его-то левой руке пузырьки разыгрывались все больше, и уже замечалась предательская слабость в пальцах, а расплавленная капля металла перекатывалась внутри позвоночника.

На третий день Андрей решил, что прописывать фон не будет. Из тонированного грунта выступает голова Вирхова — и довольно. Голова счастливца, молодого гения. Но этому счастливицу губы поярче, и виски не такие впалые, и стереть иронический высокомерный взгляд — чтобы почувствовал прелесть нашего раздробленного, пестрого, нелогичного мира! Все равно как на аскетических святых Эль Греко нарастить немного ру-

бенсовской плоти! А откуда она берется, лишняя плоть? От себя! Та, которая атрофируется с каждым днем,—туда, на холст! Всемирный закон сохранения!

И ни разу за эти дни Андрей не подумал о бывшей жене — конечно, бывшей, хотя они не успеют развестись. Записку он уничтожил, и никто не узнает, что она — бывшая. Станет почитаемой вдовой, научится открывать его выставки и выступать с воспоминаниями. Ну что ж, она это заслужила годами отречения от себя... Ну а сын проложит себе путь памятью и эрудицией — и Андрей порадовался за него... Да, все отошло, осталось желание успеть закончить портрет. Вот вспомнил сына, когда и левая рука перестала удерживать кисть.

Если бы по старым меркам, голову тоже надо было бы прописать еще раз — но пришлось остановиться на том, что есть, что успел.

— Ну вот, можете забирать. Надо бы дать просохнуть, но мне нужно срочно уехать, так что уж пусть сохнет у вас.

— Так, может, мне забрать после вашего возвращения?

— Нет-нет, я надолго. Редкая возможность забраться на займку в тайге, побыть с самим собой наедине. Подумаю там на досуге о вашем сверхсуществовании, о растворении личных сознаний.

— Подумайте. К этой мысли трудно привыкнуть сразу, нужно подумать, отбросить многое привычное.

Небрежно так сказал, как будто советовал прочитать модный новый роман.

— Скажите уж: отбросить все привычное, а не многое. Но обещаю подумать. Так что забирайте. Только постарайтесь не размазать, пока несете.

— Постараюсь... Так, значит, по-вашему, я такой?

— Да, такой! — И повторил с силой: — Такой! Только такой!

Вирхов унес портрет. Вот и все. Следующего не бу-

дет. Что же теперь, сложить себя в какую-нибудь больницу и доживать, кормясь из рук крикливых санитарок? Жалкий конец. А капля металла прожигала позвоночник — и все искусительней манила мечта о холодной воде.

Андрей вышел из мастерской Витьки Зимина. Оставшейся силы пальцев как раз хватило, чтобы повернуть головку замка. А за спиной дверь захлопнулась сама.

Вышел. Спустился. Пошел.

Был солнечный день конца октября. Последнее тепло с прослойкой прохлады. Ультрамариново-синяя Нева текла в двух шагах. Спуститься, войти и отдаться течению. Перевернуться на спину, чтобы позвоночник как следует омывался холодной водой, чтобы остывала капля металла. Всю работу возьмет на себя течение, только слегка подрабатывать ногами — благо ноги в порядке. И плыть, плыть, глядя в бледно-голубое небо... Но слишком много катеров, буксиров, речных трамваев — выудят, и все закончится кормлением с рук в больнице. А еще — еще хотелось малодушно растянуть оставшиеся минуты, растянуть в часы, чтобы напоследок насладиться осенним солнцем, легкостью и прозрачностью воздуха.

На другом берегу Невы, словно готовый взлететь, тянулся к небу Смольный собор. А что, если так его и написать — взлетающим, взлетевшим?!

Андрей пошел по набережной. Вниз по течению. Там через несколько километров будет Финляндский вокзал. Большой выбор электричек.

Обострившееся за последние полгода зрение Андрея просвечивало всех встречных. Зачем? Ведь портретов он больше писать не будет! Но они шли навстречу со своими надеждами, заботами, опасениями — и светили то зеленым, то голубым, то розовым, а попадались и отвратительно бурые, грязно-коричневые. Все разные и все понятные. Написать бы все портреты, показать бы им

всем их истинные образы, все прекрасное, что в них заложено — и так часто задавлено. Невозможно. Не хватает никаких сил.

Прошел мимо низкой ограды, усаженной мелкими — с пуделя — чугунными львами. Дача Безбородко. Многие ли из живущих поблизости знают, что здесь жилал когда-то этот Безбородко? Да и нужно ли знать? А вот он, Андрей Державин, провинциал, взрослым приехавший в Ленинград, — он знает. Потому что то, что тебе не дано от рождения, приходится наверстывать вдвойне.

Что-то еще оставалось несказанным... Ваньке! Объяснить, что талант — не синоним памяти. Нужно уметь видеть! Видеть человеческие чувства — голубые и бурые, золотистые и серые... Встречаться с Ванькой нельзя: не нужно, чтобы помнился безрукий отец. Телефон — годится. И попался на пути телефон-автомат. Крупный предмет — телефонную трубку — пальцы еще удерживали. Проблемой оказалось достать и опустить монетку. Ничего не получалось.

Андрей хотел было попросить кого-нибудь из прохожих — вот и девушка подходящая показалась со скромным голубоватым облачком около лба, — но остановил себя: зачем? Как он сможет объяснить семилетнему мальчику то, к пониманию чего сам пробивался много лет? А если бы и смог? Имеет ли он право подталкивать несмышленного сына к повторению своей судьбы? Судьбу выбирают сами. Можно было бы написать письмо, еще когда слушались пальцы, чтобы отдали сыну в восемнадцать лет. Теперь поздно...

Ближайшая электричка шла на Зеленогорск. Что ж, в самый раз. Пока ехал, мечтал об одном: только бы не явились контролеры! Ведь взять билеты нечего было и думать, а противно получилось бы, если бы вдруг — фарс в финале: высажен как безбилетник и препровожден в линейное отделение милиции...

Повезло: контроля не случилось.

Андрей вышел в Комарове. Медленно пошел вниз, к заливу.

Пустые дачи уже приготовились к зиме. В одной почему-то распахнуто окно, и далеко разносилось, как скрипит на ветру рама.

Из открытой калитки навстречу Андрею вышла тощая собака — наверняка из брошенных. Она с надеждой посмотрела на человека. Андрей ни словом, ни жестом не поощрил ее, но она все же поплелась за ним — значит, на что-то надеялась.

Андрей сам себе удивлялся — в такой момент все замечает: и собаку, и раму. И в электричке больше всего беспокоился о контролерах...

Он перешел шоссе и вышел на пляж. Собака по-прежнему плелась за ним. Вода лежала впереди, плоская и белесая.

Ну вот она — та самая холодная вода. Наконец-то остудится расплавленная капля металла. Не меняя походки, тем же размеренным шагом Андрей пошел по мелководью. Собака остановилась у кромки воды и зло залаяла вслед. Собака хотела жить — и он не помог ей в этом. Собаку было жалко, себя — нет. А чего жалеть? Он сделал больше, чем мог надеяться. Он достиг невозможного. Он счастливец. А что не успел пожать плоды успеха — так и хорошо: есть что-то неизбежно пошлое в этих плодах. А так с ним только чистая радость совершённого. Жизнь и должна измеряться совершённым. А не количеством витков, которые удалось проделать вместе с планетой. Не на карусели катаемся!

И странно: дойдя до черты, Андрей Державин вновь обрел детскую уверенность в том, что смерть не имеет к нему никакого отношения. Вот он сейчас остудит каплю металла — и поплывет, пойдет, полетит на ту самую заимку, о которой случайно и всуе помянул в разговоре с Вирховым. А там — там обязательно растет громадный голубой кедр. Откуда-то возьмутся краски, Андрей

напишет этот кедр — и вберет в себя силу дерева. Кедр потом засохнет, но ничего, Андрей имеет право на жизнь одного кедра, чтобы когда-нибудь вернуться и совершить новый портрет... Да, можно жить на земле, пока есть на ней голубые кедры... А тощая собака встретит Андрея у кромки воды и пойдет за ним — да сотрется и с нее случайная черта: голода, брошенности, человеческой жестокой подлости!..

Блаженный холод подступил наконец к расплавленной капле металла.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПРОТИВ РАСХОЖИХ МНЕНИЙ **(О прозе Михаила Чулаки)**

В литературе особенно впечатляет та правда, которая будит ответную мысль читателя. В этой реакции необязательно должно быть заложено согласие с писателем, принятие его философии. Произведение искусства может вызвать желание оспорить авторскую точку зрения. И если этот спор вызовет новое, более глубокое понимание того, о чем говорит художник, то цель его достигнута, его художественная концепция — истинна.

Художественная правда — это не однолинейная правда, она жива противоречиями и направлена в конце концов на выяснение противоречивого единства мира.

Михаил Чулаки обладает парадоксальнейшей для литератора убежденностью: изображать чужую внутреннюю жизнь, жизнь реального человека с реальным именем и фамилией — незтично. Может быть, даже безнравственно. Потому что проникнуть в душу даже близкой тебе личности невозможно, и если ты это все-таки попытаешься сделать, то у тебя неизбежно получится пасквиль...

Кажется, прозаиков с такими тезисами до Чулаки еще не встречалось...

Частным случаем этой эстетической установки явилась его полемическая статья о проблемах биографического жанра в «Литературной газете» осенью 1986 года. Ею началась одна из самых бурных у нас за последние годы дискуссий по конкретным вопросам творчества.

Чулаки в этой статье утверждал: «...не только гении и вообще знаменитости всякого рода неподвластны божественному всеведению писателей. Ни один реально живший или живущий человек неподвластен!»

И дальше, обосновывая свое мнение, писатель продолжал: «Тут ведь какая приманка для читателя: подсмотреть как бы в щелку на живого Петра ли, Распутина ли — как бы попридти присутствовать при том, как варится похлебка истории. А в какой-то момент и отождествить себя с вершителем судеб — в точности как всякий мальчишка над Дюма воображает себя д'Артаньяном. Почему же такое можно?»

Не решая пока что вопроса, насколько Чулаки прав (я, например, вижу скорее естественную правоту «мальчишки»), заметим, что в художественной практике он себе не противоречит: ни в одной из его повестей нет достоверно узнаваемых, «из жизни взятых» персонажей.

Собственный долгосрочный внелитературный опыт (Чулаки по профессии врач) представляется, видимо, прозаику достаточным для создания условного художественного мира, в который читатель сможет поверить, даже не обнаружив в нем ни одного из своих знакомых, ни одного из тех людей, о которых «говорят»...

Откуда же берутся персонажи Чулаки — разных возрастов и профессий, разных характеров и устремлений? Неужели только из головы автора, неужели он пишет подобно лирическому поэту, выражающему преимущественно лишь ценности своего внутреннего душевного опыта?

Я думаю, это не совсем так, а может быть, и совсем не так.

Высказанное Чулаки кредо говорит о его безупречной нравственной позиции больше, чем о его позиции художественной. Однако понятия «нравственного» и «художественного», как бы мы к этому ни стремились, никогда друг друга не покрывали и не покрывают.

Для писателя важно — и нужно — не только понять, но и увидеть, «как варится похлебка истории». Важно — и нужно — отождествлять себя с гениями — не для того, чтобы показаться гением себе или другим, но для того, чтобы духовно расти, прозревать в себе самом новые и высшие цели.

«Надо примириться с тем, что всякий реальный человек непостижим до конца», — пишет Чулаки.

Но непостижим до конца человек и самому себе. И очень может случиться — и случается постоянно, — что другой человек открывает в тебе самом нечто для тебя до этой минуты скрытое.

Сдвиг в сторону чистой нравственной логики, несколько теснящей логику художественную, действительно, существует в вещах Чулаки и отличает его прозу. Не риску оценивать, «лучше» она от этого становится или «хуже». Сдвиг этот говорит о ее своеобразии, о ее оригинальности.

Чулаки стремится убедить нас в одном: нужно бережнее относиться к другой личности, остерегаться «пасквильности» в сужде-

нии о ней, думая лишь о сочувственном ее понимании. В это понимание входит и забота о выражении мыслей близкого тебе лица, быть может, без тебя никем не понятого и не услышанного. Без этой заботы настоящая проза не пишется, без диалога с вопрошающим художника миром она просто невозможна. Было бы несчастьем для всей европейской духовно-художественной традиции, если бы, скажем, Платон отказался в своих диалогах от реального образа Сократа...

Не вникая в подробности частной жизни, в личный внутренний мир писателя, попытаться представить, что он *думает как художник*, все же необходимо. Необходимо реконструировать его художественную систему, понять его эстетику, о прямом логическом выражении которой сам автор заботится, как правило, редко.

Название первой книги Чулаки «Долгие поиски» (1979) звучит символично. Он начал печататься несколько позже многих своих литературных сверстников. Впрочем, поздние дебюты для прозаиков в семидесятые годы стали почти что нормой. Чулаки пережил это растянувшееся удовольствие вступления в литературу без разражения. Едва ли не сознательно «долгие поиски» он предпочел сулящим в искусстве славу «быстрым находкам». Вот поэтический девиз к его прозаической работе:

Не волноваться: нетерпенье — роскошь.
Я постепенно скорость разовью.
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

Никуда не торопящийся Чулаки очень любит этот образ четко размеренной дистанции. Его представление о человеческой жизни часто ассоциируется с упорным бегом стайера, в конце концов обгоняющего любого спринтера. Персонажи Чулаки без отдыха пробегают весь отмеренный им судьбой путь и чаще всего заранее знают о длине этого пути. Они трезво рассчитывают свои силы, а тот, кто этого не умеет, тот... Тот не из числа родственных автору натур.

Именно поэтому, например, в «Классическом троеборье» Чулаки делает победителем опытного Юрия Сизова, спортсмена, безукоризненно владеющего собой, чувствующего «время и место» действия. Во всех отношениях приятный Володя Шахматов, «по-спринтерски» отнесшийся к состязанию, и тем более Персей Рубашкин, неразумно зная ни о чем не желающий, кроме как о своих темных влечениях, поставлены автором ниже Сизова.

В повести «Вечный хлеб», не вошедшей в настоящий сборник, главный герой пробегает ежедневно по 25 километров. Собственно говоря, этот не столь уж и удивительный в наше время факт для

Чулаки — метафора сознательной, подчиненной требованиям разума жизни.

Или вот повесть «Книга радости — книга печали». Ее сюжет раскрывается в противопоставлении двух судеб. Радостной — летающего мальчика Кости Кудияша и печальной — его созерцательного одноклассника, лишь рассуждающего о марафонском беге. Этот созерцатель ничуть не плох и в интеллекте Косте, пожалуй, не уступает. Но смысл жизни открывается ему лишь в тот момент, когда он как бы перенимает эстафету от свершившего путь крылатого героя.

Сочетание интеллекта и действия, воли к действию — вот за что постоянно ратует Чулаки.

Беда в его повестях рождается равно как из бездействия, так и из неосмысленного действия.

Честно расписывается в своем грехе персонаж из «Книги радости — книги печали»:

«Да, я виноват.

Умерла мама.

Давно это могло случиться, а я все прятался от реальности, все надеялся, что обойдется».

Драматически расплачивается за свою эрзац-деятельность герой «Вечного хлеба». Его влечение к духовной правде долгое время не высветляется разумом, затуманенным мелкими прагматическими соображениями.

Так же драматична и жизнь героя «Прекрасной земли» врача Ивана Войновича Зайончковова. Готовый идти по выбранному и измеренному им самим пути до конца, он все никак не может понять, что путь этот для него лично — гибелен, что это не его путь. Мучительно вдохновенные дни, которые он тратит на сочинение графоманской прозы, свидетельствуют о его неумении или нежелании взглянуть на дело трезво, «со стороны». Смысл этой повести и в том, что ее герой непредвзято оценить себя просто не решается. Воля для Чулаки — такой же неизменный компонент настоящего полнокровного самочувствия, как интеллект и ощущение верно направленного жизненного движения.

Во всех четырех повестях сборника эти мотивы, переплетаясь, развиты до конца.

Аспирант-математик Вадим из «Что почем?» даже не выбрал, а, можно сказать, рассчитал для себя *чужой* путь и мастерски по нему прошел до естественного — по художественной мысли Чулаки — краха. В финале он практически утратил ту высокую цель, тот лучший путь, которые в его душе потенциально несомненно были. И, возможно, остались. Окончательных приговоров Чулаки своим персонажам не выносит. Не из осторожности или неуверенности в своей правоте. И не из желания позолотить пиллюлю, на-

мекнуть на добродетельный хэппи-энд. Вовсе не поэтому. Неотъемлемой чертой мироощущения Чулаки является его способность надеяться. Если мы признаём эволюцию, думает прозанк, то нужно быть логичным и честным до конца: признавать и оспариваемую многими философами эволюцию в области нравственной жизни человечества.

Поэтому и повесть «Четыре портрета» при всей видимой трагичности ее фабулы — произведение в сущности едва ли не самое оптимистическое из всех написанных Чулаки.

Одна особенность характера главного героя подчеркивается автором. Яростное самоутверждение в живописи Андрея Державина обосновано не расхожим «эгоизмом творца», но кристально ясным пониманием благотворного действия его искусства на людей.

Не загадочные Парки, но руки художника держат нити жизни. Он сам прядет свое полотно, сам властен увеличить или урезать его протяженность. И если получается так, что для нравственного оздоровления жизни в целом ему нужно вплетать нити своей судьбы в полотно чужие, он это делает — полностью себя контролируя и осознавая необходимость жертвы. Собственно говоря, это и называется подвигом. Так поступает в «Четырех портретах» Андрей Державин.

Иной вариант характерной для Чулаки темы разработан в повести «Человек, который не умеет кричать». Накатанная и сравнительно удобная жизненная колея, по которой несет ее героя, ведет его в близкий и уютный служебный тупичок. Диссертация маячит в нем как некое утешение и приз. На самом деле приз этот присуждается не за достижения мысли, а напротив, за интеллектуальную расслабленность и покорность чужим мнениям. Финальный рывок Сергея Сеньшина из колеи на обочину знаменует его освобождение из пут рутинного существования, как бы оно внешне ни было завуалировано и прикрашено. Над убаюкивающей властью иллюзий, над комплексом престижности торжествует союз воли и здравого смысла.

Маленькое дело, скорее проблематичная, чем проблемная, лаборатория по очищению воздушной среды, состоящая из двух чудачковатых людей, — ради этого Сеньшин рушит свою научную карьеру. Однако, если присмотреться к проблеме здраво, трудно современному образованному горожанину найти более достойную сферу деятельности, какими бы минимальными ни казались ему изначальные возможности. Типичная для Чулаки концовка, знакомая, например, и по «Прекрасной земле».

Сергей Сеньшин называет себя в повести «бесталанным гением». И сам же задает вопрос: «Что *бесталанный* — понятно, но *гений* откуда?» Надо полагать, что Сергей употребляет здесь слово «бесталанный» в значении «бездарный», «неталантливый», а не

в значении «несчастный». Во всяком случае лишь такое антиномичное толкование соответствует авторской логике. Логике постижения художником смысла жизни.

Для Чулаки гениальность — это та форма бытия, к которой стремится на земле все живое. И если человеку удастся прояснить свой внутренний мир до конца, освободить его от гнетущих душу предрассудков, от обманно ярких фетишей, то его переживание жизни можно будет оценить словом «гениально». Эта раскрепощающая человеческую мысль гениальность — даже более чистого свойства, чем гениальность, понятая как высшая степень развития каких-то определенных дарований.

В художественном мире Чулаки персонаж может проявить себя одновременно и как гений и как бездарность. Наиболее выразительный пример в этом отношении — Зайончков из «Прекрасной земли». В той же плоскости решается проблема в «Человеке, который не умеет кричать».

Может быть, несколько самонадеянно, но опять же с авторской точки зрения абсолютно логично, Сергей Сеньшин думает: «Так ведь внутренний мир никто измерять не научился — и термометра нет, и неизвестно, в каких градусах мерить. И никто не может сказать, у кого острее переживание: у Чайковского, у меня или у чудака Хейфеца из тридцать второй квартиры».

Суть характеров людей у Чулаки в том и проявляется, по этой шкале они и оцениваются: способен ли человек эволюционировать в направлении раскрытия своей гениальности или, наоборот, он отмахивается от нее, соблазняется мелочными выгодами и прагматическими доводами.

Например, Леша Ордынцев, герой рассказа «Синекдоха короткохвостая», пишет диссертацию в одном из НИИ на вполне достойную тему, ориентируясь на солидные научные эталоны. Он не достигает на этом пути ничего. И не из-за отсутствия способностей, не из-за чьих-то интриг. История, с ним случившаяся, аналогична истории рассказчика в повести «Человек, который не умеет кричать».

Сергей Сеньшин — поздний двойник этого раннего персонажа Чулаки. Но судьбы их автором разведены в разные стороны. Это стоит заметить и запомнить. Казалось бы, одинаковые характеры и реализовать себя в жизни должны схожим образом.

Если прав Флобер, и в каждом из нас сидят два человека — «тот, кто действует, и тот, кто судит», — то судят о себе оба персонажа одинаково. А вот действовать Леша, подобно Сергею, пока не решается.

Ордынцев, как и Сеньшин, понимает: нужно «просто жить, вот и все», а не готовиться к какому-то самому ему не очень ведомому

будущему. Но это «просто жить» оборачивается у него: жить, как повелось в его кругу, жить с оглядкой на чьи-то мнения.

И Леша, как Сергей, чувствует: «Быть собой — это начало начал». Однако «быть собой» для него преимущественно означает: быть таким, каким воспитали папа с мамой...

Презрев нерешительность героя «Синекдохи короткохвостой», влюбившаяся было в него лаборантка Жанна и директор института, непринужденный и незакомплексованный Рыгонд, дают ему наглядный урок, как воплощать в поступки свои переживания.

Парадокс бездеятельности состоит в том, что она отнюдь не приводит к спасительной мудрости или хотя бы умудренности. «Человек судящий» в бездействии тоже снижает, подчиняется фантомам обыденного сознания. Для Леша Ордынцева в жизни остаются лишь вопросы, вопросы и вопросы. Скоро отпадут и они. Он уже не чувствует величины своей дистанции, так и не решается «спокойным шагом выйти на дорожку»...

Вадим из «Что почему?» — это еще одна вариация, еще один двойник Ордынцева. «Кипящий в действии пустом» сторож-аспирант так же ничего не делает для прояснения своих возможностей, как и Леша. Хотя его критические способности еще не атрофированы, они проявляются в большей степени по отношению к другим, чем к себе. Конечно, это, так сказать, общая человеческая слабость. Но в ней именно и заложены регрессивные начала. Вадим шага к своему освобождению не делает.

Три аналогичные житейские ситуации. Три персонажа со схожей судьбой и внутренним миром. Чей образ убедительнее, ближе к реальности? Чье сознание — Леша, Вадима или Сергея — конгениально авторскому? Ведь если прозаик упорно выводит в трех разных вещах один и тот же характер (а подобные типы есть и в других произведениях Чулаки), то, значит, он его как-то особенно, лично интересуется?

Коллизия разлада между «человеком действующим» и «человеком судящим» — один из излюбленных сюжетов Чулаки. Сюжеты эти не изобретены только что, они уходят корнями в классику, особенно русскую, XIX века. Характерна и примечательна их новая актуализация в семидесятые годы — через сто лет после того, как русская публика читала романы Тургенева или Гончарова...

У Чулаки, помимо трех упомянутых вещей, один из вариантов этой темы разработан, например, в рассказе «От „Стрелы“ до „Стрелы“». Внутренняя суть конфликта для его героини, десятиклассницы Аллы, сводится к дилемме: действовать ли ей по мечте и, оставив мать, уехать в столицу, во ВГИК, или осудить свой в общем-то объяснимый и простибельный юношеский эгоцентризм, удовлетворившись ради счастья близкого человека прагматическим домашним вариантом?

Оказывается, что не на все эти логичные вопросы есть смысл давать прямые ответы.

Связано это с особенностями художественного миропонимания прозаика. Есть авторы, пишущие, так сказать, с натуры. Чулаки относится к противоположному типу писателей, ориентированных не на внешнее впечатление, а на внутреннее видение. Бесполезно искать прототипы его героев, то есть придавать им особенное значение, даже если они иногда у него и существуют. Подобно Флоберу, Чулаки всегда может сказать: «Эмма — это я». Таким образом, утверждать, что больше жизненной правды в образе Сеньшина, переломившего судьбу, или, наоборот, в образе Вадима, замутившего ее, это значит, по существу, отвечать на то, о чем нас художник и не спрашивал. Для Чулаки важна как раз одинаковая возможность, реальность и того и другого варианта. Достоверность он не ставит в зависимость от документальности.

Чулаки пишет о ежедневно, ежеминутно стоящей перед человеком свободе выбора им достойной жизненной позиции. Постоянно имеет в виду человеческую добрую волю и светлый разум, всегда оставляет героям шанс, как бы драматично ни складывалась их жизнь.

То обстоятельство, что персонажи Чулаки испытываются *лучшим* в мире, а не *худшим*, придает его прозе своеобразный мажорно-драматический колорит. Цена здоровую жизнь и здоровые чувства, автор в то же время напоминает: печально не воспользоваться открытыми каждому естественными возможностями. Сколько людей сами надевают на себя шоры и бредут в них к трагическому порою исходу!

В литературе всегда звучит критическая нота, ей свойствен обличительный порыв, направленный на исправление общественных нравов, указывающий на недостатки общественной жизни.

У Чулаки доминирует иной вектор художественной мысли. Он из тех авторов, кто старается найти и преодолеть зло раньше всего внутри себя, запечатлеть трещину, прошедшую, употребляя популярную метафору Гейне (именно она перетолкована в «Четырех портретах»: «всемирная трещина должна проходить через мастерскую художника»), через сердце поэта.

Чулаки нигде не отделяет искусство от морали, хочет помочь человеку *самому* искоренить *свои* недостатки. «Для чего еще нужны портреты, если они не вылечивают и не исправляют?» — думает Андрей Державин. И это не утилитаризм, не школьный подход к искусству. Своим творчеством художник у Чулаки не то что помогает — жертвуя собой, он заставляет модель познать саму себя, познать и открыть лучшее в себе. Этим лучшим художник заражает мир. «Для чего вообще нужно искусство, — продолжает Дер-

жавин, — если оно хоть понемногу, хоть по капле не вносит совершенство в наш несовершенный мир?»

Прозаик в самом себе находит достаточно мыслей и ощущений, достаточно жизненного опыта, чтобы одухотворить любого из персонажей. По их воззрениям нетрудно догадаться об ориентирах писателя. Даже восстановить, то есть реконструировать, его философию. Многие в мироощущении Андрея Державина или композитора Евгения Касьянова из повести «Тенор» — прямая проекция авторских раздумий. То же самое относится и к далеким от совершенства персонажам вроде героев повестей «Человек, который не умеет кричать» (Чулаки, кстати, и сам нигде не повышает голоса, не форсирует эмоций) или даже «Что почем?».

Например, когда Вадим спорит в повести о рыцарских временах, в его позиции явно слышатся нотки Чулаки-теоретика, автора дискуссионных статей в «Литературной газете». В выступлениях прозаика преобладали скептические интонации по поводу возможностей исторической беллетристики. Вопрос остается, конечно, открытым.

Но во всяком случае сам Чулаки никакой исторической прозы и даже прозы о местах, отдаленных от его дома географически, не создает. События у него происходят в радиусе, не превышающем длину маршрутов пригородных электричек, следующих из Ленинграда.

Все его произведения — о современности. А все исторические аллюзии — снижающего характера. Достаточно вспомнить Суворова из «Вечного хлеба». И если он называет необыкновенного художника Державиным, то подчеркивает этим в первую очередь значительность нашей сегодняшней жизни: и между нами может ходить гений, не все они вымерли в уютном и прекрасном историческом далеке.

В сатирическом преломлении дан в «Что почем?» портрет Лёвы — Дон Карлоса, с которым полемизирует Вадим. В «шиллеровском» персонаже выставлены на свет очарование и пустота артистической позы, инфантилизм мышления, опирающегося на представления о «благородной старине».

Стоит напомнить этот спор. В нем реакция Вадима отличается от авторской разве что чуть большим, чем это свойственно манере Чулаки, градусом саркастичности:

«... — Этот Замок — чудесное место, но когда вздыхают о прошлых рыцарях — просто смешно. Особенно любят в молодежных газетах: „Где вы, рыцари?“ И читательницы вслед за бойким журналистом возмущаются и недоумевают: были на свете рыцари, а потом куда-то запропастились. А на самом деле рыцари были темными грубиянами: читать-писать не умели, много жрали и пили,

мыслись редко, так что от них дурно пахло, а понравившуюся женщину с рыцарем волокли в угол.

— Ну уж, Тони, вы говорите что-то несурзное! — Дон Карлос, кажется, обиделся всерьез.

— Я не против мифических рыцарей. Пусть возводятся в идеал. Только не нужно их путать с настоящими и вздыхать, что они исчезли. Они не исчезли — их никогда не было».

Так что же, персонажи Чулаки — всего лишь размноженные мимолетные снимки автопортретов прозаика?

Отчасти эта мысль справедлива и не противоречит опыту лучших (нелучших, впрочем, тоже) писателей. Известно, что разнообразнейшие по своим характерам герои «Войны и мира» — Николай Ростов, Пьер Безухов, Андрей Болконский — все они отражают разные стороны души самого Толстого. Гений мировой прозы «всего лишь» довел до цельного художественного образа черты, присущие его личности, — на том или ином уровне понимания самим автором ее смысла, на том или ином отрезке его жизни.

Конечно, в самом Толстом есть много такого, что и лучшим его героям не снилось. Как индивидуальность он и глубже и шире любого из них. От масштаба личности писателя прямо зависит и масштаб изображенной им в произведении жизни. Но тайна реалистического искусства заключается не в том, чтобы выставлять читателю собственную сколь угодно значительную фигуру. Толстой пишет так, чтобы образы его героев вошли в сознание читателя с отчетливостью, в сотни раз превышающей отчетливость авторского образа, возникающего за страницами его романа.

Подобная сверхзадача стоит и перед Чулаки. Его героев волнуют те же проблемы, что и автора, но сам он среди них как носитель истины в последней инстанции не появляется. И явное и скрытое резонерство ему чуждо.

Но чужда ему и отстраненная, беспристрастная позиция свидетеля чужих радостей и бед, позиция согладателя жизни. Писатель — ее творец. Так можно сформулировать эстетическое кредо прозаика.

Оно находит подтверждение в художественном опыте самых известных мастеров. Как будто специально для будущего автора «Вечного хлеба», «Тенора» и повестей, вошедших в этот сборник, с отчетливостью формулы его провозгласил Флобер: «Художник в своем творении должен, подобно Богу в природе, — быть незримым и всемогущим».

Не надо думать, что Чулаки мыслится «новым Флобером». Имеется в виду лишь характерный для некоторых художников XIX—XX веков тип отношения к искусству слова, с афористической лапидарностью растолкованный французским мастером. Никем,

кроме как самим собой, Чулаки стать не хочет, никому из гениев подражать не стремится.

В этом отношении Чулаки разительно отличается от авторов начала шестидесятых годов с их благодарно проникновенным эстетическим послушничеством. Не будем утверждать, что они стояли на ложном пути. Искусство разнообразно. В том, чтобы с юности «принадлежать к школе» — Буннина, Платонова, Олеси, Хемингуэя и других ярких стилистов, тоже есть резон и, главное, радость.

В случае Чулаки напрашивается еще одно поэтическое обобщение, насущная в наше время вариация на тему Гете: «Будь таким, каков ты есть»:

Загородил полнеба гений.
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.

Вот этот жизненно важный призыв Арсения Тарковского впитывает из культуры Чулаки, этим она его и поддерживает. «Быть собой — это начало начал» — так завершает свои записки герой «Человека, который не умеет кричать». Изречение, без сомнения подаренное ему автором.

Рассердить Чулаки, во всяком случае его примерного героя, можно противоположным: «Часто его сравнивают с Рерихом: мол, как Рерих открыл нам ослепительный мир Гималаев, так Державин открывает мир Ледовитого океана. Сравнивают и воображают, что тонко отметили да еще и польстили! Андрея эти назойливые сравнители — знатоки, называется, снобы проклятые! — приводили в ярость. Ну что общего?!»

При всемерной погруженности в сегодняшний монотонно-взвиренный городской быт проза Чулаки решительно противостоит бытописательству. То, о чем он повествует, лишь *может* случиться в жизни, но необязательно уже *случилось*. И если образы его центральных героев — это в известном смысле автопортреты Чулаки, то это автопортреты, запечатлевшие его таким, каким он реально не был, но мог бы стать при тех или иных обстоятельствах. Таким, каким он хотел бы стать, или таким, каким бы стать боялся...

Искусство для Чулаки — это становящаяся, осуществляющаяся в воображении реальность.

И хотя первый человек, центральный персонаж творится художником «по собственному образу и подобию», мир на удивление многолик и разнообразен. Вслед за авторской копией — Адамом — уже надвигаются Авель и Каин... Быстро меняющиеся обстоятельства жизни превращают одного человека в пастуха, второго в зем-

лепашца, третьего во врача, четвертого в певца... Дальше идут уже никакому богу не ведомые диссертанты, «мэнээсы», сторожа гаражей, подниматели штанг...

Писатель должен всех их увидеть, всем заглянуть в лицо, как бы забыв, что он бог, демиург... Для воплощения замысла «прихоти полубога» мало, нужен «хищный глазомер простого столяра». Нужно подробно и точно знать что, где, как, когда и кем сделано и, главное, что творится в мире сейчас.

Желания осуществляются в настоящем времени, и даже самому гениальному, мелькнувшему некогда в голове замыслу за этим сегодняшним днем не успеть. А без стремления к «осуществлению желаний» искусство теряет силу, становится анемичным.

Да и опасно делать живым только свое отражение. Прозанк — не лирический поэт. Он призван запечатлеть динамику жизни в целом, а не динамику жизни отдельного лица (удачных прозаических открытий на этом направлении заметно мало). Он вступает в диалогические отношения с равноправными собеседниками. Их точка зрения по чести тоже должна быть выражена, обстоятельства их жизни узнаны и поняты. Прежде чем преобразить реальность по лучшему замыслу, нужно побывать в «чужой шкуре».

И потом автор реализует свои желания не во благо себе, а во имя целей, общих всем людям. Он «спешит творить добро». Вне моральных установок Чулаки искусство не воспринимает.

Напомню еще один его диалог — из «Четырех портретов». В нем Андрей Державин провозглашает идею «очистить центр Ленинграда от всей этой купеческой пошлости» (он мечтает о сносе домов, загораживающих вид на Адмиралтейство со стороны Невы). Воображаемое живописное полотно на эту тему он представляет так:

«— Что хочу — оставляю как в натуре, а что хочу — убираю, и на освободившихся местах помещаю то, что я вижу!.. Нет, серьезно: почему я должен писать этот дом, если он мне не нравится? Естественное же дело: на его месте написать другой!

— Что нам стоит дом построить: нарисуем — будем жить.

— Само собой. С этого все и начинается: с желания. А знаешь, что такое искусство? Осуществление желаний!»

Такова художественная интуиция Чулаки. Впрочем, он больше доверяет художественной логике. Следуя ей, он приходит к выводу, что быть современным — это обязанность художника. Никаким иным, кроме как современным, настоящее искусство не творится. И не может твориться. Писатель ведет неустанный диалог со своим временем, помогая ему «стереть случайные черты» с его лица.

Блоковская, достаточно популярная и любимая Чулаки, цитата характерна. Характерно для прозаика и безбоязненное манипулиро-

вание его: он никогда не стесняется использовать самые известные суждения, если они ему нужны для прояснения смысла.

Эти вечные истины просветленного разума противостоят в книгах Чулаки пошлости расхожих мнений. Как правило анонимных, но цепляющихся за авторитеты, прилепляющихся к ним.

Кто не любит рассказывать, что художник — «тоже человек», что «ничто человеческое...» И так далее.

На это Андрей Державин реагирует так: «Писать женскую натуру — куда большее удовольствие, чем целоваться с натурщицей».

Столь же популярна и другая крайность: художник — существо иное, чем мы, смертные, он «не от мира сего»...

И если первое мнение, сопровождаемое ухмылками и подмигиваниями, опровергается ради того, чтобы искусство не профанировалось, то второе приводит героя повести «Тенор» едва ли не в бешенство, то есть в состояние у Чулаки чрезвычайное и редчайшее.

«— Нормальный слишком, потому и никакого таланта, — сказала крашенная дама.

Касьянову снова захотелось ее удушить».

Чье воображение не поражает «информационный взрыв», потрясший человечество во второй половине XX столетия? Но вот что думает на эту тему герой «Синекдохи короткохвостой»: «Вносим свою каплю во всемирный потоп информации. Так что, когда мне говорят об этом знаменитом погопе, мне смешно: потоп статей, которые пишутся для диссертаций, — это есть, а информации в них не больше, чем золота в морской воде: содержится-то содержится, но попробуй добудь!» И действительно: бесчисленное количество фактов и фактиков, обрушивающихся на нас, часто едва ли не затемняет смысл не на виду творящихся перемен...

Или вот еще «притча во языцех» — отличники. Кто только над ними не насмехается! Но что, если посмотреть на вещи здраво, как это делает персонаж из повести «Книга радости — книга печали»?

«Стыдно сознаться, — пишет он, — но я тоже окончил школу с золотой медалью. Стыдно, потому что презирать отличников стало в литературе общим местом; не успеешь открыть повесть или роман, как читаешь: «Терпеть не могу эту породу не имеющих своего мнения и туповато прилежных людей...» Я мог бы заявить, что школьная программа требует для своего освоения весьма скромных умственных усилий, и потому не стать отличником — значит расписаться в своей природной тупости...»

Подобные уроки здравого смысла увлекательнее описания аномалий. Чулаки знает, как трудно показать человека в нормальной здоровой жизни, как легко она ассоциируется у некоторых романтиков с обывательским существованием. Кажется, что своим долгом прозаик считает поддерживать и утверждать эту жизнь в искус-

стве; возвращаясь и возвращаясь к ясным общечеловеческим истинам.

Надо понимать, что делать это труднее, чем быть экстравагантным. Необходим как минимум (равный максимуму) недюжинный интеллект. У Чулаки он проявляется едва ли не в каждой сцене.

Некоторые психологические наблюдения прозаика запоминаются как афоризмы. Например, такие:

«Самодовольство смирения».

«Сокровенная причина моей изысканной вежливости — самооборона».

«Насмешка над осторожностью, над благоразумием безотказно действует на слабые души».

«Нет, она и явно симпатизировала Ивану Воиновичу, но в нове было чувство огородника к неухоженной земле».

Эти образчики взяты из произведений, не вошедших в сборник. Во всех них, так же как в помещенных здесь четырех повестях, позиция автора неизменна: утверждать достоинство здорового, неиздерганного, чуждого невращению существования. Оказывается, борьба за такую жизнь тоже имеет свою напряженную интригу и даже свои издержки.

В повести «Тенор» Евгений Касьянов «был принципиально нормален, подчеркнуто нормален — и не хотел из-за этого терять право на талантливость». Но и он начинает раздражаться, когда уже помянутая «крашенная дама» изрекает:

«— Да тут и спорить нечего: давно известно, что все гении — сумасшедшие».

— Знаете, есть и противоположная точка зрения: что гений — абсолютная нормальность, а те, кто не гении, еще просто не дошли до нормы».

Дальше Касьянов уже срывается, идя в атаку и на Хлебникова:

«— А кто вам сказал, что Хлебников гений?.. Наоборот надо говорить: он не гений потому, что сумасшедший! Изначально, по-видимому, был талант, но не повезло, заболел, сошел с ума. Надо говорить о таланте, загубленном болезнью!..»

Стремление героев Чулаки «просто жить, вот и все» не означает, что их бытие примитивно и сразу доступно пониманию. Легко, как думает Сергей Сеньшин, только истерикам и пьяницам. Зато нелегкое, но «ослепительное состояние — увлечься мыслью».

И вообще: «счастье — это когда тебя понимают».

Понимание есть взаимопонимание. Дарует его только настоящее время. На этой ясной здоровой мысли настояна художественная философия Чулаки: «По-настоящему реален только современный мир». А главная опасность; подстерегающая художника, — разочарование в реальности.

Остается повторить (и пояснить): реальность, творимая художником, — это не мертвый слепок (поэтому, кстати, Андрей Державин бранит натюрморты — черта маловероятная у живописца, но необходимая Чулаки) с окружающей природы. Задача писателя неизмеримо сложнее: он может и должен создать нечто более реальное, более точное и четкое, чем сама ускользающая от определений, не имеющая для отдельной личности границ действительность.

Продуманное и завершенное реалистическое произведение организуется, по Чулаки, новую гармоническую реальность: «Такой южной ночи не было никогда в действительности, — описывает автор музыку Касьянова. — Оркестр... создавал южную любовную ночь более настоящую, чем реальные южные ночи! Касьянову было бы скучно, например, просто заснять на идеальную кинолентку — передающую объем, запахи, дуновение теплого ветра — южный вечер; нет, он должен был только музыкой, только звучанием виолончелей и засурдиненных труб создать ощущение южной ночи более полное, чем если бы в действительности стоять ночью где-нибудь в южном парке».

Таким образом, внешне, так сказать, физически искусство не обязано копировать жизнь, но оно должно выявлять как бы саму душу жизни, говорить последнюю правду о действительности.

Правда художественного метода Чулаки настояна на интеллектуальном осмыслении жизни его героев. Пластические, живописные возможности прозы им используются мало. Писатель он городской, но не урбанистический. Никаких гимнов каменным громадам от него не услышишь. Даже прославленные петербургские амфир и барокко особенной дрожи восхищения у него не вызывают. Вообще лирических пейзажей проза его почти не знает...

Нет, герои Чулаки не проходят по улицам Ленинграда самопогруженными, ничего не ведающими, кроме своей внутренней жизни, личностями. Напротив. Как заметил критик, у Чулаки «описание... утробной жизни города медленны и дотошны»¹. И это верно. Со скрупулезностью часовщика прозаик изучил этот отлаженный, но вечно спешащий вперед механизм. Вряд ли он видит в нем какие-то неоспоримые преимущества перед деревенским, ориентированным на крик петуа ходом жизни. В отличие от некоторых так называемых «деревенских» писателей Чулаки не агрессивен по отношению к тому, что сам знает мало. Жить — достойно и в городе и на селе. Надо только *достойно жить*.

Любопытная деталь. Многие традиционно приписываемые деревенскому жителю качества в большой степени свойственны потом-

¹ Адольф Урбан. Корни под асфальтом. — Звезда, 1982, № 7, с. 179.

ственному горожанину Чулаки. Во всяком случае, самым достойным его героям. Например, практичность в обращении с вещами, внимательный учет расходов, бережное отношение к деньгам. Последнее в нескольких эпизодах подчеркнуто особо. Даже Андрей Державин (у кого еще найдешь гения, занятого подсчетом рублей?) «ненавидел ханжей, которые объявляют, что равнодушны к деньгам». И в дальнейшем он не забывает повторить: «Презирать деньги — ханжество».

Здравый смысл, отстаиваемый Чулаки, это ведь тоже в представлении многих традиционная «деревенская черта». Для некоторых «горожан» даже как бы и не вполне доблестная.

Пример Чулаки доказывает, что представления о каких-то особенных и антагонистических внутренних качествах «деревенской» и «городской» литературы становятся все более туманными и бессодержательными. Если не иметь в виду мелковатого для серьезного художника различия (один пишет о селе, другой о столице), то все отстаиваемые горожанином Чулаки ценности актуальны и для писателя деревни (или из деревни). Ценности эти актуальны вообще для любого жителя вне зависимости от места его прописки и его профессии.

Блок писал, что искусство изображает «лицо жизни, всегда полужаппеванное, полупрекрасное». Дико утверждать, что «здесь» оно прекрасно, а «там» жаппевано.

Смысл работы Чулаки открывается не в том, что он ратует за город, как таковой, или за деревню. Он выступает за то, за что должен бороться каждый здравомыслящий человек. За чистоту воздуха, воды, почвы, лесов... Он утверждает равно красоту роши и красоту парка. Культуру, не забытую ни на околице, ни на гранитной набережной...

А пить, курить, обжираться, сквернословить — это, полагает Чулаки, везде худо. И ни там, ни там, к сожалению, эти пороки еще не преодолены...

Самое ценное, что ленинградский прозаик находит в нашем бытии, — это человеческий разум и человеческое достоинство. Они должны быть незыблемыми и в городе и на селе.

Развивая символику статьи А. Урбана, скажем: под асфальтом ли, под проселочной ли хлябью — везде есть почва, в которой достойно укорениться настоящему писателю.

Андрей Арьев

Содержание

Что почем?

3

Классическое троеборье

155

Человек, который не умеет кричать
(Записная книжка Сергея Сеньшина)

219

Четыре портрета

305

Андрей Арьев

Здравый смысл против расхожих мнений
(О прозе Михаила Чулаки)

415

Чулаки М. М.
Ч89 Повести.— Л.: Лениздат, 1988.— 431 с. («Повести ленинградских писателей»)

В книгу ленинградского писателя Михаила Чулаки вошли ранее издававшиеся повести «Что почему?», «Классическое троеборье», «Человек, который не умеет кричать», «Четыре портрета».

Ч $\frac{4702010200-069}{M171(03)-88}$ 198—88

84.3(2)7

Михаил Михайлович
ЧУЛАКИ



**ЧТО ПОЧЕМ?
КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ
ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ КРИЧАТЬ
ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА**

*Зав. редакцией А. И. Белинский
Редактор А. А. Дезель
Мл. редактор Н. С. Елисеева
Художник Ф. Ф. Аминов
Художественный редактор Б. Г. Смирнов
Технические редакторы В. А. Белова, И. В. Буздалева
Корректор Т. В. Мельникова*

ИБ № 4575

Сдано в набор 20.10.87. Подписано к печати 22.01.88. Формат 70 × 108²/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,9 + вкл. 0,09. Усл. кр.-отт. 19,12. Уч.-изд. л. 19,79 + 0,03 = 19,82. Тираж 100 000 экз. Заказ № 325. Цена 1 р. 40 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.